Борис ГРИГОРЬЕВ

ЛИНИЯ

Литературное и художественное наследие

Серия «Книжная коллекция»



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ФОРТУНА ЭЛ



Издательство
ФОРТУНА ЭЛ

УДК 821.161.1
ББК 84 (Рос=Рус)6
Г 15

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Благодарим Сержа Стоммельса (Голландия) за предоставление
рукописи Б. Д. Григорьева «Об искусстве и о его законных преступлениях»

Благодарим Государственный музей В. В. Маяковского (ГММ)
за предоставленный иллюстративный материал

На первой стороне обложки — «Дама в черном». 1910-е гг.
На четвертой стороне обложки — «Подсолнухи». Из цикла «Расея». 1917
На страницах: 12, 37, 48, 53, 57, 60, 73, 81, 84, 89, 93 — иллюстрации из книги «Расея» 1918 г.
На странице 25 — обложка книги Б. Григорьева «Расея» 1918 года
На странице 113 — обложка книги Б. Григорьева «Расея» 1922 года

Г 15 **Григорьев Б. Д.**
ЛИНИЯ. Литературное и художественное наследие. — М.: Фортуна ЭЛ, 2006. — 320 с. — (Книжная коллекция).

ISBN 5-9582-0019-4 (978-5-9582-0019-1)

Творчество Бориса Григорьева — мощное и своеобразное явление русской художественной культуры XX века. Выдающийся живописец и виртуозный график, он проявил себя и в литературе как талантливый поэт, прозаик, эссеист. Обращаясь к литературному наследию Бориса Григорьева, впервые собранному в этой книге, мы отчетливо видим его слитность с миром изобразительным, ощущаем их органическое единство.

В издание вошли: очерки «Линия», «Учитель», «О новом» (варианты эссе разных лет), «Рерих», лироэпическая поэма «Расея», роман «Юные лучи»; воспоминания художника, современника Бориса Григорьева, Юрия Черкесова «Три встречи с Борисом Григорьевым». Многие из этих произведений впервые публикуются в России. Книга сопровождается вступительной статьей и комментариями доктора филологических наук В. Н. Терехиной.

В книге сто пятьдесят графических и живописных работ художника.

ББК 84

ISBN 5-9582-0019-4 (978-5-9582-0019-1)

БОРИС ГРИГОРЬЕВ

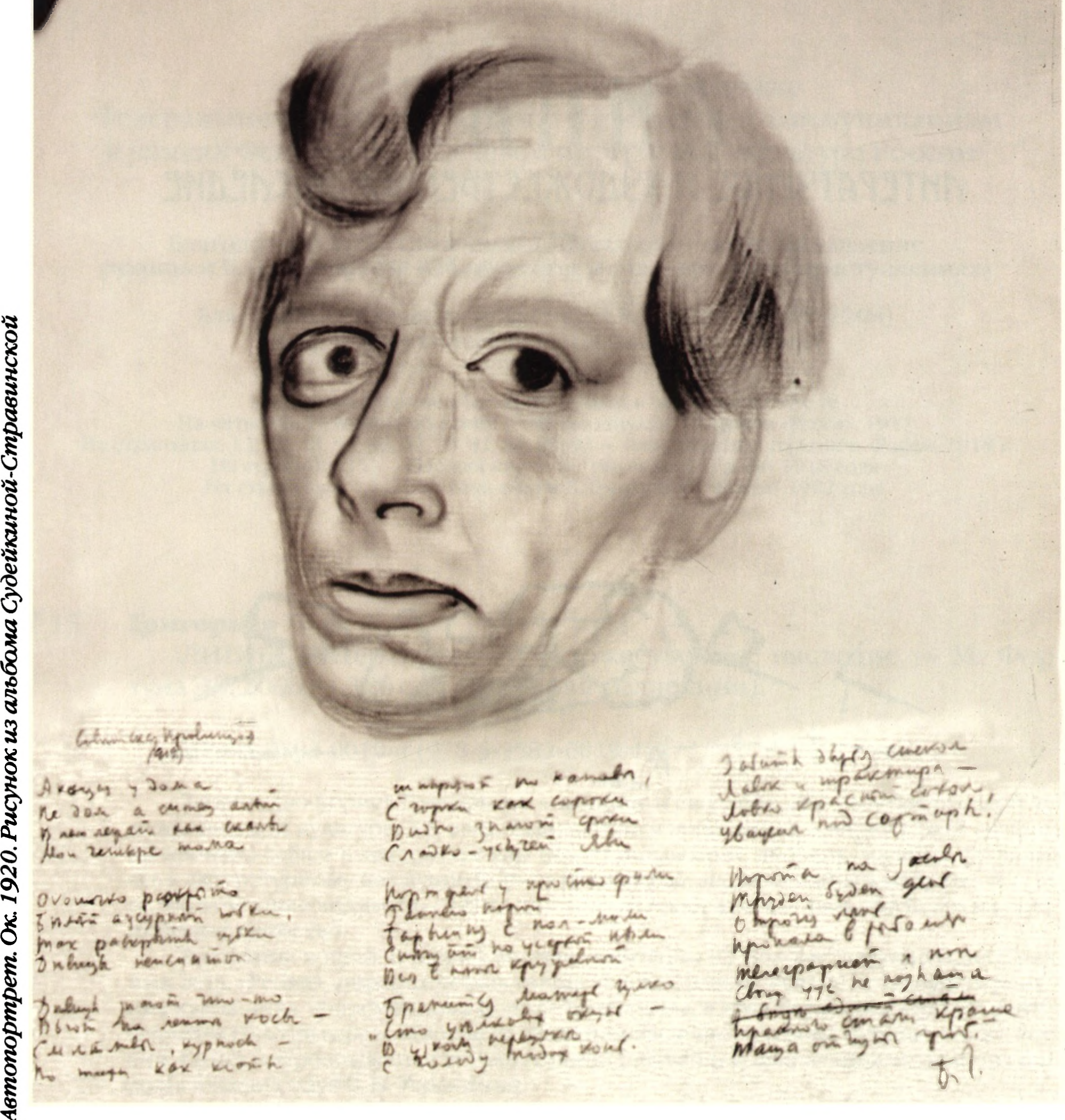
ЛИНИЯ

ЛИТЕРАТУРНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ



ФОРТУНА ЭЛ

2006



Автопортрет. Ок. 1920. Рисунок из альбома Судейкиной-Стравинской

«И ЛИНИЕЙ ПРЕМУДРОЙ РАЗРЕЖУ СКУКУ ГЛАЗ...»





Дерево.1918

Борис Дмитриевич Григорьев (1886—1939) — блистательный художник, разносторонне одаренный, глубоко чувствующий и сострадающий, один из тех творцов русского Серебряного века, чей неповторимый мир притягивает, волнует нас и столетие спустя. Его живопись и графика поражает особым, «варварским», по мысли П. Н. Милюкова, стилем, в котором реализм соединился с новейшими приемами кубофутуризма, фовизма, экспрессионизма...

Менее известна увлеченная работа Бориса Григорьева — оригинального писателя (в многотомном словаре «Русские писатели. 1800—1917» статьи о нем нет). Подобную неосведомленность проявлял и А. М. Горький, чей портрет был написан художником в 1926 году в Италии. Сравнивая его в шутку с известным литератором Аполлоном Григорьевым, Горький замечал: «Оный Григорьев, хотя и не Аполлон и стихов не сочиняет, критических статей не пишет, но — талантлив удивительно» (Ходасевич В. М. Портреты словами. М. 1987. См. также: Субботин С. И. Борис Григорьев как литератор // Борис Григорьев и художественная культура начала XX века. Псков. 1991).

В действительности, Борис Григорьев с юности мечтал «появиться с новым произведением не как художник, а как писатель». Он выступал с полемическими статьями, писал стихи, прозу, воспоминания, а его обширная переписка с А. Н. Бенуа, А. М. Горьким, Н. Н. Евреиновым, Евг. Замятиным, В. В. Каменским, Н. К. Рерихом и другими выдающимися современниками сохранила отпечаток темпераментной, искренней, мятущейся натуры.

Обращаясь к литературному наследию Бориса Григорьева, впервые собранному в этой книге, мы отчетливо видим его слитность с миром изобразительным, ощущаем их органическое единство.

Две черты определяли по наблюдениям современников Бориса Григорьева его творческую индивидуальность: «одержимость линией» и «литературность». Его эссе «Линия» стало своего рода манифестом Григорьева как художника и писателя:

«Сдвиг, пропуск, ироническая гипербола делают линию мудрой. Линия самое минимальное средство в руках художника. Вот почему она требует и «культуры» глаза и изобразительной воли.

Линия есть ближайший и скорейший изобразительный способ в творчестве.

Стихотворная форма рождается в длительном средоточии.

Искусство «глаза», искусство «видеть», обладая линией, через нее освобождается от формы немедленно. Ее творческий процесс так краток, как самая молния в сознании глаза».

Тот же образ художник развивает в поэме «Расея»:

И линией премудрой
разрежу скуку глаз,
как молния, как утро,
она разбудит вас!

Объединяющая разные грани его таланта литературность — «идейность», от которой, по словам Григорьева, он страдал в своем творчестве, явственно проступает в портретах Всеволода Мейерхольда, Мстислава Добужинского, Николая Рериха, женских образах. Художник создает своеобразные новеллы, о глубине которых можно судить по его признаниям. Так, готовясь портретировать Николая Евреинова, он писал: «Меня интересует не случайное в Вас, а — роковое Ваше, какое я давно знаю. Разве Мейерхольд стал лучше своего портрета? Сколько бы он ни «учил свободу любить», кроме того мотива, по которому пелись эти слова, он ничем другим не пахнет, а все иные мейерхольдовские позы все же менее значительны этой единственной, в которую я его поставил. Клюев, говорят (да он и сам приносил мне 10 000 керенок за то, что я его излечил от падучей), больше не страдает после моего портрета... после моей «ауры». В самом деле, Борис Григорьев славился как портретист необычный, воссоздававший на полотне не столько конкретную личность, сколько свое представление о ней, и портрет нередко оказывался ближе к тематической картине.

История одного из произведений, представленного под названием «L'étranger» («Иностранец») на выставке «Мира искусства» в 1916 году, подтверждает возможность неоднозначного толкования многих григорьевских сюжетов. Репродукцией этого полотна открывалось берлинское издание «Расеи» (1922), а в книге К. Уманского «Новое русское искусство» она обозначена «Ein Russisch» («Русский»). Прекрасно вылепленное лицо мужчины в широкополой шляпе выражает презрение и превосходство, рука энергично сжата в кулак. Редкая композиция поколенного портрета словно возвышает героя над зрителем, а смещение фигуры вправо усиливает неравновесность, подчеркивает исходящую от нее тяжесть и угрозу. И характерная складка меж бровей, и папироса в углу рта, и кусок желтой кофты настойчиво напоминают о возможном прототипе — Владимире Маяковском. «Маяковский был высокого роста со слегка впалой грудью, с длин-



L'étranger (Иностранец). 1916

ными руками, оканчившимися большими кистями, красными от холода,.. с желтыми щеками, — вспоминал Давид Бурлюк, — лицо его было отягчено крупным, жадным к поцелуям ртом, прикрытым большими губами, нижняя во время разговора кривилась на левую сторону. Это придавало его речи внешне характер издевки и наглости... Из-под надвинутой до самых демонических бровей шляпы его глаза пытливо вонзались во встречных и их недовольство ответное интересовало юношу: «Что смотрят наглые, бульварно-ночные глаза молодого апаша!...»

Заметим, что давние знакомые, Григорьев и Маяковский, в то время сотрудничали в журнале «Новый Сатирикон» (поэт В. Князев в письме Арк. Бухову сообщал, что Маяковский «поставил на голову весь «Сатирикон», офутурив Горянского, Радакова, укрепив позиции Бор. Григорьева...»). В том же разделе выставки «Мира искусства», который открывался картиной «L'étranger», Григорьев показал и «Портрет Л. Брик» (Собственность О. М. Брика). Лиля Юрьевна вспоминала, что в 1916 году Бор. Григорьевым был написан ее портрет, огромный, больше натуральной величины: «Я лежу на траве, а сзади что-то вроде зарева. Маяковский называл этот портрет «Лиля в разливе». И если до революции образ поэта ассоциировался с его стихами: «Вот иду я, заморский страус...», то будучи в эмиграции, Григорьев видел в нем олицетворение новых сил России и в очерке «О новом» восклицал: «как приятно было бы видеть Маяковского тут, в Берлине». Вероятно потому среди десятков выразительных, полных экспрессии лиц крестьянской серии под названием «Расея» Григорьев вывел на фронтиспис именно этот многозначный образ, не лишенный и авторских черт.

Цикл «Расея», впервые показанный на выставках «Мира искусства» в 1917—1918 гг., произвел на современников сложное впечатление, «многих охватил одновременно с восторгом от явной талантливости и род ужаса» (А. Бенуа). Первоначально девять картин и 60 рисунков раскрывали образ безысходной, мрачной, «лыковой» России, которая, как отмечал А. Н. Толстой, «не касалась ни романтической России Венецианова, ни героической — Сурикова, ни — лирической Левитана и Мусатова, ни православной — Нестерова, ни купецко-ярмарочной — Кустодиева и Судейкина... Эту лыковую Русь и я, и вы носите в себе; оттого так и волнуют полотна Бориса Григорьева, что через них глядишь в темную глубь себя, где на дне, не изжитая, глухая, спит эта лыковая тоска, эта морщина древней земли».

Характерно, что все крупные графические и живописные циклы Борис Григорьев мыслил как книги и стремился увидеть их напечатанными в сочетании с текстом, создавая таким образом особый вид «экспонирования» в книге. Ему принадлежат композиции книги «Расея» (1918), где помимо очерков П. Щеголева и Н. Радлова, были григорьевские тексты «Линия» и «Учитель»; «Intimité» (1918) со статьями В. Воинова и В. Дмитриева. Здесь совершался поворот «от ночных кафе Монмартра — в глубь русской



Мужик и баба. Из цикла «Расея». 1917


Борис Григорьев

деревни». Критик В. Татаринов в статье «Борис Григорьев» («Жар-птица». Берлин. 1922. № 9) писал: «прыжок дерзкий, огромный, почти космического масштаба. Думали — будет новый Тулуз де Лотрек... А получился глубокий русский художник, может, более русский, чем многие и многие».

В дальнейшем замысел книжного экспонирования своих работ укрупнялся, и образ крестьянской Расеи трансформировался в многоликий образ оставленной, но не забытой России. В новых изданиях появились автопортреты художника, портреты современников, в том числе, актеров Художественного театра. В Берлине вышли книги «Расея» (1922) в сопровождении очерков А. Н. Толстого, С. Яблоновского и В. Шайкевича и «Лики России» (1923—1924) на французском и английском языках с текстами Клода Фаррера, Андрея Левинсона, Клэр Шеридан, а также бретонский цикл в книге «Boui-boui au bord de la mer» (1924) с новеллами М. Осоргина и статьей С. Маковского «Карандаш Бориса Григорьева».

Неосуществленными остались замыслы нескольких других изданий. О книге под названием «Лики мира» художник сообщал Евг. Замятину в 1924 году (за несколько лет до написания аналогичного живописного сюжета): «Это большой текст: Россия, Германия, Франция, Италия, Америка. Прилагаю к ней до 50 моих картин». В начале 1920-х гг. Борис Григорьев мечтал написать пьесу, роман «Maison la Jirafe», поэму «Америка». Он стремился также напечатать серию своих латиноамериканских работ, о чем в 1929 году договаривался с Андреем Седых: «Помню, Вы хотели написать книгу о Чили, я могу Вам много сказать, а Вам, может быть, удастся найти издателя для такой книги, где будет Ваш текст, а мои акварели (40); только книга будет называться моим заглавием: «В стране Мичмалонко и Гауполикана» — Борис Григорьев. Лучше по-французски, а издание должно быть «роскошным», т. е. репродукции в красках и на лучшей бумаге». (Архив библиотеки Йельского ун-та, США. GEN MSS 100. Box 1, f. 24).

Но первой книгой Бориса Григорьева, опередившей на год его дебютную персональную выставку в галерее Н. Е. Добычиной, стал роман «Юные лучи» (1912). Он появился в свет под довольно прозрачным псевдонимом «Борис Гри». Легко предположить, что весь пестрый круг писателей, художников, артистов и близкой им публики был хорошо осведомлен об авторе книги, о событиях, в ней описанных, о прототипах героев повествования, более того, поддерживал начинающего писателя. Журналист и коллекционер А. В. Руманов писал 10 мая 1912 г. своему другу, редактору «Биржевых ведомостей» А. А. Измайлову: «...Я знаю, как Вы заняты, и все же мне приходится отнять у Вас несколько минут. Податель сего — художник Григорьев, талантливый человек, ищущий «дом свой». Ему очень хотелось бы выслушать Ваше мнение о его романе (параллельно с живописью он интересуется и литературой). Не посмотрите ли Вы его рукопись? Верьте, меня этим обяжете...» (цит. по: Яковлева Е. В. Произведения Б. Д. Григорьева в дореволюционном собрании А. В. Руманова // Материалы III Григорьевских чтений. Псков. 2004).



Из цикла «Расея». 1917

Как вспоминал В. Каменский, он, Бурлюки, Хлебников часто бывали у Елены Гуро и Матюшина, у Кульбина, у Григорьевых уже в 1909—1910 гг.: «Григорьевы до умопомрачения любили Кнута Гамсуна, восторгались стихами Хлебникова и моими, много читали, работали и вообще были энтузиастами — это крепко связало нас». (Каменский В. В. Его-моя биография футуриста. М., 1918). В этой творческой среде складывалась и печаталась на обоях первая книга русского футуризма «Садок судей», и хотя Григорьев не участвовал в ней, но в 1918 году он также расположил рисунки в книге «Расея» на листах обойной бумаги.

Притягательность идей обновления языка искусства сближала их, и позволила позже Григорьеву считать себя соучастником рождения русского футуризма: «Футуристы» родились у меня в комнатах, а часть их на крымских берегах, подле Коктебеля в 1908—1909 годах, так же в моем присутствии. Крещение футуризм получил с появлением первого «Садка судей», приблизительно в эти же годы; отцы его — Давид Бурлюк, Василий Каменский, Виллимир Хлебников, значительно позднее — Владимир Маяковский, уже продукт «Садка судей».

Возможно, отзвук этого общения сохранился и в заглавии его романа «Юные лучи». «Мы новый род люд-лучей, — писал Хлебников Каменскому, издателю журнала «Светлый луч», летом 1910 года. — Пришли озарить вселенную. Мы непобедимы. Как волну нас не уловить никаким неводом постановлений. Там где мы, там всегда вокруг нас лучисто распространяется столица» (Цит. по: Сапогов В. Творю красоту // Наше наследие. 1990. № 4). О новых «люд-лучах», о творческой энергии, которая подобно радию пронизывает жизнь героя, рассказано в этой книге.

Кроме того, роман, как и все искусство Бориса Григорьева, насыщен эротикой. «В эросе пафос его творчества, — писал П. Щеголев. — Изумительное богатство красок, влекущая заманчивость его линий, весь его художественный мир был полон волнующего эроса. Портреты, природа, звери на его картинах, самые их краски, точно солнечным лучом, были пронизаны эросом». (Щеголев П. «Расея» Бориса Григорьева).

Образ художника Георгия Бурева автобиографичен, в его неровной, взволнованной речи слышатся непримиримые интонации значительно более поздних писем: «Я люблю врагов, они тормошат во мне меланхолию, которая, подобно осадку от людской глупости, находится в каждом из нас в большем или меньшем количестве. Я не могу согласиться ни с одним изобретением мысли, ни с одним изделием души; я иду дальше благодаря им же, и мне начинает казаться, что самый близкий человек становится моим врагом, как только предлагает мне свои дружеские отношения...» Герой пересматривает свои работы, «пестрые, смело заштрихованные, словно это были работы уверовавшего в себя мастера». Перед нами возникают рисунки к изданиям Бурцева, к пословицам, сказкам — «Он увидел русских баб, мужиков, мальчишек, животных... Тех самых, что на рассвете пленили его своей кротостью и покорностью. Извозчики спали на своих вышках и кнуты их болтались как часть их самих...».

Наблюдательность Григорьева, по замечанию С. Маковского, «заострена насмешкой, его вкус тяготеет к гротеску, к причудам обыденного, к фантазму пошлости» («Boui-boui au bord de la mer». Берлин. 1924).

Книга посвящена Екатерине Небратенко (Тарновской). О предистории произведения Григорьев писал Н. Еленёву: «...я жил в Судаке, там влюбился, но невеста моя, черненькая Катюша, застрелилась в Судаке. С тех пор я перестал быть веселым, записал стихи, один роман, ей посвятил...». (Независимая газета. 1996. 13 сент. Публикация С. Шумихина).

Одна из героинь, Лика, чем-то похожа на жену художника Эллу, Элю (Елизавету фон Браше, 1883—1969), окончившую Строгановское училище по прикладному отделению: «Одежды ее всегда художественны, если можно так выразиться, принимая во внимание ее рукоделия из различных материй и шелковых нитей, в чем сказывался не только вкус, но особое образование многолетней художественной школы».

В книге помимо любовной коллизии есть сцены, навеянные петербургскими впечатлениями автора: действие происходит в популярном ресторане «Вена», в мастерской художника, в модном салоне, просматриваются реальные персонажи. Так, художник До-Си, вероятно, известный сатириконец Ре-Ми (Н. Ремизов). Прототипом Ивана Булыжникова, авиатора и автора книги «Шалаш», можно считать Василия Каменского, чью первую книгу — «Землянка» (1911) — иллюстрировал Борис Григорьев.

Еще ранее он подружился с Велимиром Хлебниковым, который подолгу останавливался в семье художника, гостил на даче в Куоккале. Вероятно, с ним связана история «приятеля Владимира Рядова», полного творческой муки, печального, одинокого, известного всем своими «горячими и яркими словами».

Григорьев был частым посетителем литературных вечеров в кабаре «Бродячая собака», «Привал комедиантов», где выступал не только как декоратор, но и как поэт, восхищавший, по словам К. Чуковского, «сумасшедшинкой и писанием стихов». На вечере в честь Верлена 12 мая 1916 г., по сообщению печати, «был Федор Сологуб, Н. А. Тэффи, П. Потемкин, а далее совсем молодые: Струве, Курдюмов, Борис Евгеньев, Адамович, Кузнецов, Лариса Рейснер и — как художник достаточно известный, но как поэт, быть может, самый юный — Борис Григорьев». (Конечный А. М., Мордерер В. Я., Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Артистическое кабаре «Привал комедиантов» // Памятники культуры. Ежегодник 1988. М. 1989). Григорьеву посвящены несколько стихотворений Василия Каменского, рассказ Юрия Юркуна «Последние ноты певицы Арто».

Известно, что Григорьев написал около 500 страниц мемуаров (местонахождение рукописи неизвестно), но даже публицистический цикл «О новом» (1920) полон воспоминаний об участии в праздничном оформлении Петрограда осенью 1918 года, о сотрудничестве в журнале «Пламя», редактором которого был А. В. Луначарский, о «Первой государственной свободной выставке всех течений» в начале 1919 года во Дворце искусств, бывшем Зимнем, о работе над спектаклем «Снегурочка» в Большом театре...

Портрет поэта В. В. Каменского. 1916



Портрет Давида Бурлюка с моноклем. 1924

«Привал комедиантов» (Таверна). 1916

«Смерч времени» все сильнее закручивался вокруг художника. «Моя душа полна смятения, — писал он В. В. Федорову 14 сентября 1919 г., — ...сейчас я совершенно ненормален, потому что вокруг меня вся жизнь ненормальна». Спустя месяц Григорьев с женой и сыном нелегально переправился на лодке на финскую сторону — так началась его жизнь в эмиграции.

Искренность и непосредственность, приступы разочарования в себе и в окружающих, радость творческой удачи, тоска по России и невозможность возвращения, — все эти особенности психологического склада художника-эмигранта запечатлелись на страницах его поэмы «Расея» — наиболее значительного произведения Бориса Григорьева—литератора.

Это поэтический эквивалент серии живописных и графических работ, опубликованных в книгах «Расея» и «Лики России» в 1918—1924 гг. Автор намеренно подчеркнул преемственность их идейно-образной структуры, поместив в качестве эпиграфов к поэме отрывки из статей Алексея Толстого и Сергея Яблоновского, а также свое стихотворное посвящение «Ее пасынкам» из первого издания книги (1918). Таким образом, слова, которыми определялась суть изобразительного творчества Григорьева, были через пятнадцать лет со всей определенностью отнесены к одноименной поэме, сообщая ей статус итогового и в какой-то мере программного произведения.

Работа над поэмой началась, по-видимому, в 1919 году под впечатлением лета, проведенного в Вытегорском уезде, последнего перед эмиграцией. На это указывает один из начальных вариантов, вписанный в 1921 году в альбом Веры Судейкиной под заглавием «Советская провинция (919)». Однако за прихотливыми натурными зарисовками, с которыми можно сопоставить первую часть поэмы, вставало апокалиптическое видение, сравнимое для Григорьева с «Последним днем Помпеи» Карла Брюллова, — катастрофа, потрясшая «лыковую и ликовую» Россию. Он ощущал ее приближение, когда писал угрюмые, корявые лица крестьян, «реальные до жути», когда сознавал бессилие интеллигенции перед этой стихией.

Взгляды, отраженные Григорьевым в предисловии к изданию 1918 года, могут быть сопоставлены с целым рядом современных ему выступлений Василия Розанова («Апокалипсис наших дней»), Николая Бердяева («Кризис современного искусства»). Но более всего пафос Григорьева созвучен работе Вячеслава Иванова «Лик и личины России: К исследованию идеологии Достоевского» (1917). Вяч. Иванов рассуждал о двух богоборствующих началах — Люцифере, духе возмущения, и Аримане, духе растления, которые, как тень, сопутствуют «святой Руси». В героях Достоевского, привлекавших с юности Бориса Григорьева, виделось олицетворение «люциферической России» (Иван Карамазов), новой «святой Руси» (Алеша), «мученика Аримановой Руси» (Дмитрий). «Мы все, увы, хорошо знаем эту Ариманову Русь — Русь тления, противоположную Руси воскресения — Русь «мертвых душ», не терпимого только, но и боготворимого самовластия, надругательства над святынею человеческого лика и человеческой совести,



Снегирев (И.М.Москвин) и Алеша (Б.Г.Добронравов) в сценах по роману Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». 1923

подчинения и небесных святынь державству сего мира; Русь самоуправства, насильничества и угнетательства; Русь зверства, распутства, пьянства, гнилой пошлости, нравственного отупения и одичания», — так определял Вяч. Иванов «народный нигилизм», столь поразивший Григорьева (см. эпиграфы к поэме).

Но далее он приходил к выводу о том, что «возненавидев Ариманову Русь, образованная часть населения, назвавшая себя «интеллигенцией», давно уже искала оторваться от всей русской самобытной данности и преемственности — от Руси Аримановой, которую она видела, и вместе от Руси святой, которой уже и не видела, по крайней мере в настоящем, и бытию которой, как временной сущности, конечно, не верила. Эта часть народа попыталась создать новую Россию, уже не Ариманову, но и не святую, а Россию, осуществляющую собою тот, как мы сказали прежде, люциферический процесс, что совпадает с процессом культурным. Почему и случилось, что эта часть народа со всею страстностью восприняла западные начала...». (Иванов Вяч. Родное и вселенское. М. 1994).

Однако и темная, ариманова, народная стихия, и «люциферическая» сила культуры, представлены Борисом Григорьевым нерасторжимо как «два лика, две жизни, две души». Именно так определял существо мятущегося Духа его друг, поэт-песнебоец Василий Каменский: «Две судьбы — народная, да гуслярская». Григорьев прославляет стихийную, природную силу таланта, противостоящего пошлому миру, в котором художник не конвертируется, как рубль. Он верит, что в мире установится подлинное соотношение ценностей, подобно хлебниковскому разделению на Млечный путь изобретателей и приобретателей.

Основной конфликт поэмы обозначен уже в ее подзаголовке — «Сатира пасынка», в котором указана жанровая связь не только с традицией XVIII в., но и более близкой Григорьеву сатириконской поэзией. Автор (пасынок) определяет свое отношение к Расее-матушке и, разрушая это устойчивое словосочетание, вводит дополнительное значение — «мачеха». Такова на первый взгляд проекция его биографии, вызвавшая двойственность самоощущения — генетическая связь с Россией через отца и выход во внешний мир, открытый матерью-шведкой. Но конфликт индивидуальной судьбы углубляется и осложняется, будучи перемещен в сферу истории и культуры. Пасынок — это художник. Перенеся из книги «Расея» (1918) посвящение «Ея пасынкам» в качестве эпиграфа к тексту поэмы, Григорьев мучительно и неоднозначно решал этот вопрос. «Я весь ваш, я русский и люблю только Россию, не будучи совершенно политиком, — признавался Григорьев в письме к Замятину. — Сами судите, если еще можете, если Россия, страдаючи, не поняла, наконец, что была — поскольку Россия, поскольку живы еще ее художники! Пасынков не должно быть больше, как было прежде. Или мы сыновья и нас надо приласкать, или к чертовой матери — ее мать — старую ведьму. И без нее обойдемся».

Сложность ситуации не исчерпывалась одним желанием вернуться на родину, о котором Григорьев писал неоднократно, передавая в 1922—1924 гг.

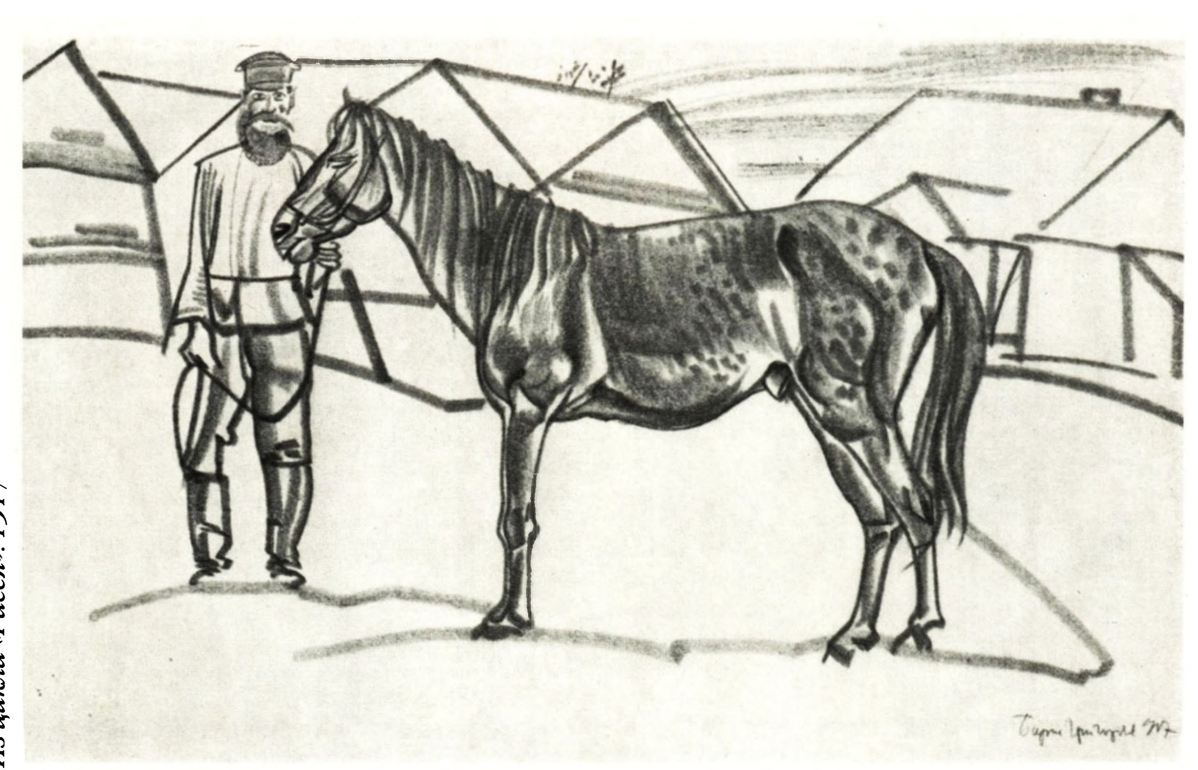


Лики мира. 1920—1931. Фрагмент

через Маяковского и Бринтона свои просьбы Луначарскому. Для художника «вернуться» и быть не пасынком, а сыном означало признание его творчества, возможность сделать его общественным достоянием, «в песню новую впрягать народный плуг». Иллюзия возможности такого поворота событий сохранялась, судя по письмам, вплоть до конца 1920-х гг. несмотря на данный ему в СССР ярлык белоэмигранта. Примечательно, что, обращаясь к Василию Каменскому с надеждами увидеться, Григорьев просил друга похлопотать и написать в «Правду» статью-произведение о его работах, обратиться к А. Толстому, Евг. Замятину: «А я, кто пел Россию по всему миру, кто славил ее... — должен быть принят в ее объятия, когда сам распахиваю мою душу ее земле!»

В тексте поэмы «Расея» таких до некоторой степени наивных предположений нет, и тема пасынка, потерявшего мать-Россию, на месте которой с очевидностью проступили деформированные, уродские черты мачехи, господствует над ностальгическими воспоминаниями.

С чем связан этот перелом в сознании художника и само появление поэмы? Можно предположить, что одной из решающих причин стала встреча с выехавшим на Запад Евгением Замятиным, старым другом и адресатом переписки Григорьева. Первые месяцы во Франции семья Замятиных провела в парижской квартире художника, а затем лето 1932 г. на его вилле «Бориселла» около Ниццы. Возможно, из рассказов очевидца Борис Григорьев узнал, что «политикой всякой правит бес», что не существует лыковой Расеи, как нет больше святой Руси Нестерова или сказоч-



Из цикла «Расея». 1917

ного царства Васнецова. Все это накладывалось на собственный опыт борьбы за существование и подступавшую жестокую болезнь — рак желудка...

Однако рубеж 1931—1932 гг. был важен и в творческом отношении: закончена и выставлена в Праге большая, состоявшая из отдельных плоскостей работа «Лики мира. 1920—1931», которой художник придавал программное значение. На ней были изображены лица и лики, маски и символы его мироощущения, апокалиптически мрачного. «Со мной что-то случилось, — писал он друзьям, — много думаю, и многое мне стало ясно, до того ясно, что дальше уж некуда идти. Я всегда завидовал какому-нибудь телеграфисту, который так ясно на все смотрит и видит то, на что глядит; теперь со мной случилось вот это самое — гляжу... и до чего гадко все на свете, до чего же я все иначе представлял, пересоздавал, воображал».

Поэма «Расея» отразила те же особенности — попытку из фрагментарного сложить универсум. Как и «Лики мира», поэма создавалась на протяжении длительного времени (от эпиграфа до заключительных строк прошло пятнадцать лет), но не произвольным соединением отрывков, а развертыванием текста от наблюдений, воспоминаний к размышлениям о судьбе человеческой. Отмечая органическую способность Бориса Григорьева вбирать в себя разнородные впечатления и продуцировать оригинальные произведения, Андрей Левинсон писал: «Я не знаю лучшего примера торжества творческого процесса над подсказками других стихий, более вольного цветения художественного эгоизма, вбирающего в себя фор-



Из цикла «Расея». 1917

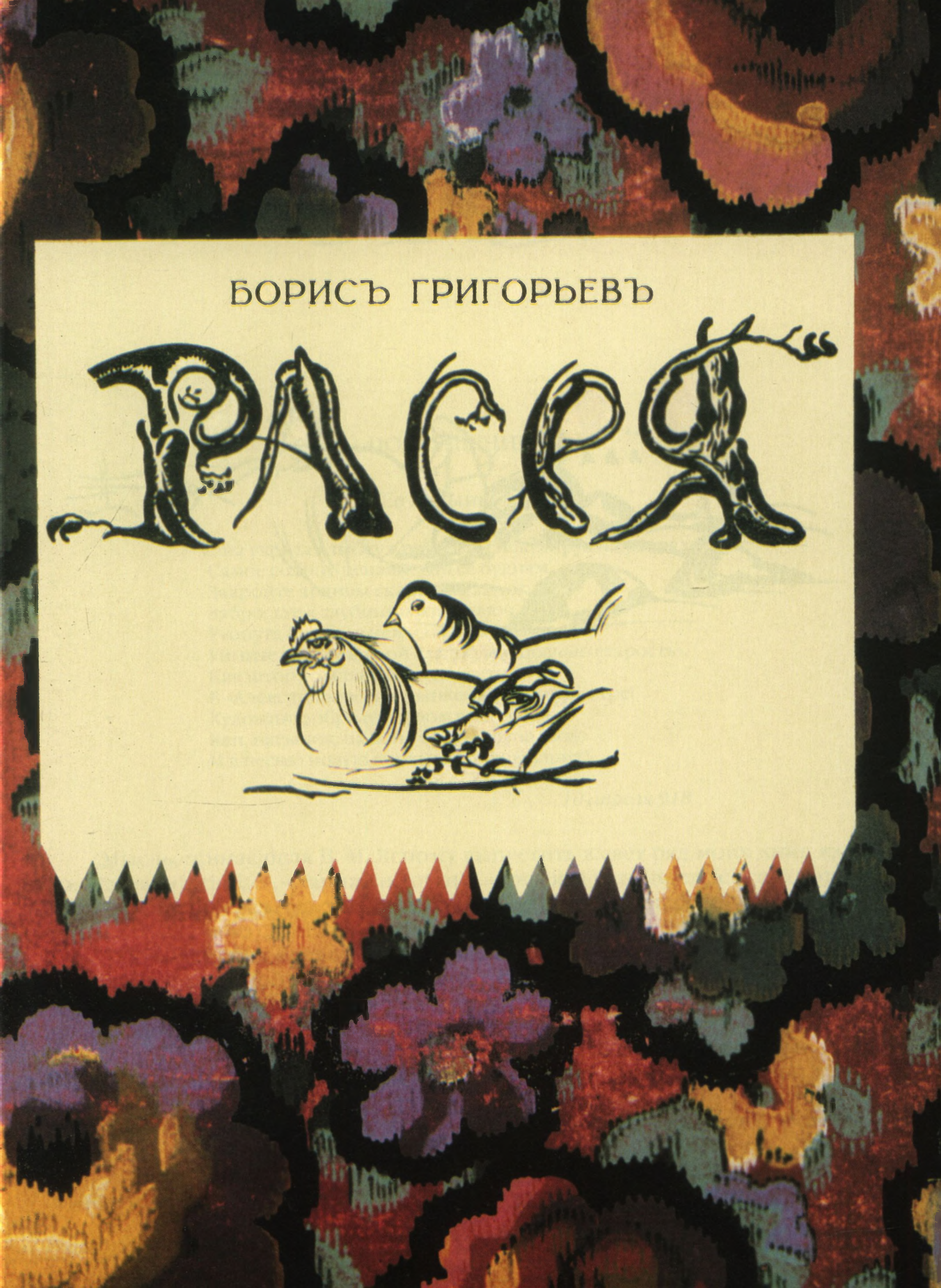
мы потрясенного бытия на радость себе и людям. Григорьев не политический печальник, а импровизатор, всегда безраздельно готовый к творческому действу, пиявка, жадно высасывающая живую кровь вещей» (Левинсон А. «Расея» Бориса Григорьева // Жизнь искусства. 1918. 29 окт.).

Таков был прежде всего Григорьев-художник, но знакомство с его литературными произведениями, особенно поэмой «Расея», убеждает в том, что, оставаясь преимущественно в визуальной сфере творчества, он стремился на поиски общего языка искусства, «вольного цветения» жизни на полотне и в слове.

В. Н. Терёхина, доктор филологических наук



В деревне. 1913


БОРИСЪ ГРИГОРЬЕВЪ
РАСЕЯ





ПОСВЯЩЕНИЕ

Ее пасынкам

Она украла улыбку у ребенка, спекулируя на улицах.
Самое солнце ненавистно ее будням.
Закройте архивы скорби на замок.
Забросьте в глубину жизни ключ —
Утонуть бы ему в ней навсегда!
Уймите в кабинетной сладости «собачью старость»,
Как штору пыльную, ее сожгите
В «Александровском рынке» на одном костре!
Художник, обрадуй чудом глаз твоих.
Яви, пасынок, на лоно весны голос твой
И в песню новую впряги народный плуг!

10 апреля 918

Мысль, пришедшая В. М. Ясному выпустить в свет ряд моих книг, как то: «Расея», «Intimite», «Париж» и другие, — увлекла меня прежде всего потому, что время, переживаемое нами, так неестественно перегружено роковыми для человека событиями, так ожесточенно бурно.

Никто не может быть уверен в том, что смерч времени не вырвет и его с корнями у любимой земли и не развеет жадный мозг и вечную душу человека волею стихийной, все более стремительной инерции, жестоко расплавляющей устои человеческой культуры.

Художник более чем кто-либо бережет свою любовь. Увлеченный ею, он свято действует, и в этом его личное счастье. Оно в том, что он еще может любить... Что любить? В сущности, любовь художника всегда была только мечтою. Мечта умрет только с ним. Но пока жив художник нашего времени — живы и его дела.

Культура была очень изобретательна, и вот наконец ее апогей! Огромный, созданный ею ком инерции катится через весь мир, по всем его мери-

дианам и параллелям. Воздух уже заражен запахом раздавленного мозга. Исполинский сгусток крови, как всечеловеческий призрак разрушения, перекатываясь по цивилизовавшейся веками земле, оставляет нам, еще живым, лишь мертвые ухабы первобытности.



Убока урожая.
Из цикла «Расея». 1916

«Посвящение» предпослано книге Б. Григорьева «Расея» (Пб.: изд-во В. М. Ясного, 1918) и адресовано русским художникам. Посвящение в следующей книге Б. Григорьева «Intimité» (Пб.: изд-во В. М. Ясного, 1918), датированное сентябрем, звучало иначе:

Ее же пасынкам

Наконец-то ей угодно усыновить Вас. Теперь души Ваши будут надобны людям не только в праздники, в день именин, подобно цветам, но и в те мудрые будни, чьи трутни станут вырабатывать из Ваших душ сладкий мед.

Да полюбят все не только мед, но и самое Ваше великолепие!

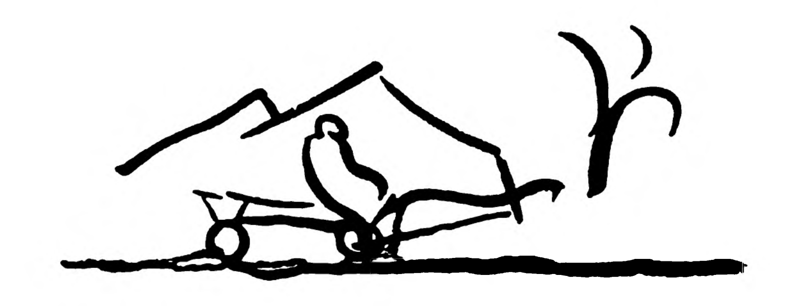
Борис Григорьев



Старуха с коровой. Из цикла «Расея». 1917



Хлебников в будущем. 1916



ЛИНИЯ

I

Она подобна молнии в сознании глаза — зигзаг, уловляющий неумолимое в движении жизни. Линия есть движение, его отражение, увековеченное, но и мерцающее вечно. Линия, включая в свои грани плотность формы и пропуская в ней все несущественное, упрощая форму, имеет в себе еще ту особенность, которая приводит произведение к пределу законченности.

Сдвиг, пропуск, ироническая гипербола делают линию мудрой. Линия самое минимальное средство в руках художника. Вот почему она требует и «культуры» глаза, и изобразительной воли.

Линия есть ближайший и скорейший изобразительный способ в творчестве.

Стихотворная форма рождается в длительном средоточии.

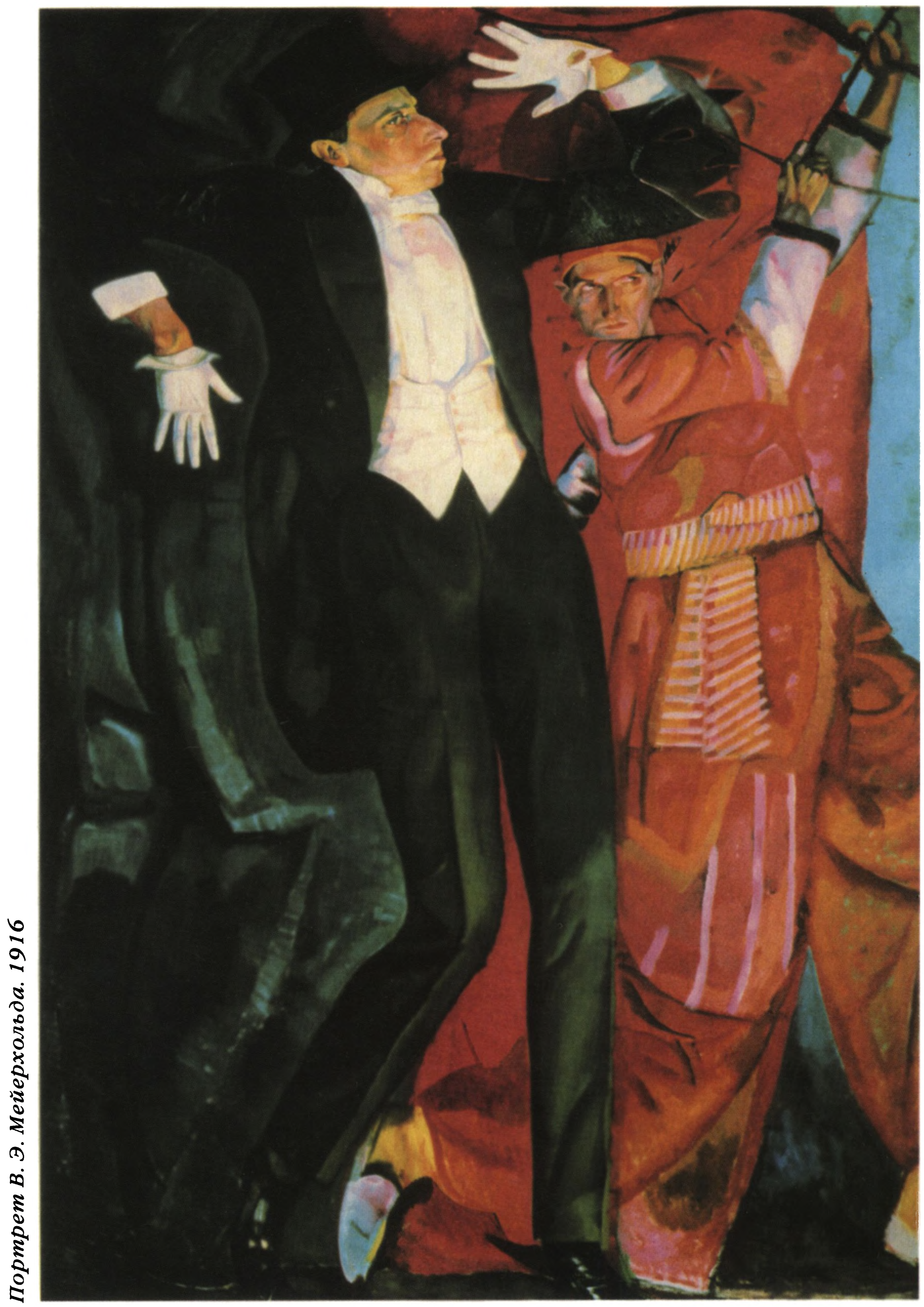
Искусство «глаза», искусство «видеть», обладая линией, через нее освобождается от формы немедленно. Ее творческий процесс так краток, как самая молния в сознании глаза.

Творческое сознание уже есть творческое изображение. Оно есть линия.

II

Графика ее труп. Не нужно смешивать этих понятий. Итак, линия доказывает, что творчество не только в компоновании формы, а и в немедленном изображении жизни, прошедшей через глаз, и изобразительная воля художника. Отсюда должны вытекать истинные законы «реализма». Его последняя и единая формула: реально не до «иллюзии», а реально до жути.

Эссе входило в кн.: Расея. Пб., 1918.



Портрет В. Э. Мейерхольда. 1916

Вот почему художники, даже «самые невежественные», любят «натуру», и «отсебятина» им не нравится. Но это вызвано исключительно среди «реалистов-иллюзионистов» (академисты, импрессионисты). Как раз эта «отсебятина» в самый момент созерцания, так и во время работы. Сдвиг, пропуск, утрировка — все это та «культура» или, вернее, то понимание в искусстве, которое приводит через искания к самому себе.

Линия есть не только форма, но и цвет, отсюда — и свет и тень. Точно так же как стих, вмещающий в своей коротенькой форме целый мир, еще то, что больше, чем его форма, чем самый мир.

Вот почему учение о светотени, имеющее в своем основании шар, призму, куб, умервщляет форму и приводит к ее трупу.

В живописи линия много способствует колористическим тонкостям, обнажает грань формы, сообщает ей особую чуткость и законченность.

«Чеканность» формы — это то, что в произведении невидимо присутствует линия, как предел одной формы, соприкасающейся с другой, сдвиг которой уж был бы немыслим, ибо линия ее утверждает.





Девка у забора. Из цикла «Расея». 1917



УЧИТЕЛЬ

I

В Москву приехал Щербиновский. Прямо из Парижа. Костюм в крупную желтую клетку, штаны как у эксцентрика. Бритый, с прической Поль де Кока, огромный — «без пяти минут Шаляпин», как его прозвали немедленно строгановцы.

Это было чудо. «Югенд» воспроизводил его произведения. Манера преподавать была свежая, «чисто художественная». Непременный натурщик, сангина, резиновый палец, растирка с угольком, набросок «на глаз». Быстрый, живой, очень жизнерадостный набросок, кое-где удары резиновым пальцем. Далее, он ставил группы, по два и по три натурщика — мальчишки, китайцы. Все это жило на листах учеников «по-французски». Он учил и «строгому» рисунку. Его «стропилы» известны каждому строгановцу: «от ключиц к пупку, от пупка к щиколотке, от ключиц к глазничному слизняку, от соска к соску».

Так учил Щербиновский «ставить». Но, конечно, учил этим фокусам, так сказать, «мысленно». Ученики старались до того, что вся бумага была изъезжена «стропилами». Иные даже не стирали этих лесов, так были важны им самые леса — учение Щербиновского. Кто же серьезно понимал его, тот навсегда останется благодарен «мэтру».

Но «стропилы» строгановцев действовали мне на психику. Эти будущие «художники календарей и рекламы» довели истину до поругания в своей нечуткой безмерности.

Однажды пришел я к Щербиновскому на квартиру. Это было в 1905 году. Зашелестели итальянские жалюзи на дверях. Сам открыл, в одном жилете, рукава засучены выше локтей, лицо как у состарившегося мальчика, штаны в желтую клетку.

«Хочу у вас учиться», — сказал я, задыхаясь.

Прошли в мастерскую. На полу лежала огромная картина. Мэтр мыл ее с мылом. Он делал это на моих глазах, слушая мою мольбу. Я советовал ему устроить школу у себя в мастерской, обещая увлечь кое-кого из «мечтательных» строгановцев. Уговорил. И я втихомолку перетащил к нему семь—

восемь учеников. Стали работать, да как! Казалось, от волнения сгорят уши, обуглятся и отвалятся...

Однажды учитель сказал мне: «Переезжайте ко мне, будем жить вместе».

II

С тех пор шесть месяцев я спал у него за перегородкой. По утрам, тайком, чистил ему большой длинноталый пиджак в желтую клетку. А однажды, сняв с него длинный рыжий волос, едва не заплакал от ревности к женщине.

По ночам Щербиновский играл на виолончели, а я, вдыхая его большую грусть, вместе с запахом холста и красок постепенно всасывал в себя и самый запах родного искусства.

И вот однажды утром, когда еще никто не приходил, случилось то, о чем никто не знает.

Натурщик только что разделся и встал в позу. Щербиновский взял карандаш. Поставил его наверху бумаги, где начиналась шея, и повел линию, повел непрерывно до самой щиколотки. Остановившись на мгновение, он завернул пятку и обчертил ступню. Потом он еще долго рисовал, но я уже не следил — со мной что-то произошло.

Я задыхался и глядел самому себе вовнутрь. Я понял что-то раз и навсегда. Это и было мне откровением, первым и последним за всю мою последующую жизнь. Конечно, когда я поехал держать экзамен в Академию, я применил только «стропилы» и сангину. Я и в Академии рисовал по теории «стропил», постепенно оставляя пресловутую сангину. Но думал я каждую минуту о другом. Что же было это другое? Линия, совсем просто проведенная кривая от шеи и до пятки, непрерывная линия. Об этой-то линии Щербиновского я и мечтал. Но линия была не шутка.

Сам «мэтр» никогда потом не повторил той божественной линии! Да он, впрочем, никогда и не рисовал линиями. Это тогда с ним что-то произошло. Я верил в него, он чувствовал это, он чувствовал меня.

И вот подарил мне то, что самому ему не было нужно. Быть может, Щербиновский таит в себе множество откровений.

Я заглянул к нему как-то, совсем недавно. От всей души пришел к нему. А он постарел, совсем Сальери... Только бранится... Прости, Анфимыч.

Эссе входило в кн.: Расея. Пб., 1918.

Щербиновский Дмитрий Анфимович (1867—1926), художник, преподаватель Строгановского училища. О нем как об учителе Борис Григорьев писал еще в романе «Юные лучи»: «Георгий Бурев навестил в Москве своего учителя, у которого научился грунтовать холсты и любить запах родного искусства...»

Александр Шевченко вспоминал: «Рисунок в Строгановском училище вел Щербиновский. Он никогда сам не поправлял рисунок, не рисовал за ученика, как это делали все другие преподаватели <...> Щербиновский очень много говорил. Говорил очень громко:

— Я ведь ко всем вам обращаюсь, ведь ошибки у вас у всех одни и те же.

В мастерской рисунка стояла большая черная доска, и, говорят, Щербиновский делал на ней карикатурные рисунки, объясняя ошибки того или иного ученика» (Шевченко А. В. Сборник материалов. М.,1980).

Поль де Кок (1794—1871), французский писатель, чье имя стало нарицательным для обозначения фривольных произведений.





Островки. Маленькие бабы. 1911

РЕРИХ

Николай Константинович Рерих. Его имя на устах мира. Но до революции большевистской наши русские невежды совестились, когда не могли обнять его мистического таланта. Тогда они ютились в тихой сырости своей обывательской заводи. Но теперь враги искусства и всевозможные недоброжелатели русскому гению расползлись по всему миру. Немало их и в Берлине. Как часто слышу: «Рерих — реакционер!» Как будто новатор-художник непременно должен вдруг увидеть то, чего никогда не замечал прежде. И с каким-то наглым спокойствием говорит о нем какой-нибудь спекулянт или там дипломат новой формации: «Ах, знаете, не понимаю я Рериха». Вот эту наглую и сыто-спокойную маску кто-то должен сорвать! Недаром художники всего мира взирают на Восток. Не оттуда ли должно прийти освобождение искусства? Но долго придется еще ждать художника, пока искусство Востока не переживет эпохи дипломатии в искусстве. Этою болезнью сейчас больны все. Но только не Рерих. Он чист остался. За это его считают «реакционером» и играют на понижение его духовной ценности. Скажите, что это за новый тип спекуляции? Не следует ли миру оградить лучшее, что у него еще осталось, от подобного рода «политики»? Где же энтузиасты? Ах, они растворились в переулках обывательщины и ее потреб, более подлых, чем когда-либо, опорочивших даже чистую братскую идею социализма. Если мы знает и допускаем тот аскетизм, который в старину создал парадоксальную философию и тем самым ничего не дал людям, кроме одного горя и смятения юношеских умов, то мы особенно внимательно должны отнестись к новому аскетизму. Это явление замечается сейчас не только среди злобных анархистов, но именно среди самых жизнеспособных художников, полных сил, и любви, и творческой воли. Их образы должны быть выявлены! Потому они и уходят от всего того, что разъедает мозг и сердце. Одна из последних картин Рериха — «Exstasy» — выставляется им теперь в Лондоне, в «The Goupie Gallery», дает прекраснейший образ современного нам отшельника, полного смятения и судороги... даже в одиночестве, среди скал, где он находит дружеские лики. Предо мной



Портрет художника Н. К. Рериха. 1917

лежит журнал «The Studio», посвященный нашему великому художнику, и я горжусь, когда подумаю о том, что Рерих еще способен потрясать душу человека. Еще жива душа человека!

Рерих — первый председатель «Мира искусства». Он был первым, кто остался верен искусству и, подобно Писсарро, бежал от политики к своим образам. Он остался не только цельным художником, но цельным революционером, потому что не остановился на творческом пути и, устремляясь все дальше и дальше, во многом опередил наше смутное время.

За ним уехали Анисфельд и Александр Яковлев. Оба эти художника — первый в Нью-Йорке, второй в Китае, Японии и, наконец, в Париже, выявили подлинную мощь России. Билибин сидит в Африке. Шухаев перешел границу.

Бакст, Гончарова, Ларионов давно известны всему Парижу. Вот этих членов «Мир искусства» и хочет собрать. Это уже общество. Но где? Этот трудный вопрос мы сейчас разрабатываем. Но главное то, что «Мир искусства» уже существует! И существует наш председатель Н. К. Рерих.

Печатается по: Голос России. Берлин. 1920. 27 (14) мая. № 113.

Рерих Николай Константинович (1874—1947), художник, писатель, философ.

Рерих посвятил Григорьеву некролог (1939) и воспоминания (см.: Рерих Н. К. Листы дневника. Т. 2. М., 1995).

«Exstasy» — картина Рериха «Экстаз». Об успехе лондонской выставки Григорьев узнал из писем Рериха к нему.

...председатель «Мира искусства» — в 1910—1913 гг. Рерих был членом-учредителем и председателем общества «Мир искусства».

Писсарро Камил (1831—1903), французский художник.

Анисфельд Борис Израилевич (1879—1973), сценограф, живописец.

Яковлев Александр Евгеньевич (1887—1938), художник, учился в Академии художеств вместе с Шухаевым, с 1920 г. работал в Париже.

Билибин Иван Яковлевич (1876—1942), график, живописец, член объединения «Мир искусства», в 1920 г. эмигрировал, в 1925—1936 гг. работал в Париже, затем вернулся в Ленинград.

Шухаев Василий Иванович (1887—1973), художник; как и Григорьев, учился в Строгановском училище, а затем в Академии художеств. В 1920 г. эмигрировал в Финляндию, в 1922—1930 гг. работал в Париже, в 1935 г. вернулся в СССР. Репрессирован в 1937 г. После освобождения в 1947 г. жил в Тбилиси.

Бакст Лев Самойлович (Розенберг, 1866—1924), художник, в 1898 г. стал одним из основателей кружка «Мир искусства». В 1910 г. поселился в Париже, сотрудничал с С. П. Дягилевым.

Ларионов Михаил Федорович (1881—1964), художник, муж Н. Гончаровой, с 1915 г. жил и работал в Париже.

Гончарова Наталия Сергеевна (1881—1962), художница, с 1915 г. жила и работала в Париже.

Будучи в Берлине, Григорьев стремился перебраться в Париж, где сосредоточились основные художественные силы русской эмиграции и возникли надежды на возрождение общества «Мир искусства». Вместе с Яковлевым и Шухаевым Григорьев стал в 1921 г. основателем третьего «Мира искусств» (председателем был избран князь А. К. Шервашидзе).



О НОВОМ <1—3>

I

Что хуже всего на свете? Болтовня. О ней Стриндберг говорил так: «По пять крон за столбец». О как бы глубоко счастлив был бы Стриндберг теперь, увидев, что существует целая область земного шара, где более не пишут этих «столбцов». А самые их писатели поди исхудали до полной утраты в себе пакостных этих поползновений. Только подумать, только припомнить, как им жилось и как они важно носили свои очки и правую руку, готовые протянуть ее за любым гонораром и в редакциях и вне их... Кто же молчал и злился? Кто изливал тоску и ненужную злобу на толпу? — Художники — эти дети в жизни, кто и по сию пору смотрит на спекулянтов с улыбочкой и удивлением, ибо на их денежки покупают себе краски и, скажем, раз в полтора года, костюмчик. А есть и такие, что относят денежки в кабак. И все от тоски, улыбочки, злобы. Ах, юность и по сию пору прислушивается к сказочкам об этих временах, более чем подлых. А все потому, что губительное, традиционное представление об авторитете связано и по сию пору с подобострастием и непонятной услужливостью перед старостью.

Только труд, сильный и здоровый, несущий новое, может рассчитывать на взаимность. Но на свете так заведено, когда человек начинает гнить заживо, к нему идут паломники. И находят только идола, созданного и поддерживаемого все теми же стратеями о «пяти кронах за столбец». Революция чудесно вымела страну от мелкой, гадко исписанной бумаги, но не дала и чистой, потому что она мудра, а для всякой мудрости нужно время. Вот оно и тянется. Скажите, где же те авторитеты? Без поддержки многие из них представились в чистых и ясных глазах подрастающего поколения именно глупейшими истуканами, которые и сами свалились от ветхости. А многих свалили. В упорстве их увидели лишь только смешное. Зачем нам спорить на эту тему. Из одной темы нельзя делать двух. Вот вы встанете в позу и покажете мне ваше хорошее воспитание и заученную гримасу, а я



Мальчик и девочка. Из цикла «Расея». 1917

скажу — оставайтесь с нею около развалин, а я пойду дальше. Что увижу, о том расскажу. А видения чудесные на каждом шагу. Какой-нибудь хитрец, прежде учуяв пустячок, вносил в общество постоянное смятение и гордился этим, уступая же немножко, получал свою долю. Он не становился в ряды учителей порядков и был вреднейшим из бесполезнейших. Таким образом, мы подошли к катастрофе. Разве кому-либо из нас сейчас кажется Европа чем-то таким, что ранее называлось Европой. Взгляните к себе в душу, не смеется ли в ней тихо и, может быть, тоскливо немножко какой-то уголок ее. Приятель мой, Вы не правы. Вы много испытали, много страдали, верю, но, победив смерть хитростью и приобретенной стойкостью, Вы прибыли в Европу с миной, которая делает Вас с виду дипломатом, а на самом деле лгуном. Теперь Вам уже нельзя будет жить в мире с собою, пока Вы не уберете эту мину и не признаетесь себе, что только правда может спасти Вас от усталости и от утраты всех Ваших старых богатств. Но окрылит Вас лишь то в Вас, выявлению чего мешали «авторитеты», а еще хуже — традиции. Не авторитет наш нужен людям, а вера в Вас, неподдельное Ваше личное действование, всегда идущее рядом с Вашими глубокими убеждениями без угодливости, без ретроспективности, без традиционной преемственности, без сговоров, без компиляций.

Был такой год в Петербурге и Москве, когда с легкой руки Сологуба разлетелась весть о том, что «искусство в опасности». Смутились умы, группировались и прошествовали кто как мог. Чего же испугались стражи искусства? Какую защиту они показали? Не проявились ли эти стражи только как «саботажники»? И не было ли в этой форме упорства только желания сохранить личный свой стиль и с той же старой боязни уступить первенство новому поколению. Ведь только очевидная старость и дряхлость была возмещаема новыми, да и то порядочно состарившимися. Время, о котором идет речь, было лишено на Руси даже подлинных стилистов. Это время компиляций, ловкачества и редакционных сговоров. Тем более были интересны выявления новой силы. И она оказалась налицо, хоть и не очень-то церемонившаяся со «святынями» и «идолами». Надо сказать, что эта молодая русская сила к тому времени уже успела перебродить в бочке, называемой Европой. У себя дома она вдруг выскочила и потекла по главным улицам, подмачивая подошвы «истуканам». По колена в пене новшества бродили русские обыватели. Но они все же были веселы. Приходили на каждый диспут, на каждую комедию, задаваемую «футуристами». А юные «творцы» скоро поняли, что из этих обывателей надо сделать не «смехачей» (в сущности, спасающихся от тоски и пустоты в собственных душах, заласканных войной и ее миллионами), а пятидесятипроцентный навоз, для удобрения другой половины, подготавливаемой к новому. Вот почему «футуристы» встали у власти, убедив ее, что были первыми пророками нового строя. Их образы сейчас кажутся чем-то «опасным», чем-то роковым, кстати, они и сами по себе прогрессировали и, влившись в жизнь, приняли вполне человеческое обличье. Живя с людьми, служа у рабочих жизни, они утратили артистическую спесь и индивидуальную болезненность.



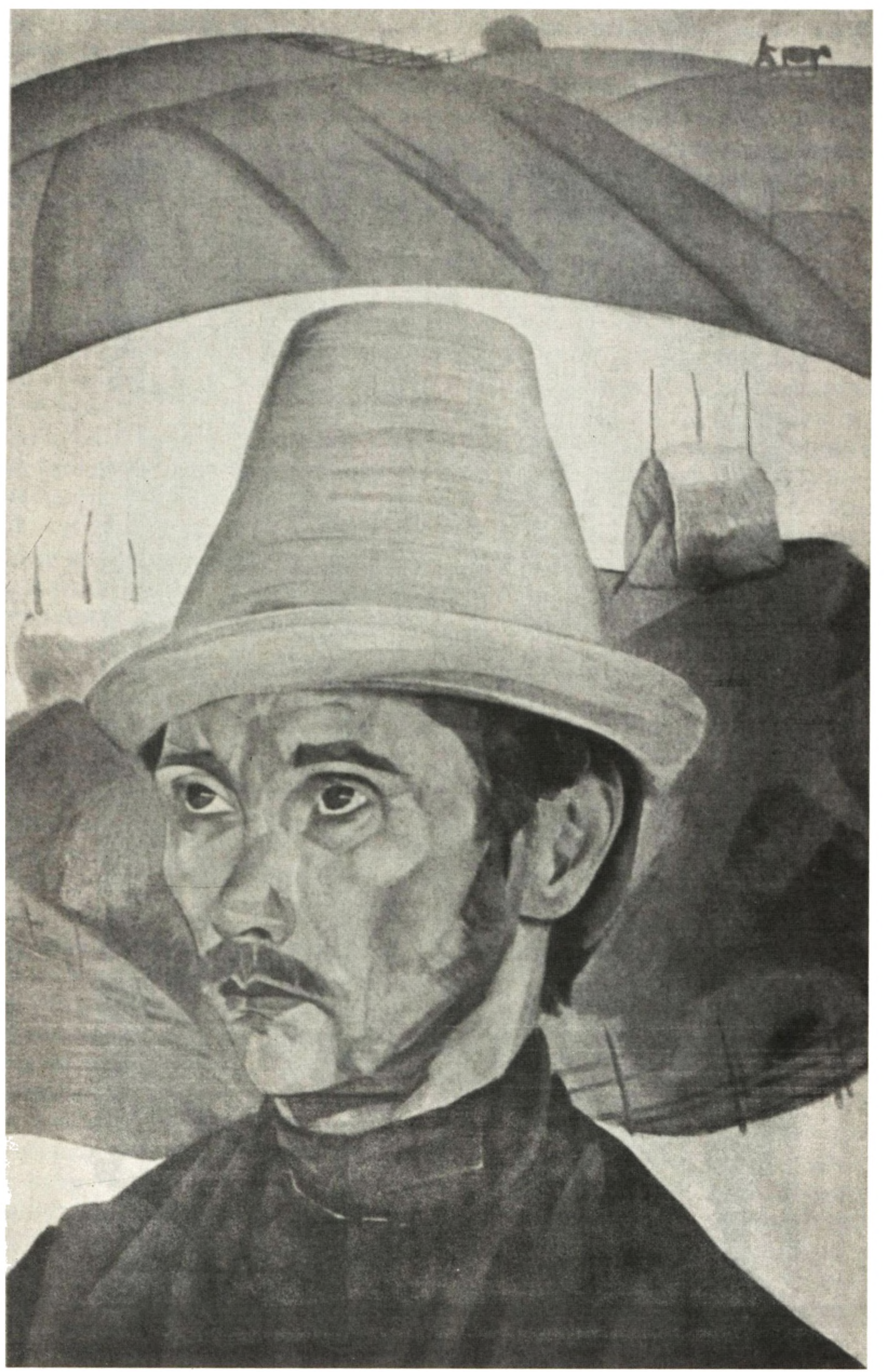
Неясыть. 1918

Было бы очень грустно, если бы молодое русское искусство преувеличило бы свое значение и совершенно утратило свою артистичность и индивидуальность, разложившись в коллективном творчестве. Встав у власти, они впервые на земле утвердили волю творческую. И та, что действительно была свободна, пройдя через многое такое, что было бы немыслимо ни при каком другом строе, стала уже вполне приемлема недавними врагами. А мне хочется назвать имена их — новых русских гениев, свободнейших и прекраснейших изо всех. Но, заметьте, и более близких людям, чем когда-либо были близки художники человечеству. Я и здесь говорю о людях только тех, кто хочет и любит.

Я назову эти имена. Их так же немного, как и всегда немного было подлинного. Хочется сказать еще о них такое, к чему они пришли, искав только лишь новую форму и новое для нее содержание. Во-первых, первая стадия исканий всегда связана только с формой. Когда же форма совершенно новая начинает выявляться, она сама по себе приобретает первые признаки смысла. И эти признаки нового много дороже всех готовых идей и понятий. Форма художника рождает новые понятия. Только видения художника откроют миру его тайны. Пути искания — пути действования, а не измышления. Только действие выдвигает результаты. В них будет новый смысл, они уже налицо. А сколько нежности, любви и новых знаний вкладывают сейчас в свои творения «футуристы» (отцы их). Я не встречал в Петербурге и Москве ни одного общества, которое не выказало бы полного доверия и внимания появлению новых творцов. И как хорошо, что никто не может сейчас обществу преподнести какой-нибудь «критики». Впрочем, «критики» в России понятие устаревшее и уже вполне бессильное. Там поняли глубже другое. Уайльд тоже был бы доволен. Довольны были бы все творцы, а «критики» отправились бы на биржу, тем более что там, где они еще существовали, есть и биржа.

К чему же пришли «футуристы»? К победе. Им никто не помогал. Теперь же они у власти для того, чтобы объявить творческую волю свободной от традиций и преемственности. Они все же далеки от народнических идей, им хочется лишь влить в массу свое. Тут артистическое начало и все те же художники. Узнаю их. Но много ли тех, о ком говорю. Быть может, трое. И все они поэты. Вот они: Василий Каменский, Владимир Маяковский, Николай Клюев. Новые талантливые поэты, победившие всю Россию от мужика до спекулянта. Каменский — нежный, Маяковский — грубый, Клюев — грустняк, мечтатель, славельник. И все они светят. В частности, как приятно было бы видеть Маяковского тут, в Берлине.

И у нас был такой год, когда, как я на это указал выше, показалось, что «искусство» в опасности. Я тогда выступил с обстоятельной статьей в «Вечерней Заре» у Полонского. Я доказывал, что в опасности только фальшивомонетчики от искусства. Что пухлая академическая детвора, обожаемая разными дядюшками, научилась лишь хитро ездить до Берлина, чтобы получать там деньги из заграничной командировки. Что 90 процентов повенчано законно и незаконно все с той же Академией. Что Академия — это ведро, которое пора вынести. Вот что значит революция. Кто-то пришел и



Портрет Н. Клюева. 1918



в наш художественный мир. И встал около истины. Что «отдел изобразительных искусств при Наркомпросе» состоит из очень культурных и талантливых людей, а главное, из молодых... Тогда я уже сказал и то, что в наш, всем нам несимпатичный век «керенок», какая-нибудь фальшивая «катенька» и совсем уже не годится. Но последствия революции оказались не совсем приемлемыми и даже преступными, об этом надо говорить, конечно, совершенно искренне.

II

Каковы же преступления в связи с освобождением творческой воли? Они прежде всего очень русские. «Иду красивый, двадцатилетний». Вот то русское самопризнание. И не в этом беда. Потому что в молодости вся сила, вся энергия, вся любовь. А в частности, молодость Маяковского значительнее посредственной зрелости. Беда не в футуристах, их очень мало, и они уже делают историю. Беда в «футуризме», который обуял молодежь, разложил совершенно понятие о труде, отозвал от должностей: парикмахеров, сутенеров, хулиганов и объявил их полноправными «художниками». Для них он установил законы: монополия выставочных обществ, отмена жюри и ставки на «произведения». Умножились музеи. Воздвигнут «музей современной живописи» в столицах. И открыто до тридцати новых мастерских при высших художественных учреждениях. Прежде назначали профессоров, придерживаясь традиций, на основании голосования, играла роль и протекция. Теперь назначают профессоров исключительно по протекции, непременных сторонников правительства, преимущественно футуристического искусствопонимания, а главное, назначают таких лиц, которые даже в области «футуризма» не имеют ни малейших заслуг. Назначение профессоров исходит исключительно из «Отдела изобразительных искусств при Наркомпросе». Оно обязательно. Ученики привлекаются всяческими подкупническими способами. Упразднили старые привилегии, как то: заграничные командировки, премии и категории. Ввели в школу сторонников правительства, а с ними и лозунги его, с лозунгами появились новые работы, иллюстрирующие их: главным образом плакаты и другие украшения. Работы эти раздаются только тем, кто находится поблизости. «Профессор» по назначению — свой человек. Он в курсе дела. Он очень важен, он что-то знает. С ним надо быть осторожным. Чтобы иметь работу, надо быть его учеником. Голод приводит и к нему юность. Юность кормит родителей, как прежде кормила ее старость. Эта работа хорошо оплачивается. Принцип ее исполнения — «футуристически-государственный». Он широко рекламируется рядом с лозунгами. Огромный плакат, чтобы быть выразительным, пишется красным и черным, с примесью каких-то грязных тонов, за отсутствием красок, времени, энергии, умения и принципов. Но даже при наличности парикмахеров, сутенеров и хулиганов; при огромном запасе заказов, раздаваемых «коммунистами от искусства»; при законном пребывании «профессоров» в «бывших академиях»; при увеличивающемся голоде и деморализации — мастерские сто-



Портрет А.В.Луначарского. 1919

ят пустые. Все-таки искусство мстит. И месть его таинственна и страшна. Его начинают страшиться даже те «вожди», у которых не оказывается ни одного ученика, несмотря на связи с правительством. У одного из таких петербуржцев появилась одна ученица, но она оказалась его женой. Ах, сколько теперь жен не только «профессоров», но и новых «критиков» «выходит в люди»...

Но если бы вы послушали, как эти дамы разговаривали, опираясь об руку мужей. С ними надо очень ладить. С одной из этих дам, на этот раз очаровательной женщиной, я, против воли моей, даже подружился... Она мне сказала однажды (рассказав историю с одним значительным русским поэтом): «Вот когда она может сделать с ним что ей захочется!» Но она все же была не совсем погибшей женой своего мужа, а потому хранила в своем женском сердце чудесные воспоминания от соприкосновения с подлинным артистом.

Что же еще сдерживает людей в России от окончательного падения? Конечно, воспоминание о той жизни, которая была хоть и менее свободна, но зато более честна. Многого человек недостоин, оказалось на самом деле. Дальнейшее пребывание на русской земле становилось страшно. У меня лично случился инцидент на выставке «Мира искусства» с одной женой своего мужа, который только впоследствии «выдвинулся». Эта дама принесла какие-то ридикюльчики и во что бы то ни стало решила их выставить в нашем обществе. Я всегда был против «ридикюльчиков» на

картинной выставке. На этот раз мы упразднили решительно подобные «экспонаты». Но каково было мое изумление, когда я увидел подле развешанных моих холстов витрину, запертую на ключ и с помощью служителей тяжело подвезенную. Я узнал экспонентку, она была тут же. Поговорили. Официально. На основании жюри. Несмотря на устав, несмотря на мое предупреждение, витрина только переехала через зал.

Шло себе время. А мне привелось, как и другим коллегам, также побывать в Наркомпросе. Регистрация. Но меня пригласили и в кабинет Луначарского. Это было в Зимнем дворце. Каково было мое изумление, когда я увидел сидящую на его письменном столе в позе Кармэн мою знакомую даму. Она болтала по телефону. Тут же сидели в позах «Привала комедиантов» многие художники и поэты. Дама, к которой так шла улыбка, не подумала выказать передо мной своих совершенств. Она была зла на меня. Что-то проскользнуло на ее лице такое, отчего я понял все. Теперь она была сильна, а муж вдвое. Но мое шутливое расположение духа не прошло от этого.

— Это тот самый Борис Григорьев, — сказал талантливый художник Н. А<льтм>ан, представляя меня Луначарскому. Очевидно, тут обо мне часто говорили. Читали мои статьи, видели мою «Расею», обсуждали все это как материал революционный. Об этом мне тут же сообщили. Но сделали вид такой, как будто конкуренты тут немыслимы. Я вовсе не хотел этого, черт меня побери. Но однажды было любопытно мне очень, я попробовал «пустить себя в это общество». Было так. Штеренберг, комиссар искусств,



Деревня. 1917

встретив меня у моих работ, сказал: «Хотели ли бы вы, господин Григорьев, занять пост, у нас очень много молодых...»

— Отчего же, если сгожусь для того, чтобы улучшить положение, — ответил я.

Описываемый мною момент в кабинете у Луначарского случился спустя месяцев пять после разговора со Штеренбергом. Теперь Луначарский меня вопрошает:

— Ведь вы, кажется, согласились работать в Отделе изобразительных искусств?

— Да, но после этого меня никто не назначил.

Лицо комиссара приняло серьезное выражение. Шло себе время.

Встречаюсь со Штеренбергом среди моих учеников.

— Вы жаловались на меня Луначарскому?

— Ах, полноте, товарищ.

— Но ведь вы же шутили?

— Шутил...

Выходило так, что я «шутил» и теперь, когда стал единственным профессором не по назначению, а по приглашению восьмидесяти студентов Высшего художественного училища, ибо это случилось в тот момент, когда мне надо было идти в Красную армию. В другое время я ни за что не поступил бы на службу из любви к искусству. Чтобы разбудить энергию среди московской юности, чтобы отвлечь их от трупного запаха академических этюдов, я ввел пятиминутное рисование с модели — только женской, чтобы не было и следа анатомического ковыряния. Бумаги изводилось уйма. Но юноши пробудились.

Успех был налицо. Штеренберг официально это признал и поздравил меня.

— Я и здесь шучу? — спросил я его язвительно.

А когда он удалялся по коридору, окруженный пупсиком в заячьем полушубке, темно-коричневым великаном-татарином Б. и остриженной девицей, только что вставшей от сыпного тифа (это были комиссар и члены учил<ищной> коллегии), я был удивлен необыкновенно маленькой и смешной фигурке «правительственного комиссара». Бархатные в полоску брюки парижского рабочего висели на нем как на столбиках, а бахрома их оставляла на полу прочищенные полоски. Взглянув в окно, я заметил пару вороных царских коней и затасканную царскую коляску. У кучера были седые бакенбарды.

Господи помилуй, подумал я, а ведь этот малыш, которого я встречал в Париже на «Муфтардке», этот рабочий в тысячу миллионов раз приятнее какого-нибудь Глобы. Уходя, он даже предложил мне поехать с ним на Остоженку, тем более что нам было по пути. Но, милая матушка Москва, я так люблю шлепать по твоим лужам и взбираться на твои холмы, еще более высокие и курьезные от накопившегося за зиму снега.

Шел себе я пешочком да подумывал. Мне вспоминались слова Штеренберга в Петербурге: «Ведь вы, «господин» Г., видели такую сумму, а Ф. никогда ничего не продавал».


Борис Григорьев 917.

III

Во второй моей главе я обронил слово о новых «критиках». Надо объясниться. В сущности, я не совсем был прав, когда построил мою первую главу именно на отсутствии в России лиц, «мелко и гадко исписывавших бумагу». Дело в том, что новые критики — это все те же старые человечки. Иные из них прежде околачивались подле «богемы». Тогда их называли «фармацевтами». Тогда они вдруг возгордились временем. Сильно разрознены стали кружки. Негде собираться. Нечего выпить, нечего поесть. Да и по улицам стало страшновато ходить. А если принять во внимание, что в 1919 году было разрешено показываться только до одиннадцати часов вечера, то и совсем не удавалось ничего предпринять. Кроме того, часы были переведены на три часа вперед. Следовательно, в 8 часов все были уже дома. Трудно было петербуржцам весною и летом, когда белые ночи начали казаться белой тюрьмой.

> ...Еще пылает в небе жар,
> как плод оранжевый и тяжкий.
> В дома спешат худые ляжки —
> коммунно-бледных, ветхих бар...
> И в очертаниях домов и крыш,
> и труб и флюгеров тревожных,
> как лезвие тупое в ножнах,
> ненужно прячется малыш...
> О, как он беден, как хвостик крысий
> в улицы глядит с домовой выси
> он на песий да на птичий бал...*

Итак, «фармацевты» как таковые будто бы перевелись. Однако вы узнаете их на поприще «критиков». Где же они пишут? — спросите вы подозрительно. Но они почти и не пишут, негде, а если и было где, то таковое учреждение скоро закрылось. Это «газета футуристов», издаваемая на «народные деньги» Наркомпросом. Там писали «фармацевты», а жены их собирали по миру материал. Иной раз весьма щекотливого свойства. На страницах «газеты футуристов» был помещен такой материал, что и впрямь начнешь искать этот комплект, чтобы положить в музей на память. Но так как эти милые мысли были когда-то напечатаны, то человечество и узнает о них когда-нибудь. С меня достаточно и того, что я уже имел удовольствие их читать в обеденную проголодь. Но в газетке нельзя было всего высказать, а вскоре она стала походить на «отчеты казенных заседаний», где вырабатывались тут же помещаемые правила и законы. Заметьте, законы в области художественной. Итак, «критикам» осталось ораторствовать на митингах. Они устраивались попеременно на выставках в Зимнем дворце, в «бывшей Академии» и «клубах художников». Для клуба реквизировали прекрасный особняк, и действительно, там очень приятно было собираться, словно в гостях у мецената, который уехал, но приказал веселиться. Вот тут и раскрывались

---

* Стихи из книги «Пустячки» того же автора *(Примеч. Б. Григорьева.)*



Две женские фигуры. Из цикла «Расея». 1917

чудеса. Юность русская прислушивалась, а парикмахеры, сутенеры и прочие хулиганы разносили по земле русской важные новинки. Последними и самыми выдающимися новинками в области изображения «фармацевтической мысли» были следующие: «об освобождении предмета» и о «применении площадей, как палитры». Не подумайте, что эти блестящие мысли были как-нибудь эгоистично-артистичны, и только. Совсем нет, они были одобрены правительством, отделом «Наркомпрос» и носили государственно-полезный характер. Лица, которые их придумали, не замедлили стать членами коллегии Изобразительных искусств, а одного даже кроме того утвердили комиссаром «бывшей Академии художеств».

«Освобождение предмета» — идея, как и все выдающиеся идеи, очень проста. Неважно то, что камень лежит без пользы, хотя бы он лежал в стенах Зимнего дворца, а важно то, чтобы он был перенесен на пользу государству. И воздвиг бы красноармейскую казарму. Но ведь Растрелли давно умер, он не может перенести камня. «Его перенесут рабочие», — был ответ. Тут могла пострадать лишь архитектура. Это, конечно, неважно. Кто такой был Растрелли? Или Воронихин? Ах, это были только элементы девятнадцативековой культуры. Пусть же эти века послужат наградою «буржуазною» за труды, за подвиги 917, 918, 919, 920 годов! Далее, неважно, что гобелены висят без пользы во дворце какого-нибудь «буржуя» Абамелек-Лазарева, а важно, чтобы они были разделены между красноармейцами на портянки и согревали их ноги в зимнюю пору. Относительно «площади — наши палитры» совершенно нечего сказать, так как эта мысль даже выходит из области художественной и впадает в чрезмерную угодливость коммунизму.

Новая критика ищет не случая придраться и списать и наговорить множество мелких и гадких слов, она ищет новых контактов между коммунизмом и художниками. Она не удовлетворена теми, которые уже существуют. Ей угодно убрать из творческой области даже слова: красота, вдохновение, стиль, форма, живопись, линия и т. д. Я сам читал в «газете футуристов», в одном из ее номеров об «упразднении слов»: красота и вдохновение.

«Площади — наши палитры...»

Как же относятся художники к новой критике и к ее первенцам? Они охотно посещают митинги, тем более что таковые устраиваются в помещении их клубов. Они внимательно слушают, но даже не советуются друг с другом на эти новые темы. Потому что они вне их области. Но у новой критики есть и свои воины, они называют себя «футуристами». Это неправда. «Футуристы» родились у меня в комнатах, а часть их на крымских берегах, подле Коктебеля, в 1908—1909 годах, также в моем присутствии. Крещение футуризм получил с появлением первого «Садка судей», приблизительно в эти же годы, отцы его Давид Бурлюк, Василий Каменский, Виллимир Хлебников, значительно позднее — Владимир Маяковский, уже продукт «Садка судей». Если Хлебников «сбрасывал Пушкина с парохода современности», то это не выводило его на большую дорогу к разбойникам. Он оставался на твердом посту и со временем доказал многое в свою пользу. Но «футуризм» в том виде, который стал популярен и государственным, готов каждую минуту сбросить живого человека. Объясняю, футуристы стали уже презантистами. Они завершили историю. Их всего трое, и все они поэты. О живописцах-футуристах нужно говорить особо. Из них





Девочка с кошкой. Из цикла «Расея». 1917

никто еще не оправдал себя. Путь их был сбивчив. Разве что один Филонов, но ведь он только прислонился к «футуристам». О «новой критике» я думаю так: это сбившиеся с пути фармацевты, которым некуда прислониться. Они прислонились к пропаганде, как таковой. Иные из них говорили мне, что они не коммунисты, а сторонники диктатуры, какова бы она ни была... Вот на этом признании я и делаю мой вывод.

Впервые опубликовано: Голос России. Берлин. 1920, 25(12), 26(13), 27(14) июня 1920. № 138—140. Продолжено в журнале «Жизнь», № 5 и № 12 и «Русский эмигрант», № 3.

Стриндберг Август Юхан (1849—1912), шведский писатель. Григорьев не раз ссылался на его слова о продажной критике. Так в письме писателю Андрею Седых (1929) он отмечал: «...И никаких художников тоже нету — а есть лишь одни разговоры, да еще на такую дешевую тему: «по пять крон за столбец», как говаривал справедливо Стриндберг». Ранее, в 1922 году, Григорьев писал об этом Евгению Замятину.

Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927), прозаик и поэт, после Февральской революции входил в Союз деятелей искусств.

Каменский Василий Васильевич (1884—1961), авиатор, поэт и прозаик, участник футуристических выступлений, близкий друг Григорьева, посвятивший художнику и его жене ряд стихотворений.

Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930), поэт, художник, драматург, один из лидеров русских футуристов и Левого фронта искусств.

Клюев Николай Алексеевич (1887—1937), поэт, уроженец Олонецкой губернии, его двухтомник «Песнослов» (1919) открывался портретом поэта работы Григорьева .

...в «Вечерней Заре» — правильнее, в газете «Вечерняя звезда», выходившей в январе—мае 1918 г.

«Катенька» — до 1917 г. сторублевая банкнота с изображением Екатерины II.

«Иду красивый, двадцатилетний...» — из поэмы Маяковского «Облако в штанах» (1915); правильнее: «двадцатидвухлетний».

«Эта дама принесла какие-то ридикюльчики...» — Очевидно, Ксения Леонидовна Богуславская (1892—1972), жена художника И. А. Пуни, представившая на выставке «Мира искусства» (1916) по каталогу: «№3—10. Сумки», а в 1917 г. — «№ 31. Подушка; № 32—33. Сумки».

Пуни Иван Альбертович (1892—1956) — художник, вместе с женой К. Богуславской организовал в 1915 г. футуристические выставки «Трамвай В» и «0,10». Выступал со статьями в газете отдела Изобразительных искусств Наркомпроса «Искусство коммуны» («Творчество жизни», 1919, 5 янв.). Его рисунки печатались в журнале «Пламя», где сотрудничал Григорьев. В 1918 г. был профессором Свободных художественных мастерских (Свомас), бывшей Академии художеств. В 1919 г. с женой уехал преподавать в Витебск, затем эмигрировал через Финляндию в Берлин, с 1922 г. жил в Париже.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933), народный комиссар по просвещению. Б. Григорьев познакомился с ним через К. И. Чуковского весной 1918 г., сотрудничал в журнале «Пламя», редактором которого был Луначарский. Необходимость встречи с ним и поэтом И. И. Ионовым, руководителем Петроградского отделения Госиздата, художник подчеркивал в письме К. И. Чуковскому: «Драгоценнейший Корней Иванович. Жду Вашего звонка с нетерпением. Жажду совместной с Вами работы, всей той, о которой с Вами говорили. Позвоните мне и назначьте время, когда встретиться.

Луначарский, Ионов, Вы хотели меня с ними свести...»

На Первой государственной свободной выставке в Зимнем дворце Григорьев показал его графический портрет. Облик Луначарского проступает и в картине «Комиссар» (1921).

Альтман Натан Исаевич (1889—1970), художник, автор портрета А. Ахматовой (1914), в 1918 г. стал директором отделения пластических искусств ИЗО Наркомпроса,



директором Музея художественной культуры, преподавал в петроградских Свомас. В 1929—1935 гг. жил в Париже, затем вернулся в Ленинград.

Штеренберг Давид Петрович (1881—1948), художник, учился в Вене и Париже, после революции — комиссар по делам искусств, руководитель отдела изобразительных искусств Наркомпроса, затем преподавал во Вхутемасе, был председателем Общества станковистов (ОСТ).

Глоба Николай Васильевич (1859—1941), художник и педагог, в 1895—1917 гг. был директором Строгановского художественно-промышленного училища. В 1925 г. был направлен на Международную выставку декоративных искусств и остался в Париже. В 1926—1930 гг. возглавлял Русский художественно-промышленный институт.

...комиссар и члены училищной коллегии... — в 1918—1919 гг. в коллегию Первых гос. свободных художественных мастерских (ГСХМ) входили: от художников-мастеров Ф. Ф. Федоровский, Н. А. Удальцова; от студентов-подмастерьев — М. П. Солодовникова, М. М. Сапегин, от служащих — С. Д. Малафеев. См. «О новом» (4).

...я был удивлен — те же черты (подвижность, маленький рост, плохой русский язык) отметил Маяковский в стихотворении «Давиду Штеренбергу»: «Собранье! Митинг! Речью сотой, призвав на помощь крошки-руки, выхваливаете комкрасоты на невозможном волапюке».

...«господин» Г. — Григорьев; *Ф.* — вероятно, П. Н. Филонов. Речь шла о ставках по закупке произведений искусства у художников в 1918 г.: от 700 до 7000 рублей за живопись. При этом, в первом списке, предложенном К. Малевичем, Григорьева не было. Луначарский расширил перечень до 143 имен, включая и Григорьева. (Музей в музее. СПб.,1998. С. 352).

«освобождение предмета» — имеется в виду теория супрематизма К. С. Малевича и беспредметное искусство.

«...Еще пылает в небе жар...» — эти строки вошли позже в поэму Григорьева «Расея». О существовании книги «Пустячки» ничего не известно.

«Газета футуристов» — Григорьев имеет в виду не «Газету футуристов», единственный номер которой вышел в Москве (март 1918 г.), а еженедельник «Искусство коммуны», орган отдела изобразительных искусств Наркомпроса (декабрь 1918 — апрель 1919 г.). В номере от 16 февраля 1919 г. было опубликовано положение Отдела ИЗО Наркомпроса «О художественной культуре», Декларация о принципах музееведения и тезисы докладов О. М. Брика, Н. Н. Пунина, с которыми полемизирует Григорьев.

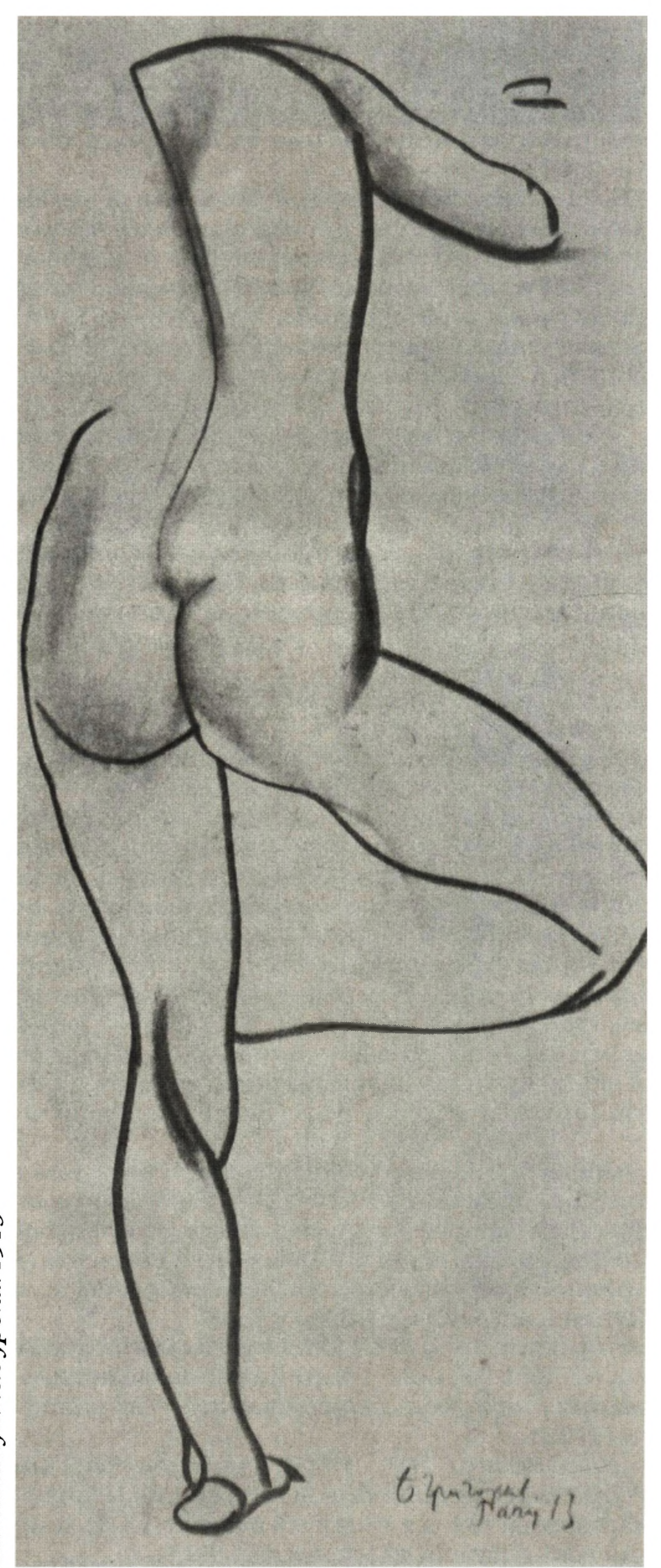
«Площади — наши палитры...» — строки из стихотворения Маяковского «Приказ по армии искусства» (Искусство коммуны. П., 1918. № 1. 7 декабря. С. 1). Вероятно, Григорьев связывал эти строки с появлением на площадях и зданиях города огромных агитационных панно и щитов, закрывавших в дни революционных праздников старую, «буржуазную», архитектуру. Так, фасад Зимнего дворца был завешан работами Штеренберга.

«Футуристы» родились у меня в комнатах...» — Григорьев познакомился с Каменским, Хлебниковым, Кульбиным в 1908—1909 гг., когда на выставке «Треугольник» и в альманахе «Садок судей» закладывались основы русского кубофутуризма. В Коктебеле Григорьев и Хлебников отдыхали в 1908 г.: «Там я шлялся по всему полуострову с Виллимиром Хлебниковым и на моих глазах были написаны на песке после купания его первые слова: «Турки – окурки...» («Крымское»).

Виллимир — Виктор Владимирович Хлебников взял литературное имя Велимир (так его называли на «Башне» Вяч. Иванова. Григорьев производил имя от немецкого Willy.

«Сбросить Пушкина с парохода современности» — из манифеста «Пощечина общественному вкусу» (1912).

Филонов Павел Николаевич (1883—1941), художник, член общества «Союз молодежи», участник футуристических сборников «Рыкающий Парнас» (1914), «Ряв» (1915). Ему принадлежат манифесты «Ввод в Мировый расцвет», «Сделанные картины», поэтические тексты «Пропевень о проросли мировой» (1915).



Пятиминутные уроки. 1913

О НОВОМ <4>

Меня просят часто рассказать что-нибудь о «Первой Свободной Государственной выставке картин в Петербурге (1919 г.)». Но я уже немножко коснулся этого «события», его зародыша. Было бы очень скучно писать о том, как общипали Зимний дворец. А о художниках писать я не умею. Начнешь изучать их, пожалуй, и сам чему-нибудь научишься. Слава Богу, пока я еще ровно ничего не смыслю в художественных качествах. Это и дает возможность мне самому работать с увлечением.

Впрочем, делается скучно даже от этого вступления. Мне хочется совершенно иначе подойти к П. С. Г. выставке. Я опишу пару моих больших экспонатов. Самое их происхождение. Думаю, что это будет интереснее, да и о выставке самой можно составить по ним некоторое впечатление. Если я еще прибавлю перечень отсутствовавших художников, то и совсем станет все ясно. Александр Яковлев и Гончарова, Судейкин и Анисфельд, Павел Кузнецов и Бакст, Илья Машков и Сарьян, Кончаловский и Билибин, Лансере и Сомов, Богаевский и Коненков, Фальк и вся Москва. Почему эта выставка, монополизовавшая все общества, все-таки была устроена по обществам, никак не пойму. Но почему она начиналась от «Мира искусств»? Вот курьез! Рядом с ним залы были отданы «тяготевшим» к нему. Но тут же разместились и члены «художественного правительства», эти здешние наши враги. Пожалуй, скажу пару слов об этих господах. Висит экспонат за номером. Он изображает доску от комода. На ней забит до половины гвоздь. А внизу — подпись. Вырезана ножиком. Эта подпись мне запомнилась. Позднее я увидел ее на Большом проспекте в витрине парикмахера. Размалеванный плакат так и бил по физиономиям ко всему привыкших граждан российских. На нем было сказано вполне законно: «Такой-то профессор «бывшей Академии Художеств» принимает учеников по таким-то часам». «Профессору» было года 22—23, кроме доски от комода он написал еще и слово «Бани», да еще одну бутылку. Но это уже была картина — красками и на холсте. Слава Богу, кажется, конец. Больше на Государственной выставке не было ничего выдающегося. Что думали коммунисты перед этими вещами? Я позволю себе рядом с ними поговорить и о моих работиш-



Портрет Ф. И. Шаляпина. 1918

ках. Я выставил девяносто шесть вещей. Но поговорим только о двух, вызванных временем. Хоть временем были вызваны и другие картины, о которых советские газеты писали так: «Но тут имеются и рабочие и крестьяне. Странно только, что все это какие-то страшные лица, словно нарочно подобранные...» К этим словам были прибавлены и комментарии, после которых также было опасно показываться на улицах. Эй, ты, Европа, ведь правду говорю. Так слушай же, старуха, если ухо твое еще не одряхлело.

Теперь к главным вещам. Портрет Шаляпина. Я написал его на огромном холсте. Более натуральной величины, как всегда. Он лежит на диване, у себя в столовой. Само собой, столовую я не писал. Думали, что портрет был написан специально ко времени. Но это не так. После выхода в свет моей книги «Расея», я получил приветствие и от Ф. И. Шаляпина. Он выразил желание узнать меня поближе. В одном богатом, близком искусству доме был дан вечер для того, чтобы познакомить нас. Угощение было великое. Казалось, все было на свете благополучно. Шаляпин пришел только к одиннадцати. Тогда еще это было можно. Когда он сел за стол — все словно встали на лапки. Хозяйке приходилось часто лазить за окно, чтобы доставать молоко. Шаляпин ничего не ел и не пил, как только чай с молоком. До чего он был избалован даже теперь! На нем — светлый модный костюм. Светлые волосы, светлый галстук, пенсне делали его немножко стареньким, но и очень свежим. В этот вечер он точно разыгрывал американского президента. Мне пришлось познакомиться также и с той стороной его характера, о которой люди сложили понятия далеко не дружелюбные, за что его не любят и жестоко судят. Случилось это вот как. К ночи сели играть в «преферанс». Кажется по три копейки. Мне очень хотелось быть вместе, и я тоже сел играть. Шаляпину не везло. Но видел ли кто-нибудь его неудачником даже на одну секунду? Нет, никто этого не скажет. Ф. И. даже тут, с нищенской картой, был великим артистом. Он оставался при замечательной своей игре без трех и даже без пяти. Висты, конечно, записывались на него ужасающие. Игроки были ядовитые человечки, кроме хозяина. Проиграв кучу денег, Шаляпин начал вторую пульку. С первых же колод он понял, что опять то же — карта не шла. Это было скучно. Тогда он вытащил пачки связанных «керенок» и бросил их на стол. А сам ушел. Бросил он, конечно, гораздо больше того, что мог проиграть. Но бросил только потому, что знал, с кем играет. За это его и судят, за то, что он знает людей. Он, Шаляпин, хотел не денег шиберов, а самой игры, ее артистичности, веселого хода. А что он делает, когда идет карта! Он и тут больше жизни. На этом же вечере Шаляпин заказал мне свой портрет. Когда, уходя, он сказал среди гостей: «Наш Григорьев», — я понял, что я русский и немедленно полюбил себя за то, за что всегда ненавидел. Но уже давно я снова в разладе с собою. Что с тобой, наш несравненный Федор? Каковы твои настроения там? Когда он ушел, было такое чувство, словно захлопнулись двери, трусливо спустились жалюзи на окнах, и преступная атмосфера шиберов ушла в воронку... Через нее влилась в какую-то комнату с коврами и подушками, где и издохла за карточным столом, прикрываясь зеленым сукном. Я не пошел с Шаляпиным, несмотря на то, что он шел пешком, и нам было по пути. По ночам на улицах было слишком жутко. А Шаляпин такой человек,



Портрет В. В. Лужского. 1923

с которым нельзя шептаться. Ему в ножки поклонятся, а вас убьют. Да он и сам мне рассказывал «штуки» на улицах. За ним наблюдали...

Через два дня он пришел ко мне на Широкую с «Марьей», своею женою. Ее иначе не назовешь. Да и что такое добавление — Валентиновна, когда вечностью пышет от милого русского имени в устах Федора Ивановича. Он просидел у меня около трех часов, перебирая у меня рисунки. Была осень — мрак. Надо было начинать портрет. Настроение явилось сразу. У Шаляпина было тепло. Он лег в столовой на тахту. Я увидел в нем такое, чего не увидишь еще один раз. Львица, Цезарь, актер, крючник... Он лежал в пунцовом халате. Грудь ему я раскрыл. Ноги — разул. Горы в плечах, в бедрах. Бугры в лице, на шее, в ногах. И во всем — сила и движение. Ни единая часть не лежит пластом, не молчит. Все живет и прет. Глаза из-под светлых бровок глядят хитро, мудро, сильно. Но они и требуют. Они властно приказывают, иначе будет смешно, обидно и жалко. Будет жалко! «Пусть неудачник плачет»,— слышу его творящий звук. И волны приливают к сердцу. Спасибо, друг Федор, за приветливое лицо. Лежи да жди. Тут будет дело. Дважды в жизни я так наскакивал на холст. Еще было при Мейерхольде, который, милый, стоял по моему заказу, скрючившись, во фраке — творящий и охающий от трудностей позы. А внизу гремела опера. Головин только ходил и делал вид доброго хозяина, у которого собрались хорошие люди. Милый Александр Яковлевич, беленький и весь — сказка. Где ты теперь?

Мой холст загородил всю столовую Шаляпина. О, как были чудесны эти часы! Прибегали две девочки, его дочурки. Они лазали по отцу, как по Арарату, укладываясь в складках халата, точно бабочки. А он ездил по их хрупким тельцам большой лапой, сжимал их, точно львица цветы, и произносил, весь уходя в свое великое сердце: «О, Господи!» Это были слова все

превосходящей нежности. От любой женщины оставались только одни гадко шуршащие шелка...

И ни одной минуты не был он в том положении, в каком был бы всякий другой человек, лежа на диване. Как вы думаете, знатоки мои, что написал я в эти дни на чистом льняном холсте, вполне хорошими красками, утаенными мною на всякий случай?.. Я написал Шаляпина. И даже фотографию забыл в Совдепии, пустившись спасать душу. Пошлите за ней, она пригодится вам в Европе. Тем более, что тут перелистывают мои книжечки с особым любопытством. Эх вы, политики, черт меня побери, если я просижу с вами хотя бы полночи! Угодно ли вам знать, в какую минуту записываю я эти строчки? Извольте. Сейчас теплая ночка в самом сердце водяных струй Spreewald'a, где много комаров, но и голубых стрекоз. Какая-то музычка доносится из деревенского зала. Пляшут, пляшут. Кто-то чокается со мной бокалами. Не все ли равно — кто! Я думаю о Шаляпине, как я его писал. Эта картина и висела в Зимнем дворце. Она-то и обозлила тех, на кого я наскочил с карандашом в руке, крича: искусство не хлеб, его нельзя раздать по карточкам «широким массам»!

Знаете, что говорили в Совдепии о моем Шаляпине? — «Это комод, написанный в стиле Николая II», фраза, сконцентрированная мною из газетной критики. Ловко! А отсюда пошли мненьишки. Будто бы — несовременно. Лежит, мол, барин, царь, буржуй! А я оказался не художником, а снова — контрреволюционером. Какая-то жена «фармацевта» в Москве ядовито за-



П. Бакшеев в драме А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». 1923



Портрет С. В. Рахманинова. 1930

метила мне, что мой Шаляпин «в общем очень верно взят». О чем она думала в эту минуту? Лицо ее было откровенно, как у утки. Она добавила, что очень хотелось бы ей показать мне свои «произведения». Она убеждена, что «теперь» именно так надо работать... Муж ее был столь виден и важен в Совдепии, что я считал предрассудком подавать ему руку...* Оба эти супруга были известны мне около десяти лет. Никогда они не помышляли об искусстве далее цветных тряпок в восточном вкусе. Теперь же супруг был комиссаром над искусством. Высшему правительству, конечно, было известно и о портрете, и о том что «Шаляпин раком ни для кого не встанет», и что меня не купишь и добрым словом. Вот почему мне даже не предложили поместить эту работу в музей, куда было накуплено множество других картин с этой выставки. Истрачены миллионы. Но какое мне дело до советских миллионов! В одной из моих следующих глав «О новом» я как раз вспоминаю об одном мне предложении миллионном... В последнюю минуту, все же, «Отдел» нашел нужным приклеить ярлыки к двум моим наиболее ценным для меня картинам: «Приобретено «Отд<елом> Из<образительных> иск<усств>», причем ставки самые пошлые, применяющиеся ко всякому парикмахеру, были предложены этому захвату, — пусть те, кто был этим удивлен, знают, каково было тяжелое мое положение, не в материальном отношении, о, еще этого не было, но как раз в моральном, когда каждый лишний мой жест мог окончательно меня погубить. И я стал семилетним, как многие другие. Лишь изредка, должно быть, как утешение, Луначарский присылал курьера с личным письмом и просьбой сделать какую-нибудь обложку для «Пламени», где он писал и был редактором. Однако у «Народа» мой Шаляпин имел несомненный успех. Это людишки побоялись признать. А потому упустили случай. Портрет Шаляпина попал-таки в руки спекулянтов. В конце концов, он был куплен англичанином. Конечно, его увезли или увезут. Как это случилось? Ведь портрет заказал сам Шаляпин. Но перед моим отъездом у Ф. И. было всего пять тысяч денег — он мне сам об этом рассказал. Портрет же пошел за 60000, из которых я лично имел только 25000. Цена наросла в продолжение двух дней. Надо сказать, что оригинал все еще стоял у меня в мастерской. Этот «комод в стиле Николая II». Дорогой друг Федор, ужасно мне хочется знать: «какой «немецкий» автомобиль» возит Вас в театр? Разрешено ли Вам дать концерт? Какую сумму платите Вы за квартиру в собственном доме?

Но вот и еще случай в связи с написанием портрета. Однажды, во время нашей работы, раздался звонок. Слышим говор, грубый и настойчивый. Горничная боязливо докладывает:

— Приехали с «Гороховой» двое. При них, мол, пакет. Лично хотят передать.

— Ничего, если сюда? — спрашивает меня Ф. И.

Вошел товарищ. Он был затянут в кожаное все. В руках корзинка как от Елисеева.

— Винца вам, Федор Иванович, прислали. Которое взяли у вас — не нашлось. Тут — другое, — сказал коммунист голосом городового.

---

* Рукопожатия в Совдепии отменяются *(примеч. Б. Григорьева)*



Мужик в картузе. Из цикла «Расея». 1917



В. И. Качалов гримируется на роль царя Федора. 1923

Ф. И. поблагодарил и за руку распростился. Он стал распаковывать корзинку сам, рассказывая, как были у него ночью с обыском и взяли вино.

— Да тут и такое и этакое, да и получше моего, — говорит Шаляпин.

Сейчас же приказал подать стаканы. Работать больше не пришлось. Так и простояли мы подле бутылок часа два, до самого обеда. Ф. И. почти голый, босой, а я с палитрой в левой руке. Почему-то мы стали беседовать с ним об итальянском театре восемнадцатого века. И незаметно подошли и к нашему Мейерхольду, которого я защищал, а Шаляпин поругивал. Однако мне удалось уже ранее уговорить его привлечь к нашей совместной с ним работе над «Паяцами» Мейерхольда. Как раз накануне Мейерхольд ночевал у меня, развивая со мною новую постановку «Паяцев» на Мариинской сцене. Должно быть, я же и вызвал Шаляпина на эти темы. Вот при каких условиях был написан «комод в стиле Николая II». Каждый раз после работы Шаляпин вместе со мной тащил этот будущий «комод» к себе в спальню, где он и простоял до окончания работы. И каждый раз я думал о том, что без Шаляпина прожить нельзя. Невозможно! Эй, Европа, гляди, как бы этот великий артист не заплакал от голода и холода. Я знаю, что Ф. И. страдает уже от этого. Мир тебе, непослушный чудак! И голубые стрекозы вместе со мною думают о тебе, только о тебе одном в Совдепии. Но грустно мне с этими стрекозами. О, как я чувствую сейчас твои бугры на мощной шее!

«Пусть к черту уходят все, а я не хочу никуда!»

И гордость твоя понятна мне, но не по плечу...

Оно у меня слабенькое — европейское. Но я сумею тебя отстоять им тут, среди жалких дипломатов.

Вторая картина моя была написана вот по какому вдохновению. Стою я однажды летом на краю провинциального города. Вечереет. Кто-то идет от города. Вижу — с ружьем. Наплевать, думаю, не страшно, есть всякие бумажки. Подходит. Тупо глядит. Наконец, мысли его собираются и с огромным трудом выбрасывают вопрос:

— Чаго тута стоишь?

— Картину пишу — не мешай.

— А може планты списываешь?

— Говорю, картину пишу. Рожь. А вон и город.

— А пачпорт еся?

— Есть, говорю, ты посиди, пока кончу, а потом и поговорим.

Молчит человек с ружьем. Физиономия непривлекательная. Смотрит исподлобья. Мешает, как ж... муха.

И снова:

— Слышь, показывай, говорю, виды...

Я роюсь в карманах. Но бумаги дома остались. Жене как раз понадобились карточки продуктовые... Говорю ему об этом.

— Пойдем, — говорит физиономия.

Хорошо. Но он мне ответит за то, что помешал работать. Он хочет свернуть в лес. Там, мол, в казармах, все выясним. Только теперь я понял весь смысл данного мне совета одним комиссаром в Петербурге:

— Бумажки — это одно, но на месте нужны местные.

Хорошо, что я успел познакомиться с местными властями. Я и говорю, что мы пойдем не в казармы, а к самому такому-то.

— Это к Н-ову-то? — ехидно вопрошает физиономия. — Коли к нему, то и того лучше...

О чем думал в эту минуту разбойник с ружьем?

Я-то знаю о чем, да не скажу. Поезжайте туда сами. А Н-ов, комиссар города, недавно прибыл на родину вместе с матерью из каторги за совместное убийство отца и мужа. Об этом, конечно, знали все в городке. Надеюсь, что не хватит смелости у Вас, милостивый государь, сомневаться в откровенном выражении только что упомянутой физиономии. Подходим. Двое других с ружьями быстро приближались на встречу.

— Это ты кого же привел? — спрашивают у моего конвойного, осмелевшего не на шутку.

— Да на краю поймал — планты списывал. Шпион.

— Да ён, дурень, всю губернию списал. Известный. И бумаги в порядке. Сам Н-ов к нему в гости ходит...

Действительно. Н-ов пришел ко мне после того, как я «являлся» и не застал его. Ему, конечно, передали, что был, мол, кто-то из Петрограда с важнейшими бумагами, т. е. подписями.

Ах, провинция — она все та же! Какие только разбойники не перебывали у меня в Совдепии. А я, как видите, не возгордился. И живу себе в сторонке.

— Ну что тебе теперь будет? — говорю я красноармейцу, моему конвойному.

В темноте вижу, человек винится. Протягивает руку. Голос мужицкий, забитый:

— Извините, товарищ, коли чем обидел...

Сердце мое смягчается. Узнаю мужика русского, его улыбку «на краю» вспоминаю, когда заговорил о Н-ве. Вижу, малый все тот же и не повинен в беде русской, в невежестве мужицком. Говорю только:

— «Рукопожатия отменяются». Али забыл, чертов сын!

Эта физиономия мне запомнилась сильно. Ее-то я изобразил в «Автопортрете». Это была моя вторая картина. Огромный холст. Стою во весь рост. Больше натуральной величины. На краю города. Связан по рукам канатом. В глазах жажда творческая и гнев. В руках палитра и кисть. Вечереет. За плечом у меня — физиономия. На ней как раз те же вопросы и та же глупость, плавающая в наглости. Находили физиономию очень схожей с одним комиссаром. Было неудобно оставить. Убрал. Какая уж тут «политика»! Просто было сильно. Сильно до жути! В Зимнем дворце эта вещь особенно была заметна. «Фармацевты», таская за собой по загаженному паркету серую толпу, быстро мелькали мимо этого портрета, не произнося ни слова. И однажды, присутствуя тут же, укрывшись статуей, я подслушал разговор комиссаров:

— А ведь он революционер, и настоящий...

Когда комиссары ушли, — один из них был человек порядочный и очень даровитый, — я отправился в комнату Императрицы Марии Федоровны. Тут очень интимно висели мои коллеги. Я долго всматривался в очень серьезную работу Петрова-Водкина — автопортретная голова. Точно я тогда





Две женские фигуры. 1917

еще предчувствовал предстоящие ей страдания... Чудак, Кузьма, выходит, что-таки даром женат на француженке. Тут же, откуда-то взялись четыре сердобольских пейзажа Рериха. Они таинственно присутствовали здесь, словно временно посетили дворец. А один из них, — «Остров», весь из скал, лодка подле него, а на ней святые, — был так хорош, так живописен и так мастерски продуман, что радость пронизывала сердце. Хотелось расплакаться, встать на колени перед Совдепией и вымолить у нее отпуск — в эти края... Уж не в эти ли минуты я понял серьезно слова А. Н. Бенуа, сказавшего мне однажды с какой-то детской грустью:

— Если так будет долго продолжаться, то придется нам идти к Луначарскому и просить на коленях: Батюшка ты наш Анатолий Васильевич, помоги, — погибаем...

Я, правда, попросил его... но на колени не становился.

Аминь.

Печатается по: «Жизнь. Вестник мира и труда». Берлин, 1920. № 12. Октябрь.

Первая свободная гос. выставка — открытие состоялось во Дворце искусств (б. Зимнем) 2 апреля 1919 г. и сопровождалось концертом-митингом. Было представлено по каталогу 1826 произведений 2999 художников и скульпторов. О «новом реализме» на выставке всех течений говорилось в статье Л. Пумпянского «Искусство и современность»: «Таков Борис Григорьев, острый, наблюдательный, субъективный реалист, преломляющий, подобно Шагалу, видение внешнего мира сквозь призму своего яркого живописного темперамента...» («Пламя». 1919. № 52. Обложка Б. Григорьева).

...он написал еще и слово «Бани» — речь идет о картинах Ивана Пуни «Бани» (1915), «Натюрморт с бутылкой» (1918), показанных на Первой гос. свободной выставке.

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938), оперный певец, с 1922 года в эмиграции. В статье «О Борисе Григорьеве и его рисунках» Н. Радлов писал, что Григорьев и Шаляпин – «оба огромного роста, белые, чисто русские лица; их волосы, даже носы со вздернутыми ноздрями...»

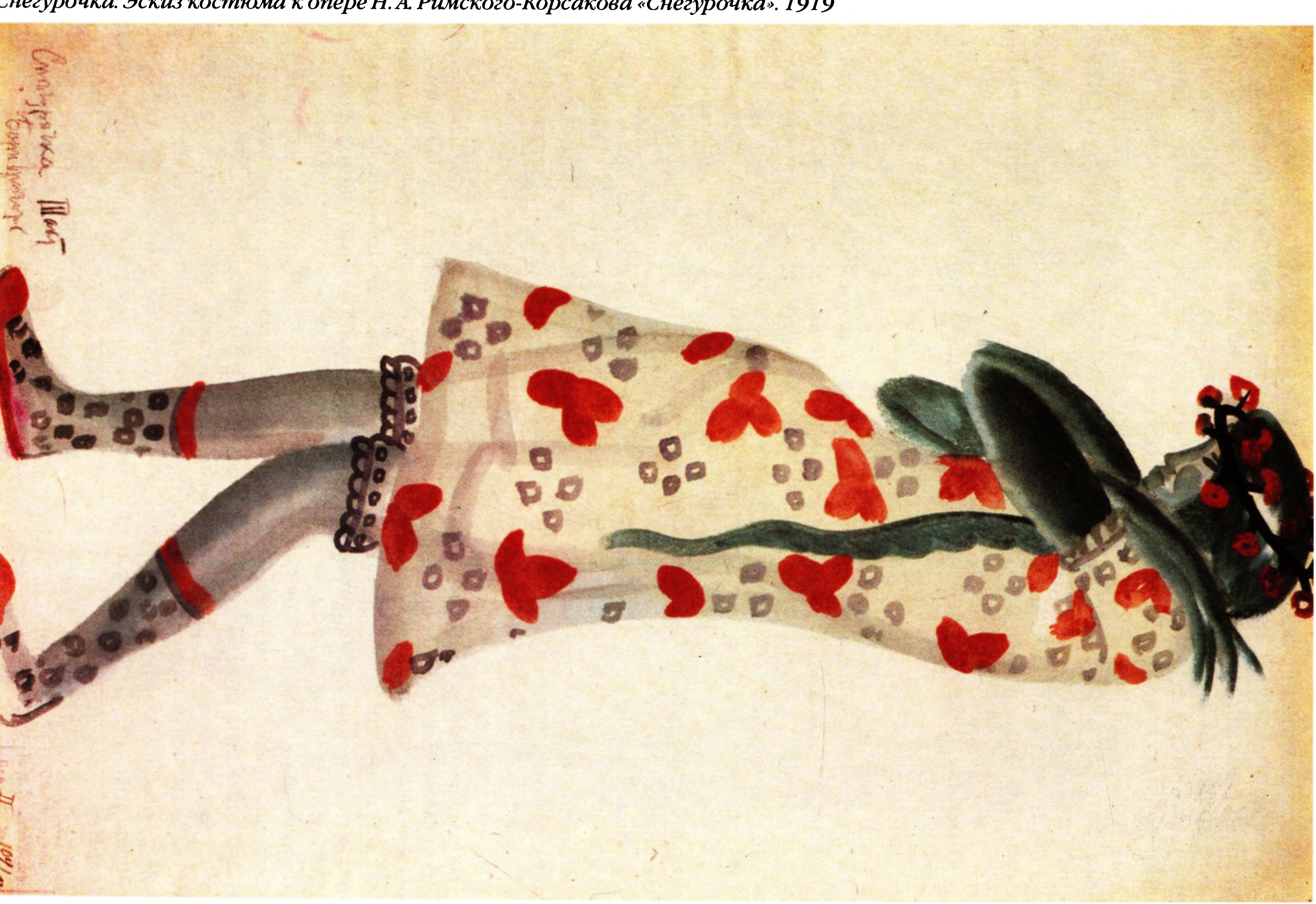
Винца Вам, Федор Иванович, прислали... — Шаляпин вспоминал, что после обыска у него пропала коллекция вин и оружия, на что он пожаловался Зиновьеву: «Через два дня после моего визита в Смольный мне, к моему великому удивлению, солдаты и уже не вооруженные, принесли 13 бутылок вина, очень хорошего качества, и револьвер. Не принесли только карты. Пригодились унтерам в казарме» (Ф. И. Шаляпин. Маска и душа. М. 1989).

Головин Александр Яковлевич (1863—1930) — живописец и театральный художник, его мастерская в 1910-е гг. находилась в Мариинском театре, на сцене которого шли спектакли в его оформлении и режиссуре Мейерхольда («Дон Жуан», «Маскарад»).

Вторая картина... — «Автопортрет с палитрой» включен в немецкое издание «Расеи»(1922); далее Григорьев рассказывает эпизод, вошедший в поэму «Расея».

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878—1939) — художник, литератор, речь идет об «Автопортрете» (1918). Был кратковременно арестован летом 1918 г. по т. н. эсеровскому делу.

Снегурочка. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 1919



О НОВОМ <5>
Последние дни в Москве

Они были тревожны. В Москве мне отклонили отсрочку по призыву в Красную армию. Моя профессорская привилегия оказалась сорванной. Немедленно я отправился в «кулуары Леди», сообщив великолепнейшему В. В. Лужскому, с которым мы делали «Снегурочку» — оперу, что если так будет продолжаться травля, мне не окончить работу по контракту. Но «Леди» меня успокоила «бумажонкой», которая одержала новую победу. Я вырвал для себя еще один месяц. «Снегурочка». В чесучовом пиджачке Лужский изображал скачущих с «Красной горки» пичужек, Берендея и его придворных дам, лешего-оборотня, скомороха или самого Леля. Изображал бесподобно. Как часто проводили мы с ним это время новых исканий, часами, днями погружаясь в образы доисторических времен, прислушиваясь к таинственным ритмам Римского-Корсакова. Но каждый раз, когда мы выходили из святых мест на улицу, нам казалось, что искусство умерло. А нас сейчас схватят... Что и случилось с лучшими режиссерами Художественного театра — их бросили в тюрьму в момент окончания мною театральных эскизов. Друзья посоветовали мне спешить в Петербург, так как вся злоба большевиков обрушилась на московские останки Художественного театра. Сказывали, что все из-за харьковского инцидента с Деникиным, у которого очутился Качалов с группой. Я покидаю мой особнячок на Ордынке, который занимал целиком. Маленькие садики, домишки, поросшие высокой травой улички Замоскворечья; среди них прячется «Третьяковка». Она точно наседка прикрыла русское искусство. Отправляюсь в Кремль. У Никольских ворот часовые. Я подаю запечатанный конверт со штемпелем «Отдела государственных театров». Срочный пакет, лично. Документы оставляю у часового. Это единственный способ проникнуть в Кремль. Научила меня этому «Леди». На дворе меня поразила встреча царских кавалеристов. Они мне совершенно искренне ответили, что им не сменили еще форму. Недоуменный пошел во дворец. Был поражен количеству разнообразного люда. Они толпились в коридорах, лежали на полу, ругались. С



Грач. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 1919

пакетом я направился к дверям, но меня остановили. С руганью отбросили назад. Выходит какая-то барышня, таращит на меня глаза, признает, удивляется тому, что я в «куче», и ведет меня за руку в тайники дворца.

Мы приходим к самому К. Он-то и выдает «бумажонку» в Петроград. Человек простой и грубый, разрывает конверт, улыбается и распоряжается о спальном вагоне для меня. Он не сказал со мною ни единого слова за час ожидания. Изредка по его лицу, специально для меня, блуждала спесь человека низов. Это было, право, комично. Старенький дворец, как много было в нем искусства. Всюду, всюду.

При мысли о поездке за границу, я совершенно уверен был, что еду на Марс. И что это невозможно. Как трудно попасть в Петербург, к своей семье! К. вручил мне «бумажонку» и сообщил, что теперь мне надо на «Лубянку». Без штемпеля «чрезвычайки» меня не пустят на вокзал. Но ведь на «Лубянке» стоят в очереди по две недели? Не может ли товарищ К. позвонить туда по телефону или дать «запечатанный пакет»? Нет, он этого не мог. Опять узнаю на его лице спесь человека низов и ухожу. Мысли мои привели меня снова к «Леди». От нее я получил второй «пакет».

Печати были так свежи и так жирны. Я смело отправился на «Лубянку». Место это я всегда обходил, теперь шел в самое пекло, к самому К-ву.

Меня тянуло к часовым. Я прошел толпы народа. Я видел «двухнедельные очереди». Я видел мертвецкие лица приведенных. Я слышал рыдания взрослых людей, стариков. Я видел последнюю игру глаз потерявшихся дам. Важность и уверенность моего шага перевели эти глазки на мою персону. Мне казалось, что я наслаждаюсь их мукою. Мне даже хотелось ругнуть этих дам, попугать... Шедший позади красноармеец хочет взять мой пакет. Но это невозможно — даю ему понять, приказано лично.

— Да чего лично, товарищ К-ов, туты и сидит.

Я заметил человека за столом, у парапета, точно в банке он сидел и принимал бляхи, а также и выдавал их красноармейцам с ружьями. Он бросал равнодушные взгляды на приведенных интеллигентов и делал распоряжения с важностью зажиточного портье.

— Из Питера прибыли, — слышу доклад стража с ружьем. Он был сильно всклокочен, лицо его было обуяно диким восторгом, пот струился с него. Трое моих земляков, бледные и немые, в измятых костюмах стояли тут же.

Подаю и я мой пакет. К-ов уходит с ним в маленькую дверь, как-то заново наложенную в необшитой обоями стене. Он не сказал мне ни слова, не спросил хотя бы взглядом. Его глаза, остановившись на мне, прошли через меня и пригвоздили к месту. Я почувствовал себя погибшим. Ждал очень долго. Все видел, все слышал, но не помню, не помню... К-ов давно, очень давно воротился, но меня не замечал. Его лицо маленькое в больших черных очках, бритое как у нерусского священника и ядовитое как у прокурора, притягивало меня. В эти минуты моя душа слагала для него стихи. Я видел К-ва в постели, в кружевной рубашке... Вот он зовет меня к себе. Руки его пухлы и белы, просят его не бояться... Случайно глаза наши встречаются, он ловит меня на влюбленном выражении. О, он не глуп, он вовсе не глуп, он только не виноват в том, что ему — К-ву, поручено вскрывать

человеков в живом виде... Только в живых он может отыскать то, что надо. Разве за границей лучше? Я не должен так спешить, иначе ему станет все ясно... И тогда придется вскрыть и меня. Ведь я и сам не уверен, быть может, как во мне-то и найдется то самое, что приходится так утомительно долго искать...

Все это я читаю в случайном взгляде К-ва. Быть может, читать помогают мне чьи-то рыдания, мелькающие тени бледных лиц, занесенные с улиц духи.

К-ов не уходил более в маленькую дверь. Он работал тут у парапета, как в банке. Но вот он вынимает из кармана книжечку и пишет там мою фамилию, еще что-то сбоку и подписывается. Пальцы его напоминают мне ноги конькобежца-фигуранта. Вот ноги раздвинулись, скользнули по льду, блеснул конек... Точки. Слышу:

— Это получают те, кого я лично знаю. Это все.

— Но я опоздал в «Метрополь». Билеты там только до часу, теперь все продано, — говорю я голосом родственника.

— Обязаны будут прицепить вагон.

Мой страж, оказывается, стоял тут же. Теперь он раскланивается и уходит. Впрочем, он может меня проводить. Бляхи он не получит от К-ва.

Москва в эти летние дни 919 года, словно распродавала остатки всего. И на Болотной, и на Сухаревке, и в Охотном ряду появилось множество товара. Народ толпился там. И удивлялся не ценам, а обилию. Сыры, окорока и кучи, кучи! Как на ярмарке. Тяжело ходить по Москве с ношею. Пришел на вокзал. Сколько тут сидело, лежало и, должно быть, умирало в ожидании поезда. У настоящих азиатов при самой крайней нищете сохраняется стиль. Вы чувствуете как бы душу азиатов. Но тут — пусто, как пятна на исхоженной половице. На перроне — не без благородства проходят редко и «редкие» люди. Усаживаются на почищенные диваны вагонов, совсем как в старину. Еще просторнее. Сидят молча. Никто не знает друг друга и знать не хочет, хотя все они едят и пьют из одного помытого горшка новой советской выделки. Это были «делегатские» — международные вагоны, где и мне немедленно отвели целый диван. Не в первый раз я еду в этих вагонах, но я никогда не пользовался этою роскошью по времени. Я постоянно отстаивал путь от столицы до столицы на площадке, боясь «центровошки». О ней же распевают куплеты даже в «Аквариуме». На этот раз мне хотелось другого. На улицах тянуло меня к красноармейцам, прикурить, тут же потянуло в третий класс. Когда поезд пошел, и я пошел в соседние вагоны. Там было очень набито. У всех были только делегатские билеты. Тем более интересно то, что я услышал там. Прежде всего — разговор-ропот, ропот народа русского. Привычный ему ропот. Но теперь он был иным, совсем иным. Поражен был сдвигу мысли, разговариванию «между слов», как в старину пописывали «между строк». Ночь длинна. Никому не спится. Охота поделиться мыслями. Вагон тебе не митинг, поди нету «шпиков». Свыклись, ужились. Стали откровенничать. Еды всегда больше у народа расейского в путях. Стали разрезать караваи. Мужичок до того распалился, рассказывая





Н. Г. Александров в роли Актера в драме М. Горького «На дне». 1923

все о том же — о насилии, о реквизициях, что увлек вагон. Он рисовал жизнь деревни яркими примерами. Как вдруг кто-то спокойно, с полки добрым голосом:

— Товарищи, какие понятия в советской власти приведут в деревни несознательные люди. Зачем так говорите...

— А ты кто такой?..

Совершенно спокойно человек с полки продолжал повторять свои слова. К нему подошли, разглядывали, обмеривали. Он весь был затянут в кожаное все.

— Ишь обрядился, штаны пятнадцать тысяч. Картуз да куртка, да сапоги новенькие... Фараон проклятый! — За них и служишь!..

Коммунист не обидился. К голосу его прибавилось только любви и кротости. И так странно было видеть его грубое лицо и слушать мужицкую речь. Хоть говорил он складно, но, видно, слова заученные. Он привел примеры христиански-социалистического толка. Народу собралось к нему много. Среди слушателей нашелся один, кто был согласен. Этот говорил резко и ругался. Из толпы кто-то пустил ему шпильку:

— У него и рожа советская.

Двое мужиков стали доказывать. На кой им хрен и сети, когда по два рубли за рыбину платят. Для себя и рукой выловим, тогда поди да озеро и реквизируй. Рыба-те не дура, сама в руки-те советские не полезет.

На все отвечал коммунист спокойно. Хладнокровие «фараона» возбудило в народе зверя. Стали ругаться и ссориться. К ночи коммунист сказал, что на станции он должен будет «донести». Тут оратор выпал из воли. Насилие вызвало в народе зверя.

Его едва не выбросили из окна. Тут я вмешался. В эту ночь я смог бы остановить и коня! Так я был силен радостью. Слова мои были из другого мира. Но действие их развлекло. Немножко смеха и русский человек растрачивает гнев. Но беда в том, что в совдепии никто больше не смеется. Безрадостные толпы питают зло.

Почти до утра коммунист рассказывал мне о своей жизни и как он стал...

Печатается по: «Русский эмигрант». Берлин, 1920, №3.

«Леди» — Каменева Ольга Давыдовна (1883—1941) — заведовала Театральным отделом Наркомпроса, сестра Л. Д. Троцкого, жена Л. Б. Каменева.

Лужский Василий Васильевич (1869—1931) — актер и режиссер Московского Художественного театра, среди его лучших работ — роль Ивана Шуйского («Царь Федор Иоаннович»), Бубнова («На дне»).



ИСКУССТВО И ХУДОЖНИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
(Из воспоминаний)

I

Семь человек, изображающих Отдел Изобразительных искусств, — это власть. Она печатает газету, выдает материалы, производит какие-то регистрации, покупает картины* и назначает профессоров. Бывали случаи, когда у «профессора» была только одна ученица, да и та его жена! Однажды я пришел в Отдел, чтобы получить билет в Москву. И был изумлен. У дверей скромно и незаметно стоял К. А. Сомов. Он улыбнулся. Сомов не имеет права выдавать себя за художника, не зарегистрировавшись тут же. Но он попросил меня очень: «Ради Бога, пусть думают, что какой-то там другой Сомов, здесь авторитетов не терпят».

Но мне не пришлось уйти отсюда без истории. Я оказался единственным членом «Мира искусства», а тут какое-то «важное» заседание. Представители всех «обществ». Меня оставили. Сев за стол, я немедленно вскочил и застучал толстым карандашом. Оказывается, перед моим носом лежали напечатанные вопросы. Наглость их меня поразила. Государственная выставка! Монополизация выставок и художественных обществ! Упразднение авторитетов, обществ, вкусов и т. д. Но что хуже всего — запрещение устраивать какую-либо выставку и непременное участие на «Государственной», лозунг которой: «искусство для широких масс». И все остальные лозунги тут же кстати. Карандаш мой стучит. Я забываю все на свете. Помню только одно. Передо мной власть футуристская и собравшиеся представители самых невежественных обществ. Эти господа давно привыкли «обслуживать» широкие массы (толпу — прежде это называли). И «Новое время» их расхвалило. Известный всем выразитель безвкусицы и безграмотности, Брешко-Брешковский, был их опорой, писал гаденькие статейки, способствовал мелкой торговле.

---

* Музеи не могут приобретать без ведома Отдела Изобразительных искусств *(примеч. Б. Григорьев)*



И. Е. Репин и А. М. Комашка за работой. 1915

Теперь они все собрались и радовались моему гневу.

Я должен был быть очень откровенен, как впрочем, всегда; я указал на эту «сволочь от искусства» и прибавил, что искусство — не хлеб, его нельзя раздать по карточкам; искусство — личное счастье! Я наговорил много и ушел.

Тихо было в зале, как у вора в душе. Но напечатали целый пасквиль, указывали большевистским пальцем, называли контрреволюционером, а наш «Мир искусства» — гнездом контрреволюции. Впрочем я не хочу защищать более это общество в том виде, каким я его оставил. Ибо, когда я на очередном заседании повторил мою фразу, сказанную в отделе, что если б даже мне одному пришлось открыть выставку «Мира искусства», то я выкинул бы это знамя художников, меня даже осудили немножко, и уже никто, конечно, не поддержал. Всем точно стало по семи лет. Подрастут, если только не сойдут на нет.

II

Время шло. Стали призывать всех в Красную армию. «Отдел» торопился назначать профессоров, а кому не удавалась эта сделка, поступали учениками. Ведь никаких экзаменов нет, а профессорам это в руку. Нашлись, мол, и ученики. Кто-то выставил и мою кандидатуру в академические профессора. Меня утвердили, но я отказался. Это кого-то разобидело. Кстати, из Отдела я получаю бумагу. Немедленно явиться. Прихожу. Тот самый юноша из «Аполлона», который написал обо мне для посвященного мне номера статью в 1915 г., сидел в кресле комиссара и читал мне нотацию за мой выход против государственной выставки. Он тут же попросил у меня обратно все бланки, зарегистрировавшие меня в Отделе как художника, а также охранное свидетельство и вообще все признаки, которыми советское правительство отделяет нас от какого-нибудь хулигана. Поездку в Москву мне не разрешили. Я отправился по всем правилам в Петропавловскую крепость и регистрировался там по призыву в Красную армию.

Но тут вскоре случилось приятное, после чего я более года еще мог оставаться на родине. Приехала из Москвы делегация от учеников Высшего художественного училища. Она хотела лично убедиться в том, что я отклонил московскую кафедру. Оказалось, что мне даже не было сообщено об этом. Я ничего не знал, но числился профессором уже несколько месяцев. Теперь я оказался победителем. Я отправился в Москву. Ах, это время очень забавно! Вы представляете себе гражданина, прибывающего в другой город? Нет ни кафе, ни гостиницы, ни ресторана, ни одного магазина. С чемоданом я прихожу пешком в центр города, прямо в училище. Но слишком рано. Жду. Появляется какой-то горбун, он — бывший сторож, теперь член училищной коллегии, он кое-что соображает, молча ведет меня на Мясницкую. Приводит в знакомую мне квартиру И. К., где до сих пор висят кое-какие мои картины, но коллекция расхищена. Позднее я нашел в квартирке горбуна изумительную картину Павла Кузнецова из коллекции И. К. Тут же стоял и рояль, мне знакомый. В спальной И. К. я не был, но полагаю, что и кровати оттуда. Теперь эту квартиру занимал комиссар М., ненавидя-

щий Луначарского гневом более контрреволюционным нежели сам Керенский, за то, что тот стал его заместителем. Комиссара не оказалось дома, но его жена, очень «модно» одетая, вышла ко мне.

— Вы коммунист? — спрашивает она уверенно.

— Я художник, — отвечаю спокойно.

Она смущена, она ничего не может сказать, просит до вечера занять комнату. Тепло и пахнет жареным гусем. На другой вечер был устроен пир в училище. Красный миткаль — другого не было — размалевали в цветистые краски, сделали абажуры. Девицы притащили напеченные дома всякие крендельки и штуки. Пили чай в мастерской, и староста долго пробывший на фронте, талантливый ученик мой за ширмой налил мне «чарочку» спирта. В нем был вкус автомобиля. Право, я был смущен. Народ был взрослый совершенно.

— Как же это вы, друзья мои, продержались без меня столько месяцев? — спросил. — Разве теперь можно в чем-либо противиться?

— Не хотим мы, — отвечают мне ученики, — трубы гнуть, как у Татлина.

Приходили мы туда посмотреть. «Что вы делаете, товарищи?» — спрашиваем, а они нам нехотя: «Да вот трубы гнем, нам еще жести привезут, у нас жести много будет». — «А к чему вы это жесть-то корежете?» — спрашиваем, а они нам и сказывают: «А этого вам, товарищи, не понять пока...» У Лентулова вон посуду пишут, а она у них визжит не хуже, как битая»...

— А что, друзья мои, не контрреволюционную ли речь держите? Неудобно, — говорю я.

— Да чего, — отвечает охмелевший староста, — бояться-то! С нами сам Б.! Он тут и сидит, он тоже работать будет у нас.

Меня познакомили с Б., комиссаром училища, из татар — парень огромный и темно-коричневый. Сильно пьет. Он приветливо скалит зубы и говорит:

— С вами, товарищ, мы вместе стряпали в «Привале комедиантов». Вы, товарищ, расписывали, а я лепил... Небось, забыли?

III

Начались занятия. С утра уже работали ученики в коридоре. Они заколачивали досками и щитами коридор на повороте, отгораживая мои мастерские. Приколотили огромный плакат с моим именем и приписали, что вход строго воспрещается посторонним. Конечно, чтобы было тепло в мастерских, надо было в каждой поставить жестяные печки, провести трубы и самим добывать топливо. Но это было почти немыслимо. Для этого шли на преступление. Например, снимали со стен замечательные образцы резной работы прошлых десятилетий, и кололи на части. Ломали столы, шкапы и все это пихали в маленькие печи, пожиравшие уйму топлива. Работали целый день. Приходили с улицы натурщики и натурщицы: мальчишки, девчонки, бабы, мужики, генералы, вдовы, словом все, кто хотел, и всем староста выписывал гонорар по самому высокому счету. Свобода была полная, никто ни в чем не проверял. Строгость была направлена только в сто-





Мальчик. Из цикла «Расея». 1917

рону профессора и ассистентов. Надо было всякий раз расписываться. Я ввел мою систему: рисование с модели в продолжение пяти минут. Затем поза меняется. Надо было разбудить темперамент и научить видеть. Зато бумаги не хватало. Для наших мастерских исходатайствована была экстра-бумага.

Вскоре случился скандал. Сорок человек учеников М., члена Московского Отдела изобразительных искусств, подали прошение моему старосте о переходе ко мне. Это было неудобно, я отклонил. Начались подвохи. Нам было трудно. Но вот отчет за полгода. Была устроена выставка всех мастерских. Торжественное празднование. Говорили речи. Какой-то субъект в белом полушубке, один из членов училищной коллегии говорил о наших мастерских. Он язвительно сообщил о том, что я из Москвы хочу сделать Париж, но что все это — наркотики и наркотики. Долой наркотики! Мой староста пригрозил ему, а я ответил только то, что из Москвы уже сделали Болгарию...

Куда-то потом меня вызвали, — оказалось, что ученики Училища поднесли мне адрес, как единственному защитнику святого искусства. Приезжал на царской паре Штеренберг и пожимал мою руку. Бывший рабочий, едва разговаривающий по-русски, он долго прожил в Париже и многому там приобщился. Когда, например, он распределял у кого сколько купить вещей, по ставке по 7000 за вещь, он мне сказал так:

— Ну, ведь вы видели такую сумму, а Ф. никогда с роду ничего не продавал.

В данном случае он был прав: Ф. всегда был замечательным художником, но ведь мы все теперь немножко голодали!

На письменном столе в «Наркомпросе», у Штеренберга, можно каждый раз увидеть какую-нибудь новинку из области уже согнутых и как-то приложенных труб. И эти новинки всегда говорят о том, как «революционен и прогрессивен» товарищ Штеренберг. Спокойствие его граничит с мудростью. И он хладнокровно расценивает по 7000 р. за «произведение». Ему не нужно никаких экспертов. Он — самый главный директор над русским искусством.

И так шли наши работы до тех пор, пока не сгорели образцы токарных работ, и не выдохлись запасы красок, реквизированных в магазинах Аванцо, Дациаро и др. Стали писать, чем придется. От этого холсты очень стали меняться в цвете. Ученики задавали вопросы — отчего так? Ответ был один. Выхода не было, несмотря на собственную лабораторию и лекции по химии. Положение ухудшалось настолько, что преступление было повсюду: в глазах, в суррогате красок, в окружающем хаосе, в изношенной одежде, в поведении сторожей (их было 300 человек), в пище, которой кормили учеников, причем ученики занимали в столовой вторую очередь, в первой стояли сторожа и вообще служебный персонал.

Но хуже всего это было то, что во всех мастерских писались огромные плакаты с лозунгами. Писались отвратительно мерзко, как попало, лишь бы заработать 2000 за плакат. Таких заказов раздавалось, сколько угодно. И это подломило интерес к занятиям в мастерских, а впоследствии и к самому искусству. Вы встречаете ученика с пачкой кредиток, на лице забо-

та, вместе с сиянием страсти к наживе. Вы не можете точно определить — голоден он или сыт, сыт до омерзения. До последней минуты удерживал я учеников и привлекал в одну группу. Их было 16—18 ч<еловек>, и тут до слез трогательна была и одинока любовь к творчеству. Я не преувеличу, если скажу, что вот эти 16—18 юных художников и составляют духовную ценность будущей России. И нам надо всеми силами помочь им — послать им материалы.

IV

У комиссара М., где была отведена моя профессорская квартира, я прожил очень недолго. Пришлось переуступить ее товарищу коммунисту. Я видел его на пороге моей комнаты. Он был уверен и плотно затянут в кожаное все. Но тут случилось нечто такое, что касается театра. Получаю телеграмму из Отдела московского государственного театра. Надо сделать «Снегурочку» (оперу). Тем более интересно, что ставит впервые Художественный театр. Члены дирекции все в сборе. Комиссар председательствует. Зовут его между собою: «Леди».

— Сколько же вы хотите за работу? — спрашивает меня «Леди».

— У вас есть ставки, — отвечаю я, — выходит 276000 руб. за костюмы и за эскизы декораций, кроме написания самых декораций. 103 костюма по 2000 руб. (рисунок) и десять эскизов декораций по 7000. Это минимальные ставки. Но «художникам с именем» платят по соглашению.

— Сколько вам нужно, чтобы прожить, в месяц? Московские артисты говорят: довольно 15000 — 20000.

— Да, — отвечаю я, — этого достаточно. Считайте сами. Я, жена, сын и две любовницы.

Я говорю эти слова и смотрю в лицо «Леди». Она совершенно спокойна. Я продолжаю:

— Вы обязываете меня контрактом. Я должен все это сделать в полтора месяца. Но чем я поддержу мое настроение? Мне нужен коньяк!

Лицо «Леди» спокойно, но приветливо. Она думает и думает просто и умно. Один из членов директории мне шепчет:

— Валите 75000 р...

Я произношу эту странную цифру. «Леди» подписывает контракт, но тут же выговаривает точно мать:

— Эти художники, словно дети.

Я спрашиваю о материалах. Она отвечает, что все имеется: парча, бархат, холст, краски. Около 1000 костюмов будет сшито в два месяца, если только готовые рисунки я не буду у себя задерживать. Контракт был сделан при помощи присяжного поверенного, бывшего юрисконсульта бывших императорских театров, нынче государственных. На основании этого контракта я имел право получить отсрочку по призыву в Красную армию, так как в июле 1919 года мне отклонили таковую на основании профессорской привилегии, а профессоров стали арестовывать в связи с новым декретом о преобразовании в корне средних и высших школ.





Мать и дочь. Из цикла «Расея». 1917

Времени было полтора месяца, но в «Центробуме» меня задержали ровно три недели, пока выдали красок и картона. В течение этого времени выплатили задаток в 20000, причем это было так: ассигновку отклонили, потому что никто не имеет права получать более 5000 р., но комиссар государственного банка сделал «художнику» исключение. Тогда кассир заупрямился и просил прийти рано утром ибо к часу бывает пусто. Но тут были и другие соображения... Работа была благополучно мною окончена. Был составлен приемный акт, но денег получить мне не удалось. Тут случились такие обстоятельства, что надо было покинуть родину. 1-го ноября, в день премьеры «Снегурочки», я находился уже в Берлине.

Печатается по: Жизнь. Вестник мира и труда. Берлин. 1920. № 5. 1 июня.

Семь человек... — Отдел ИЗО Наркомпроса образован в январе 1918 г., в марте в его коллегию под руководством Д. Штеренберга входили Н. Альтман, П. Ваулин, А. Карев, А. Матвеев, Н. Пунин, С. Чехонин, Г. Ятманов. Затем состав пополнили В. Маяковский, О. Брик, И. Школьник, В. Баранов-Россине, Л. Руднев, В. Щуко.

Высшее художественное училище – б. Строгановское училище, где учился Григорьев, было преобразовано в 1 ГСХМ (Первые гос. свободные художественные мастерские). Выборы профессоров состоялись в октябре 1918 г.

Тот самый юноша из «Аполлона»... — Николай Николаевич Пунин (1888—1953), искусствовед, автор статьи «Рисунки Бориса Григорьева» (Аполлон, 1915, № 7—8). В марте 1917 г. вместе с Маяковским входил в президиум Временного комитета деятелей искусств, после Октябрьской революции руководил петроградским Отделом изобразительных искусств Наркомпроса, редактировал газету «Искусство коммуны».

И. К. — возможно, имелся в виду коллекционер И. Китроссер (по каталогу «Мира искусства» (1917) владел портретом К. Д. Бальмонта работы Григорьева.

Татлин Владимир Евграфович (1885—1953) — художник, автор контррельефов, «Памятника III Интернационала» (Башни Татлина), заложил основы производственного искусства. С 1918 г. — председатель Московской коллегии ИЗО Наркомпроса.

Лентулов Аристарх Васильевич (1882—1943) — живописец, участник объединения «Бубновый валет».

Меня познакомили с Б. — вероятно, Бабичев Алексей Васильевич (1887—1963), скульптор, живописец, учился у А. Бурделя, после возвращения из путешествия по Европе в 1915—1917 гг. руководил собственной скульптурной мастерской, с 1918 г. преподавал в Первых гос. свободных художественных мастерских, был членом комиссии по вопросам искусства в Моссовете.

Зовут его между собою: «Леди». — см. «О новом <5>».

Работа была благополучно мною окончена. — В письме заведующему производственно-постановочной частью Большого театра, где ставилась опера, В. В. Федорову от 14 сентября 1919 года Григорьев сообщал: «Получил Ваше письмо и очень счастлив, что Вам понравилось 3/4 сделанного мною для театра. Моя душа полна смятения, я совсем разболелся, еду куда-нибудь в деревню лечить нервы. Пусть Костин, мой талантливый ученик, знакомый хорошо с моими художественными принципами, напишет декорации по моим эскизам. «Снегурочку» я выполнил целиком, я сам виноват, когда уговаривал Вас поставить в контракте 10 эскизов. Откуда? Едва набралось 8 и это все, Вы сами знаете. Итак, я был вполне аккуратен, декорации может писать и другой. Благодарю Вас сердечно за внимание, но сейчас я совершенно ненормален, потому что вокруг меня вся жизнь ненормальна...».

Об искусствѣ и об его законных преступленіях.

Если политическій камбріолаж pour le bien public узаконивает самое преступленіе, преступленіе только могло-бы очистить искусство от всякой другой идеи, так сказать, от антихудожественнаго вмѣшательства вплоть до политическаго права.

Революціи приносят с собою стопроцентную преступность, новые законы, но ничего не мѣняют в жизни — пошлость процвѣтает и даже с новою силою на свободѣ она прогуливается всѣм фасадом, как раздобрѣвшая пошлятина. Открытія науки ей очень нравятся — пошлятина готова расхвастаться даже по радіо. Оттого так и сильна пошлость жизни, что является именно массовою силою. Пошлость подмѣнивает вкус — на предмет первой необходимости.

Вѣрно отраженный образ в искусствѣ, скованый силою ненависти к житейской пошлости, конечно способен осадить и самый революціонный пафос. Ненависть в искусствѣ есть начало всѣх его законных преступленій потому что она создает такую температуру, которая сопровождает всякое преступленіе. Но для искусства мало одной любви, мало и ненависти, ему надо отдать всю свою силу, так сказать, ту рѣшимость, ту готовность, которая приводит к преступленію всякому. От этого, всякаго преступленія художника спасает именно его творческое начало, но и эти не растраченныя в жизни силы художника очень нужны искусству.

Почему, тот француз, который на судѣ кричит: „j'ai eu [illegible]" находит у судьи снисхожденіе для своей вины? Потому что судьѣ понятен преступник-человѣк. Но массы никогда не прощают художнику, толпа никогда не заговорит с ним голосом даже судьи, а это потому, что коллектив всегда корыстен и объединен примитивного хваткой равнодушія и безотвѣтственности.

ОБ ИСКУССТВЕ И О ЕГО ЗАКОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Если политический камбриолаж pour le bien public узаконивает самое преступление, преступление только могло бы очистить искусство от всякой другой идеи, так сказать, от антихудожественного вмешательства, вплоть до политического права.

Революции приносят с собою стопроцентную преступность, новые законы, но ничего не меняют в жизни — пошлость процветает и даже с новой силою, на свободе она прогуливается всем фасадом, как раздобревшая пошлятина. Открытия науки ей очень нравятся — пошлятина готова расхвастаться даже по радио. Оттого так и сильна пошлость жизни, что является именно массовою силою. Пошлость подменивает вкус — на предмет первой необходимости.

Верно отраженный образ в искусстве, скованный силою ненависти к житейской пошлости, конечно, способен осадить и самый революционный пафос. Ненависть в искусстве есть начало всех его законных преступлений, потому что она создает такую температуру, которая сопровождает всякое преступление. Но для искусства мало одной любви, мало и ненависти, ему надо отдать всю свою силу, так сказать, ту решимость, ту готовность, которая приводит к преступлению всякому. От этого всякого преступления художника спасает именно его творческое начало, но и эти нерастраченные в жизни силы художника очень нужны искусству.

Почему тот француз, который на суде кричит: «J'ai vu rouge», находит у судьи смягчение для своей вины? Потому что судье понятен преступник-человек. Но массы никогда не прощают художнику, толпа никогда не заговорит с ним голосом даже судьи, и это потому что коллектив всегда корыстен и объединен примитивною хваткой равнодушия и безответственности.

Ничто другое не вызывает ненависть с такою силою как равнодушие и безответственность! И ничто иное не обязывает с такою силою и правдою к ответу — как ненависть.

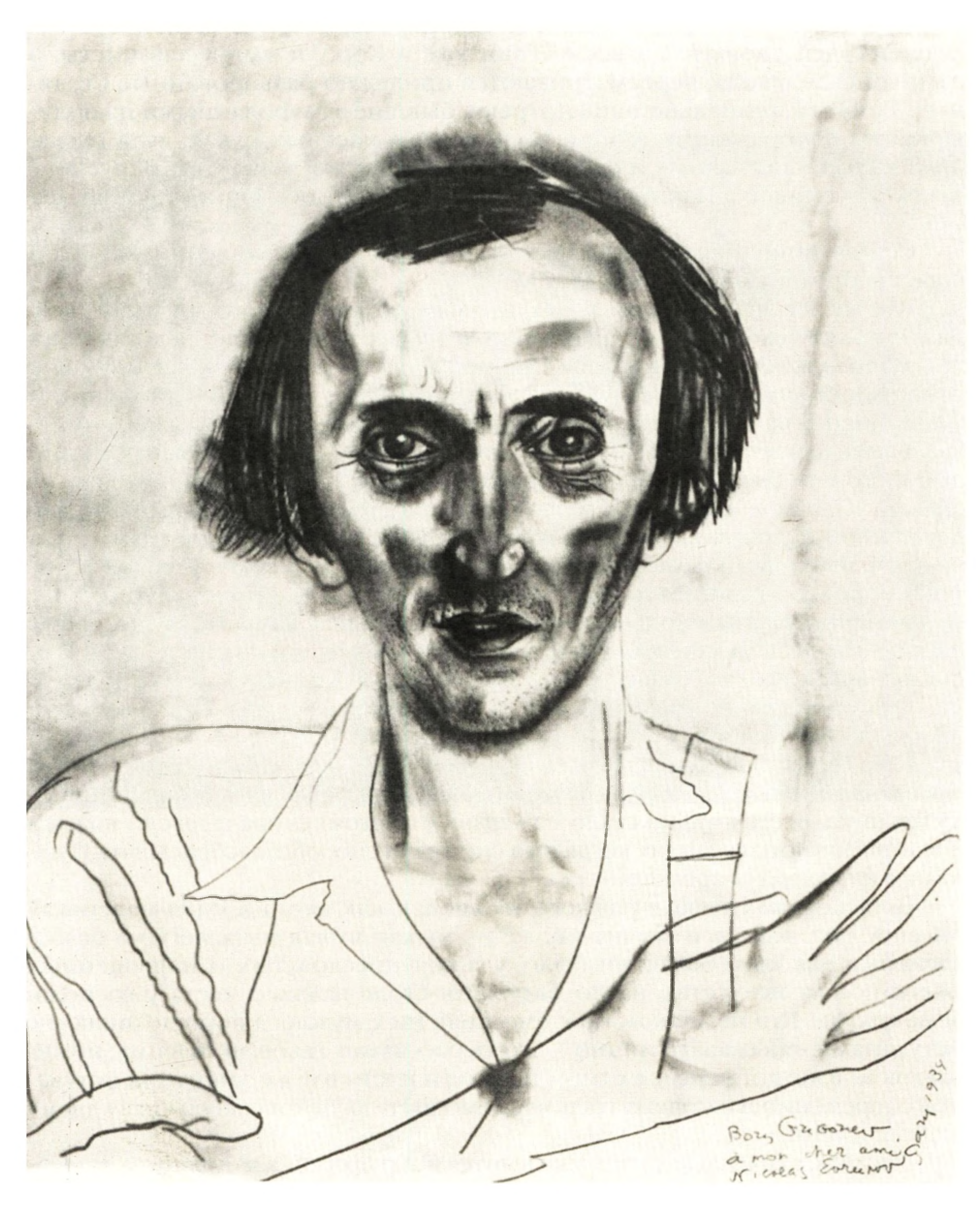
Вот почему сейчас уже нельзя творить в искусстве только любовью. Как область консонанса легла тенью на прошлом, как область диссонанса легла модернизованной пошлостью на настоящем — так и любовь призывает на помощь контрастную ей силу — ненависть. И время выдвигает на место эстетики новое понимание положений о контрастах, о преступлениях в искусстве; о жизни и о художнике.

Консонанс задохся в символизме, это была последняя его форма, так сказать, последняя монистическая слабость. Началась республика диссонанса, он завизжал «измами» и спятил с ума. Его потомки еще ютятся где-то по щелям, они очень похожи стали на скорпионов и жалят только в сырых местах Montparnass'a и в его провинциальных апексах. Есть на свете любители и тлетворного духа. Рекомендую отправиться в места более сухие и теплые, они хоть и напоминают роскошные гостиные — эти англосаксонские хоромы с картинами, вернее сказать с роскошными рамами и дешевой в них эстетикой вместо живописи — здесь вы найдете настоящую бездарность, так сказать, желанную, непогрешимую, нервов она вам уж никак не испортит, она нервы, пожалуй, даже успокоит, зато порадует уж наверно своим прогрессом, пикантным течением хоромной эстетики, течением, так сказать, «модерн». Это течение можно назвать без ошибки: «neoplaisir». Оно доставляет удовольствие не только живописанием, но и рукопожатием... всеми, так сказать, светскими манерами! Все зависит только от гонорара.

Пошло все, к чему прикасается человек.

Это он выдумал эстетику, ее примитивные положения: за и против искусства, консонанс и диссонанс, хорошо и нехорошо, красиво и уродливо. А большевики говорят еще определеннее: «кто не с нами — тот против нас!» Нельзя улучшить отношения путем любви, но можно изменить их в корне путем преступления. Так поступают люди и так должны поступить художники. Художник только ненавидя своих врагов, может защитить от них самое искусство. Нельзя любить такого человека, который думает бицепсом, а глядит бельмом. Можно получить чек от сенатора, но не хочется услышать его похвалу. Право на аплодисменты выдается вместе с билетом. Высокое искусство принадлежит только глазу и уху — видеть и слышать. Утверждают, что надо родиться с абсолютным глазом и ухом, чтобы быть художником. Минимум доведенного до максимума выражения выдвигает еще одно условие — чувство меры, без него не бывает искусства. На одну талантливую фразу можно написать много бездарных страниц. «По пять крон за столбец», — говорил Стриндберг. Паразиты от искусства, «мухи на трупах» — критики, метеки и macereaux навязали искусству кокетливую роль кокотки: «eppater les bourgois». Нет, искусство требует от художника не заигрывания, преступления, во всяком случае его температуры, готовности на законное преступление в искусстве.

В самое последнее время в Париже заговорили об *эмоциональном искусстве* как о самом трудном. Я выделяю эти слова, потому что они очень содержательны и тем замечательны, что происходят из сырых мест



Портрет режиссера Н. Н. Евреинова. 1934

Montparnass'а — в них слышится «страх божий». Скоро не останется ни одного скорпиона. Заговорили о «самом трудном», заговорили о «переживании в искусстве» — заговорят и о «святая святых» в искусстве, научатся священнодействовать. Тут воскресают уже и Коро, и импрессионисты, и Авиньонская школа, пересматриваются прилежно разворованные Сезанны и Ван Гоги, гениальнейшие Лотреки, бывшие замурованными из политических соображений чуть ли не полвека в частных руках, куда пускались только спекулянты и фальшивомонетчики от искусства. Вдруг воскресает все такое в Париже, что было затравлено доскорпионным временем!

Святая запись истории только станет еще мудрее и, верно уж, будет совсем коротенькой на этот счет.

Что же все это означает? Хотят ли люди уж и из «самого трудного» воздвигнуть новую биржу или идет дело к тому, что приближается конец биржи, а с нею и эстетики? Все еще говорят и учатся у Матисса, все еще злостно недооценивают Wlamink'а за подлинный его живописный талант. И уж начинают валить своих недавних кумиров, зарвавшихся у власти и показавших, вдруг, то самое, чем они были на самом деле. Не называю фамилий, осточертели. Один кумир в музыке, другой — в живописи. Оба — не французы, оба — парижане, влившиеся правдами и неправдами в океан парижской культуры хоть и не широкими руслами, но зато ядовитыми струями, отравленными наглостью, правом политического камбриолажа и хитрой сноровкой компилятивного ремесла; так сказать, пришли эти герои в Париж с прекрасным подбором узко-национальных качеств, за счет народа, а не с личными качествами. Не называю этих имен, но спросите, и Вам скажут очень многие сразу, потому что кроме них никто бы, из скромности, присущей великому художнику, не занял бы всем широким задом кресла, услужливо пододвинутого госпожой демократией.

Я не охотник посмеяться над авторитетами, они ведь и ведут в тайну преемственности, без которой не бывает ни одного настоящего нового художника. Всем хорошо стало известно, что стоят слова и мысли вождей доскорпионного времени, когда они еще были способны «сбрасывать Пушкина с парохода современности».

Но в данном случае я радуюсь, наблюдая, как эмоция, одна маленькая эмоция, она, кстати, и звучит так же мило, как милая муза, легко и безболезненно для кого бы то ни было, удаляет пресловутых и напыщенных истуканов от искусства, нагло занявших столь важные места у госпожи демократии. Кто не знаком ни с эмоцией, ни с музою, а хорошо знаком с истуканами, так сказать, лично — пусть расскажет такое, чего в них, помимо трюков, не доглядели в самом начале; и пусть тот же защитник истуканов современности утешит госпожу демократию, овдовевшую сразу двумя любовниками.

Эмоции, как милые детки, уже вьются вокруг станка художника, колеблют святой треножник станковой живописи. Художнику остается только одно — не отставать от своего ремесла, ибо только оно способно освободить его от национальных оков и устремить его к единому качеству, меж-



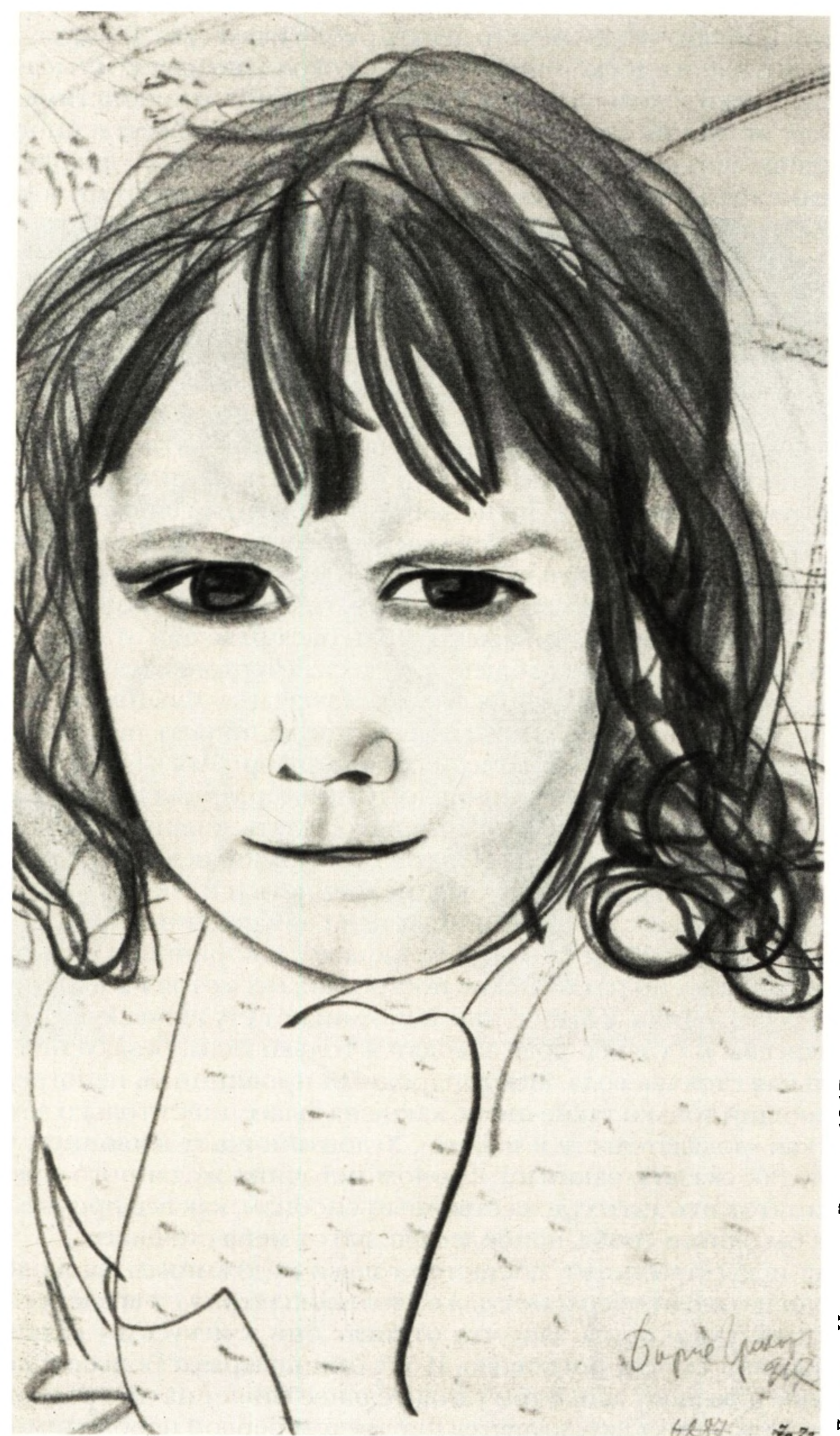
В парижском кафе. 1914

дународному — не в смысле интернационала, так сказать, политического значения, а в едином смысле единого художественного достоинства. И равняться сейчас приходится всем на Париж!

Об едином качестве в художественном ремесле можно говорить тому, кто долго жил в Париже. Там оно, невзирая на заболевания, на очевидный как нигде marchandise, на легионы двунадесятиязычных метеков, на биржу с котировками и передергиваниями, играющую роль всегда торгово-политическую, дипломатическую, со всеми уловками капитализма и снобизма — не взирая на все это, в Париже единое качество перебоя не давало, как раз в самое антихудожественное время, всеми нами пережитое с ненавистью. И никому не пришло в голову в это время сплошных преступлений совершить преступление в защиту искусства. Но сколько их было совершено против искусства! Мы еще не прожили эпоху борьбы, как устало начинаем утопать в пошлятине. Течение «neoplaisir» захватывает последних художников, прощаясь с остатками капитализма. Гидра пошлятины подымает глаза, пристыженные Гоголем, его «Портретом», гамсуновским образцом гнуса — Эрвена и так далее, много тому примеров случилось.

Сейчас в Париже уж никто более не притворяется и не пытается подменить эмоцию на трюк, спокойствие глаза на вычуру какой-нибудь «динамики» или приставки «sur». Мелодия и нерасплавленный цвет! Составить цвет — это не значит его расплавить, сделать жидким; ослабить его температуру еще не значит лишить цвет его живого начала: холодного и теплого — составить цвет, значит найти контрастную силу его цельного сплава.

Сталь уходящего железнодорожного пути останется сталью во всех планах. В числах все цифры одинаково значительны. Уходящая от глаза краска потеряет свою форму, но останется всегда цветом. Дальние планы никогда не теряют цвета — они меняют только температуру цвета. Примитивное понятие о теплых и холодных красках есть начало науки о цвете и его температуре. Отсюда контрастные ценности вытесняют пресловутую эстетику консонансов и диссонансов и выдвигают новые положения в подходе к искусству, ни «за» и ни «против» еще не есть положение. Искусство не зависит от послеобеденного настроения сноба, оно не зависит даже от вдохновения художника — искусство есть прежде всего ремесло и зависит от температуры цвета, от контрастов на эмоциональном восприятии. И неважно что, неважно как, а важно кто! И от вас зависит не идти путем трюков, не ограничивать безбрежную даль, как числом, вашим же мастерством. Нельзя, например, живого человека вылудить сангиной как самовар, таковое мастерство задерживает чисто художественные возможности и все похвалы заканчиваются такому старанию на пятерке. Мастерство в искусстве однако такое необходимейшее зло, которое должно быть одолено — оно должно прийти к Вам и должно уйти от Вас. Приход и уход одинаковы трудны. Мой сын променял искусство на науку. В свои юношеские годы он понял очень многое. Вот как он рассудил: «L'axactitude dans les mathematiques qui plus simple que l'hônetete dans les Arts». Он не пожелал только лепить ощущение тайны.



Девочка. Из цикла «Расея». 1917

Метеки поняли, что им нечего делать около искусства. Говорят, в Париже их насчитывали в доскорпионное время около пятидесяти тысяч, а сейчас осталось всего около четырех. Такой интернационал поистине серьезно угрожал истинной единой выработке единого художественного качества. Цинизм метеков и всякие революционные пособия, доходные статьи, течение «neoplaisir» не повлияли на здоровую температуру в живописи — она жива и здорова только в Париже.

Что же происходит в провинции, то есть в остальном мире? Можно ли говорить об искусстве в провинции? В Париже оно, так сказать, все разобрано. И не зря разобрано. Надо наконец, чтобы все подлое от искусства провалилось в бездны, окружающие высоты истинного искусства.

В том виде, в каком жизнь является перед развитым глазом художника, только ненавистью к ней он ее раскроет. И люди обижаются не на самих себя, а на художника за верный образ его, для которого они сами служили сырым материалом. Что же такое искусство, если не минимум, доведенный до максимума выражения? Если не контрастная жизни сила протеста в нерасплавленном цвете, звуке, мышлении. Искусство: видеть, слышать, понимать. Изображение есть только ремесло глаза, уха, мысли. Искусство воспитывается не предпосылкой снобов — эстетикой, а чувством контрастов с жизнью, особым глазом, ухом, мышлением. Тысячи вещей отделяют художника от пошлятины, но одна общечеловеческая черточка может сблизить с нею кого угодно: и царя, и гения, — это безвкусица. Французы называют одним словом все то, что прет где попало и куда попало: marchandise, что вызывает в них досадное упорство регулярной борьбы с этим глубоко жизненным явлением. Вот почему прошло, например, время для картины, для оперы. Сейчас нельзя делать картин, а надо делать живопись, невозможно пойти в оперу, но невозможно прожить без музыки, невозможно стерпеть имитации «умирающего лебедя», как не стерпеть и пяти минут того тлетворного духа времени, которое присутствует за карточным столом. Для парижанина первая любовь никогда не окрасится коричневым цветом русской гимназистки, но патагонские постройки, несмотря на испанскую гегемонию, даже в Чили, в Аргентине, напоминают студенческую виллу Леонида Андреева. В стоячей воде заводятся только гады: безвкусица — провинциальная стоячая вода. Международный провинциал, непогрешимый сноб, знающий только такие цвета, какие на флаге, ищет только эстетику в рамках, как «доказательств в пакете». Художник ищет живопись! Отсюда вытекает, так сказать, закипает ключом источник желанного преступления — уничтожить антихудожественный снобизм, как все прочие «измы», или хотя бы одного сноба, наиболее близко от меня стоящего...

Когда искусство мстит, достается только художникам, за людское, за общее: однако люди оберегают даже свою пошлятину от воздействия развитого глаза, уха и вкуса. Все, что относят они к искусству является для них, в крайнем случае, роскошью. И тут они швыряют большие деньги и чем больше швыряют денег, тем удивительнее влияет на них роскошь. Тогда как для художника вкус является предметом первой необходимости.



Музыканты. Парижское кафе. 1914

Но настало время, когда не только искусство мстит, оно всегда мстило; но и художники научились мстить людям за пошлость, за равнодушие, за всю власть, захваченную ими путями стопроцентнопреступными. В какую форму выльется и уже выливается ненависть творческая? Ведь все же и она гнездится в сердце человеческом... Культурные люди должны признать за вкусом все права гражданства и если не выделяя, то включая его не в категорию бездарного определения вещей, а именно, в категорию предметов первейшей необходимости, не смешивая искусство ни с эстетикой, ни с роскошью.

Если бы художники объединились, а это конечно, совершенно невозможно, то создали бы новый режим, тирания которого на месте расхлябанной пошлости и безвкусицы поставила бы своего, умеющего хоть маршировать солдата вкуса. Давно бы пора догадаться культурным людям как оскорбительно развитому глазу, слуху и мышлению все это видеть, все это слышать, все это ненавидеть.

В дни революции, когда люди перестали наблюдать за собою, когда стали раскрываться на все сто сотых, бесстыдно обнажая все человеческое вплоть до звериного, я пытался разглядеть целый народ, найти его истоки, так сказать, его «обла и озорна», заглянуть в эту даль расовую, как в открытую дверь. Это было страшно, но ненависть заставила меня все же изображать, не поддаваясь особенно обаянию даже такого сырого материала.

И увидел я страну, которую стали называть «лыковой землею». Но чем она хуже той земли, которую до меня называли словечками более классическими?

Земля Христа и Толстого потому и гениальна, что она носила Христа и Толстого, Мусоргского и Врубеля, Пушкина и Александра Иванова, Петра Великого и Достоевского и еще многих, очень многих; потому она и оказалась лыковой землей, когда выронила своих гениев и показала вдруг такое, чем была всегда и чем бы оставалась без них навеки. Нет, au fond — она только лыковая, другою ее показали только художники, являя только положительные стороны, равняясь только на любовь и только на романтику. Но Достоевский посмотрел своим глазом. Его пророчества сбылись.

Когда-то я изучал лыковую землю по всем правилам зубрежки, но удивлялся несоответствию вещей, так сказать, незаконно, подсознательно. Теперь я ее увидел своим глазом, пожалуй, даже глазом и не очень-то своим, а глазом искусства, и ничему не удивился. Я, можно сказать, холодно отражал, заботясь только о том, чтобы ремесло мое было в порядке вплоть до стамески-карандаша, им я и совершил мое законное преступление, избавляя себя от случая ввязаться в общую свалку, которую даже поэты готовы были признать, ибо руководила ею «святая злоба».

Кто не видел революции, тот и народа не увидел; тот благополучно заседал с филистерами и снобами, обрастал marchandis'ом, да и продолжает замазывать щели человеческого мозга, чтобы туда не надуло снаружи. Скоморохи скачут только туда, где щедрая рука сыплет предметами первой необходимости. Надо объяснить человечеству, что первая его не-



Сафо. Маска. 1916

обходимость в другом — научиться смотреть на все своими глазами. А если глаза ничего не видят, то научиться именно тому, чтобы видеть.

Если бы американские художники выявляли быт своей страны с такой же легкостью и охотою, с какою наставляются в Америке этажи, то всем бы ясно стало, что Америка вовсе не есть апекс англо-саксонской эстетики, уже с сильно «подмаранным» престижем в самой Европе, благодаря гегемонии латинского вкуса. Здесь кроме климатических циклонов и банковских операций над здоровыми людьми, никаких особых не было причин, чтобы распахивались окна, двери и души. Ни человеческие, ни звериные элементы здесь не играли большой роли. «Ничего не надо» и «ничего не жаль» здесь поняли совсем с другого конца, не потому что надоело, а потому что ничего не было — ничего и не надо. А жалеть нельзя застрахованную вещь, как нельзя подраться в ту минуту, когда выгоднее рассчитаться по закону.

Однако, походите по Broadway и вы увидите воочию, как шеренгою, толпою, одиночками люди позируют глазу. Тут думают бицепсом, глядят бельмом. Выражают два цента, два доллара, два миллиона — на франки если перевести, то это получится даже миллиард — американские ценности в Европе котируются очень высоко, это все знают, только щедрость американская с этим не считается...

Эти позы на Broadway, если еще и находятся в выжидательном положении, то все же, европейскому наблюдателю лучше знать, нежели американским газетам, чем эти люди занимаются вообще и как они преступны в частности... Те американцы, которым эти живые шедевры вовсе не нравятся, забираются так далеко от жизни, что кажутся уж и не жильцами на Новом свете. Богатая Америка на улицы не выходит, поэтому и галереи переехали к ним поближе, на пятьдесят седьмую. Если б было возможно, они открыли бы лавочки даже в лифтах и уборных — цель оправдывает средства. Здесь долго играли только на одной струне, потом прицепили вторую для модерна. И стал прививаться ни за что, ни про что немецкий «экспрессионизм» на седьмом году его смерти. И все смешалось. Самая эстетика, привившаяся с величайшими протестами и то не из первых рук, окончательно стала распознаваема от коктейля.

В боевое время большевистские прихвостни, а может и сами большевики орали: «не важно, что Растрелли строил Зимний дворец, а важно то, что рабочие перенесут камни на казармы для Красной армии; не важно то, что это гобелены, а важно то, что из них можно сделать портянки». Эти мысли я сам слышал на митингах в 1919 году. Они относились к идее «освобождения предмета из рабства». В Америке говорят так: не важно, кто ты таков, а важно, сколько у тебя денег! Не важно и откуда у тебя деньги и как ты их добыл, важно вот что: выбрит, размассажен, разглажен, известен — в «spek isi»...

Чтобы творить, мало уметь любить, мало уметь ненавидеть, надо отдать искусству всю свою силу, ту решимость, ту готовность, которые выпадают на долю всякого преступления. Искусство спасает от преступных наклон-



Циркачка. 1917—1918



Маскарад. Рисунок для журнала «Новый Сатирикон». (1916. № 8)

ностей в человеке, но и эти же силы, нерастраченные на преступления в жизни, оно применяет на защиту себя.

P. S. Говоря о едином художественном пространстве, о том что надо равняться на Париж, я вовсе не выкидываю национального флага, французского. Париж столько же француз, сколько и весь мир — это родина каждого художника — Мекка. Здесь скопляются все. Если б этого не было, Париж, с подлинно консервативной, французскою душою и латинскою скупостью-экономностью, представил бы собою все ту же провинцию, только более пышную, более праздничную, нежели остальные. Единое художественное качество Парижа есть достояние не только французов, а общее, его можно было бы разделить по праву если и не между нациями, то между лучшими людьми всех народов. Народы могут быть разными, одни хуже — другие лучше, но художники, classes a Paris — все одинаковы, ибо объединены единым качеством. Вот почему художники вне народов, вне их международно-провинциальной вампуки с флагом.

Не желаю кого-нибудь убедить в справедливости моего мнения, я потому и не доказываю на фактах. Для этого надо бы назвать имена, а среди них оказалось бы большинство, конечно, не французов. И было бы вовсе неудобно, если б тут оказались и русские имена. Национальный и личный вопросы — самые странные вопросы. Вот почему, говоря о едином качестве в искусстве, можно их вовсе не касаться. И вот почему, не касаясь ни национального вопроса, ни какой бы то ни было политической партии, художник является уже преступником по отношению к обществу и спасителем по отношению к искусству.

Печатается впервые по рукописи Григорьева, любезно предоставленной исследователем и собирателем его творчества Сержем Стоммельсом (Голландия). Датируется концом 1920-х гг.

...камбриолаж pour le bien public (фр.) — преклонение перед публикой.

Пошлость подменивает вкус... — об этом рассуждал П. Милюков в связи с творчеством Григорьева: «Опростившаяся до последней возможности, эта жизнь сама давала сюжеты, которым позавидовал бы Ван Гог. Отклонения от нормального здесь стали правилом; животная сторона жизни выдвинулась на первый план в поисках удовлетворения элементарных потребностей...» (Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Т. 2. Париж, 1931). Далее Милюков отмечал, что Григорьев «враждебен среде, и его вражда переходит в ненависть».

«J'ai vu rouge» (фр.) — «Я – красный».

Montparnass (фр.) — Монпарнас — парижский район, где жили художники.

«neoplaisir» (фр.) — «неоразвлечение» (термин Григорьева).

«eppater les bourgois» (фр.) — эпатировать буржуа.

Wlamink — Морис де Вламинк (1876—1958), французский художник-фовист, оказавший в 1920-е годы влияние на творчество Григорьева.

marchandise (фр.) — товар.

...приставки «sur» — имеется в виду «сюрреализм».

«L'axactitude dans les mathematiques qui plus simple que l'hônetetédans les Arts» (фр.) — «Быть точным в математике проще, чем честным в искусстве».

au fond (фр.) – в основе.

...обла и озорна – из «Тилемахиды» В. К. Тредиаковского (см. поэму «Расея»).

«Ничего не надо» и «ничего не жаль» — из стихотворения С. А. Есенина «Грубым дается радость...»

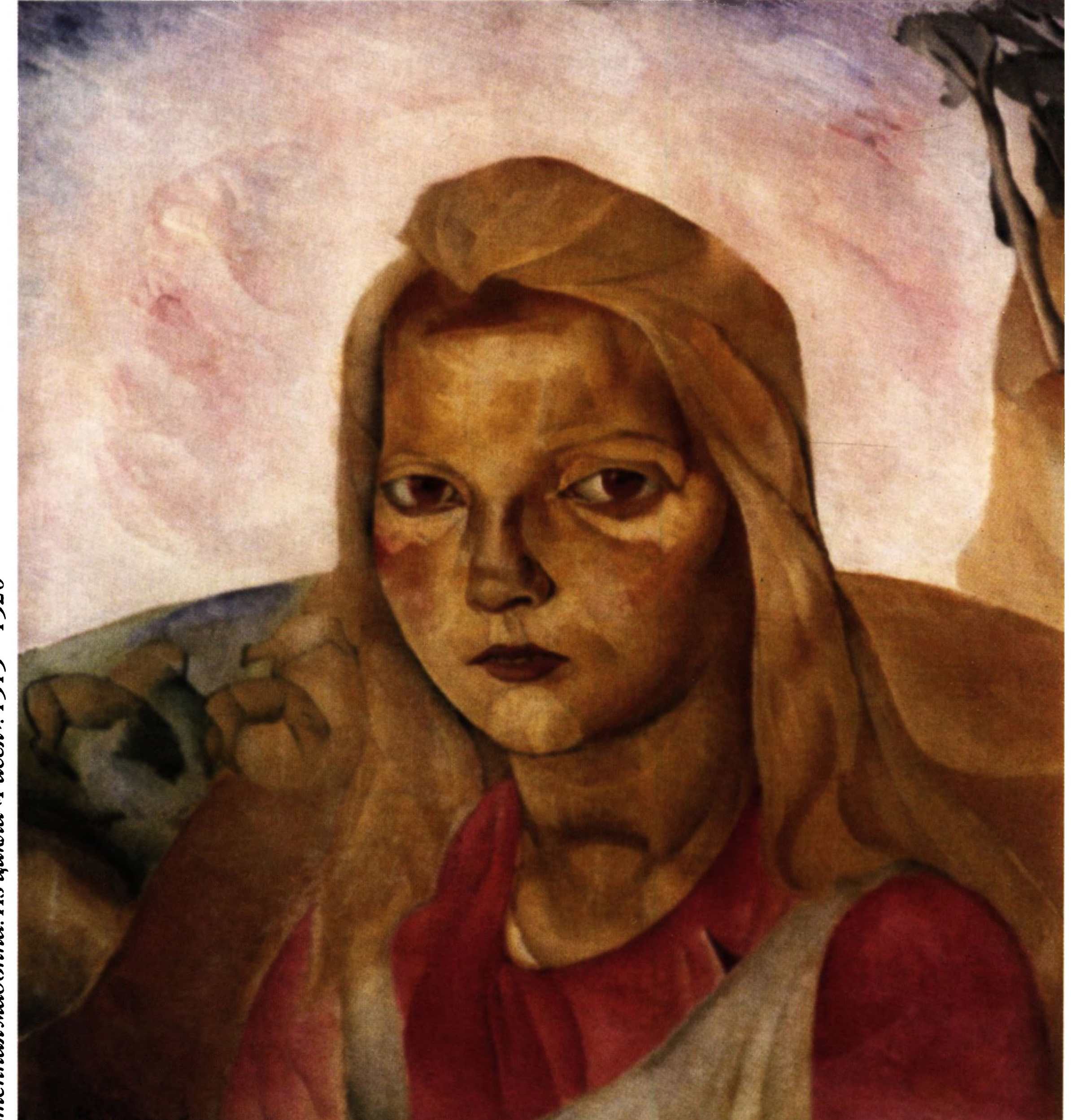
...немецкий экспрессионизм — художественное течение, возникшее в 1905 г. с образованием в Мюнхене группы «Мост» (Э. Л. Кирхнер, К. Шмидт-Ротлуф, М. Пехштейн, Э. Нольде и др.) и охватившее литературу, театр, кинематограф. Активная фаза завершилась к середине 1920-х гг.

«spek isi»(от англ. — speak easy) — говорить спокойно, болтать.

...художники, classes a Paris (фр.) — художники, учившиеся в Париже.



RASSE'JA



Степная мадонна. Из цикла «Расея». 1919—1920

РАСЕЯ

(Сатира пасынка)

В этой России есть правда, темная и древняя.

Это — вековечная, еще допетровская Русь, первобытная, до нынешних дней дремавшая по чащобам — славянщина, татарщина, идольская, лыковая земля.

Эту лыковую Русь и я, и вы носите в себе; оттого так и волнуют полотна Бориса Григорьева, что через них глядишь в темную глубь себя, где на дне, неизжитая, глухая, спит эта лыковая тоска, эта морщина древней земли.

Алексей Толстой

Имени этому лику отдельного нет, и необходимо наименовать эту, быть может, самую страшную русскую картину: женская голова, жница. Но это только кажется, что она в поле: на Голгофе она сегодняшняя полевая работница, вчера барыня.

Корявo-прекрасная, скифско-надевропейская Россия, «свиня-матушка» и Владычица Пресвятая Царица Небесная.

Сергей Яблоновский

Ея пасынкам —

Она украла улыбку у ребенка, спекулируя на улицах,—
Самое солнце ненавистно ее будням.
Закройте архивы скорби на замок,
Забросьте в глубину жизни ключ —
Утонуть бы ему в ней навсегда!
Как штору пыльную, ее сожгите
В «Александровском рынке» на одном костре.
Художник, обрадуй чудом глаз твоих.
Яви, пасынок, на лоно весны голос твой
И в песню новую впряги народный плуг!

Борис Григорьев. «Расея», 1917



Девочка с бидоном. Из цикла «Расея». 1917

Мух и оводов
пулею мается стон —
часто без всякого повода
на Руси мается он;
мается и душит,
мучает уши
колокольный звон.

В небесах еще пылает жар —
плод оранжевый и тяжкий,
а в дома спешат худые ляжки —
ветхие останки бледных бар.

Городишко — сад раскосый —
и суются как барбосы,
шкурою на лбу играя,
скоморохи советского рая
с ружьями, но — босы
обла, озорна, хари
цапают как плети, косы
дев российских на бульваре.

В очертаниях домов и крыш,
труб и флюгеров тревожных,
лезвием ныряет в ножны
человек и — прячется как шиш.

Как он беден, как он мал,
юрок, точно хвостик крысий, —
в улицы глядит с домовой выси
он на птичий да на ... бесий бал!

И как пять сестер —
сердец костер;
и как пять невест —
где они — нивесть:
разметали березки кудри;
в поднебесной пудре
церковки еще лучится крест!

Люди русские глядятся из квартир
и ... завидуют свободе галок!
О, как жалок, жалок
ты, — профессор или... дезертир —
ты — душой гиперборей,
любишь Русь, хотя б как свекор,
не играешь ни во что, ни даже в покер,
знаешь, что в беде твоей
не поможет даже и еврей.

Городской пристройки ветошь —
да ведь это ж
был театр — туда аллеей
шла к нему девица млея,
ленту алую несла за штору,
сердце бедное — актеру.
Мать бранится шибко:
— Сто целковых окунь,
маленькая рыбка,
с голодухи сдох конь!

А ворота на засове,
не гуляет лень
с матерью на слове —
труден, труден
день наш русский буден —
уж денек ли день!

Мне ничего не надо
и ничего не жаль,
смотрю на все тяжелым взглядом
как на безвредную уж даль.

В мураве на кирпичах
дом стоит тесовый —
дымы — серенькие совы
на его плечах.
Две акации у дома,
и не дом, а ситец алый —



Дом под деревьями. Из цикла «Расея». 1918

в нем лежат как скалы
три моих тома.
И линией премудрой
разрежу скуку глаз,
как молния, как утро
она разбудит вас!
Как в том доме, во домочке
«Грыжа» — Новиков живет,
смял он батюшке живот,
но... тому годочки!

Точно кружевом расшито,
в городок окно раскрыто.
Ой ли, так раскрыты губки,
кофты, сарафаны, юбки
девки милой, неиспитой!
И забиты окон дыры,
лавки и трактира:
тут недолго сердцем екал

подле лавки парень-сокол,
их уважил под сортиры.
Озорна, обла рожи!
Но жница эта в поле, друг ты мой,
то барыня в рогоже...

Девки знают что-то,
вьют на ленте косы,
сметливы, курносы —
тихи стали что-то,
тихи как киоты.
Скачут по канаве,
молча, как сороки —
знают, видно, сроки
горьким снам и яви.

Вытегорским красным летом
брел я, думою глаза завеся,
вдруг, с ружьем и пистолетом,
я почуял худо в этом.
Скоморох: — А пачпорт еся?.. —
Как не быть, да что такое?
Погоди, ведь не кабан ты,
скоморох, отродье Ноя!..
Скоморох: — Ты пишешь планты? —
Погляди ж ты, черт, на этот вид...
Скоморох: — Да мне не энтот
вид, а «виды»!
Ты кажи мне документ-от,
чтобы не было обиды,
да пока еще не бит! —
Перелеском шел я с хамом,
тяжелей не нес я ноши.
Загадал тогда я Карамазову Алеше
фон и небо над расейским храмом.
Говорю, что «виды» — дома,
у жены, картошки нету,
получить «продукту эту»
невозможно без «советского билету»,
даже даме «исполкома».
А в казармы не пойду я.
Скоморох: — Тебе ж какую сбрую?
Лутце к Новикову, ближе.
— Это к Новикову — «Грыже»?
Ну валяй, иди же... —
И ружье шальное свеся,
сплюнув в сторону шутя,



Отдых в поле. Из цикла «Расея». Начало 1920-х годов

это страшное дитя
разыгралось — тя-тя-тя: —
Плох ты... даже если пачпорт еся! —
В Петербурге комиссары
прелюбезны — ну как гусары.
Луначарского катары,
по наследству от Парижа,
на Руси сошли на нет;
он мне сразу дал совет:
— Чтоб визит был первым к «Грыже». —
(Оттого мои три тома,
оттого и «виды»...)
И у самого у Новикова дома
не скрывал уж я обиды...
Часовой: — Кого сымал? —
Скоморох: — Гляди — шпиён,
Часовой: — Да всю губернию списал уж ён,
аль ты болен чем-то вроде!
Проходи, ваш благородье. —
У Коненкова так леший,
мужичонко-пчелолюб
не стоял смешно — опешил,
в пень корявый обернулся страж,
а взамен звезды — на плеши
появился красный пуп.
Вот когда пришел я в раж!
На протянутую скоморошью руку,
закусил на сердце муку,
заорал: тут не иконы,
а советские тебе законы:
рукопожатия отменяются!
Так иди же
теперь ты к «Грыже»!

Девятнадцатый последний год, ты станешь первым
годом лыковой и «ликовой Расеи»,
как Брюллова стал «последний день Помпеи»
«первым русским днем» отчизны-стервы!
Когда солнце жжет, когда зверь поник,
умереть не хочет мысли блик!
Я брожу среди цветов, надломленных жарой, —
в обмороке лежит природа:
только ос и мыслей рой
вьется около моих идей —
места нет им, знаю я, среди людей,
знаю также, что и рай — удел урода,
бесится недаром уж герой!



Олонецкий дед. Из цикла «Расея». 1918

И свежее поцелуев
вьются в памяти моей, не для холуев,
«Карамазовых» задворки, истинно родные;
с ними храмы, перелески, небеса — как сны, я
бывшего перебираю долгие и сладкие часы,
и тихонечко от них встают власы,
гнев и ум — наследные черты вития,
вдруг во мне качнули что-то: как весы —
ой ли, ты опять зовешь, Россия!
Схоронился я в себя от будничной природы,
хоть и жил-то с нею я не во друзьях,
разбирался я и в черни, и в князьях,
выбирал и в ней,
и вовсе не для моды —
глаза ради, уж ему видней!
Изменял искусству я?
Нет, я верен был его породе!
Зверя дремь и съесты глупой
чепуха не вызвали во мне дремоты —
я укрылся, чтоб иное что-то
отыскать, без циркуля и лупы,
новые предчувствуя заботы.
Плыл я долго, Арктики ужасней плыли рядом льды,
пиками меня кололи, тыкали за мой удел
мастера подобных дел —
к чепухе они нестроги,
занося на самые мои пороги
скоморошие свои следы.
И сказать нельзя, зачем, куда я плыл,
оттолкнувшись от земли забытой,
как разбитое корыто,
у которого остались только обла да озорна среди рыл,
как густой туман над русским бытом.
А сказать кому, зачем, да мне ли,
век кто прожил, но не хмелел во хмеле;
благодарствовать кого? Я верен был моей природе!
Музы, если вы бываете еще в народе,
расскажите всем, хоть я не в моде,
верю я лишь самому себе, давно ль, уже ли?
Бьет мой час, я слышу, как в житейском крике
лопнула земля, и в ней как будто ожил
ихтиозавр в своем чилийском ложе;
Андов львиная спина трясется в рыке;
из Европы пухом бьет как из подушки;
с востока ухают все ближе пушки,
а в петровское заветное окно —
видно, как топорщатся уж скифы, битюги да пики…



Деревня. Из цикла «Расея». 1917

Бьет и общий час, как Анды в Пасифике,
мир готовится исчезнуть в «гуано».

Ты, которую зовут Clare Lindberg, ты мне мать!
На чужбине, ставшей жутко близкой мне,
пролежала ты одна твою кровать
поперек и вдоль, как окунь на глубоком дне.
Ты ль в младенчестве мне сердце прищемила,
оттого оно еще теперь болит;
ты ль, родившая меня, мне сказку говорила,
навсегда внушив мне ложный стыд...
Оттого ль так тяжек стал и мой удел,
оттого ль до самых до седин
во хмелю еще я не хмелел!
Помню, мать, твои слова: «Ведь ты мой сын,
знаю я, что толку из тебя не будет».
Хмеля, правда, нет, но толк — уж в пересуде...
Люди скажут — уж едва ли.
Где ж ты, мать моя,— жива ли?
Помню я тебя хоть всю, но «яко же помене».
Часто раздувая этот жар
угоревшей русской дали, в сани я сажусь с тобой,
пахнут сани лошадью, избой;
голову кладу я на твои колени,
а в избе крестьянской наш ликует самовар,
мукает теленок, за окном волною лютой
снега русского вздымается сугроб.
Вместо русского забытого уюта
русскую могилу вижу и не твой ли одинокий гроб?..
Ты в дохе отцовской, не видать дороги,
с елок падают, как сахар, целые пуды
в крытые ковром и простенькие дроги;
бубенец как будто охромевший;
точно не мужик и нам не друг, а леший
лошаденкой правит и гудит: «Ну-ну — куды».
Не любила ты провинциальный крик езды —
выезд нашего отца, его буланых тройку,
не бранила ты меня за гимназическую двойку,
музыку любила, дальнее мерцание звезды.
Помню ручек маленьких твоих узоры,
не глаза, а как бы только — взоры.
Я твой сын и знаю, ты, как я, — больна,
голос твой казался мне невеским,
как сонаты белая луна,
кружевным твоим брюссельским занавескам
шла твоя рука и бледное, красивое лицо,
Линдбергов забытых, девичье твое кольцо.



Деревня. Из цикла «Расея». 1918

По тебе ль сужу, сужу я многое по тетке Мери —
для меня ведь ты рублевского письма икона.
Всю Америку я вдоль и поперек измерил,
но, когда глазам представилась Панама,
точно на румянцах медных города Колона,
заиграл оркестр — я слово молвил: мама...
Отчего, одну тебя бы я спросил,
милые и вольные, как всякий ветерок,
эти: Joe, Molly, Gladys — весь растрепанный пучок,
сколько б я их ни любил —
обладают лишь одни акульей кожей?..
И ни в чем на нас с тобою не похожи!
Роза белая моя, отнес бы я тебя своей рукой
в наш широкий дом — несется и теперь там Волга
тою ж русскою широкою рекой!

Вот когда б я замер около тебя — надолго!
Ты Москва ль — Москва Рублева,
ты века лежишь перед Кремлем
и стерпеть его всегда готова —
в старину ж сама стегала ты рублем.
Я пою тебе, твой пасынок, твой рубль,
песню старую, беду твою давно увидя.
Гуляла ты, в аду горел же Врубель,
горел и я — любил и ненавидел,
Дионисию служа, крестясь Рублеву.
Позабыла ты, Москва, князей твоих,
Курбского, Рублева, Византию,
да и тех, кто милую Россию,
полюбив, теперь у дипломатов злых
сторожит и славит! — довольно так лежать,
ты — Москва, ты — мачеха и мать!
Нагуляла ты себе такое тело
не сама — тебя на новгородском Вече
зачали — ушла же от него ты недалече,
задницей когда попала в это дело...
Ты лежишь из ложного стыда,
баба ты, князей твоих заветы
поняла ты плохо!
Ты — Москва, тебе ли не в привычку окать,
было это ведь всегда,
начинай хоть охать, откликнись, где ты?
Я пою тебе из такого ли далека —
дальше некуда, — склонил колени;
я хочу опять склонить их подле ока
твоего, а уж не этак — перед задом...
Потянуть твой запах мне надо —



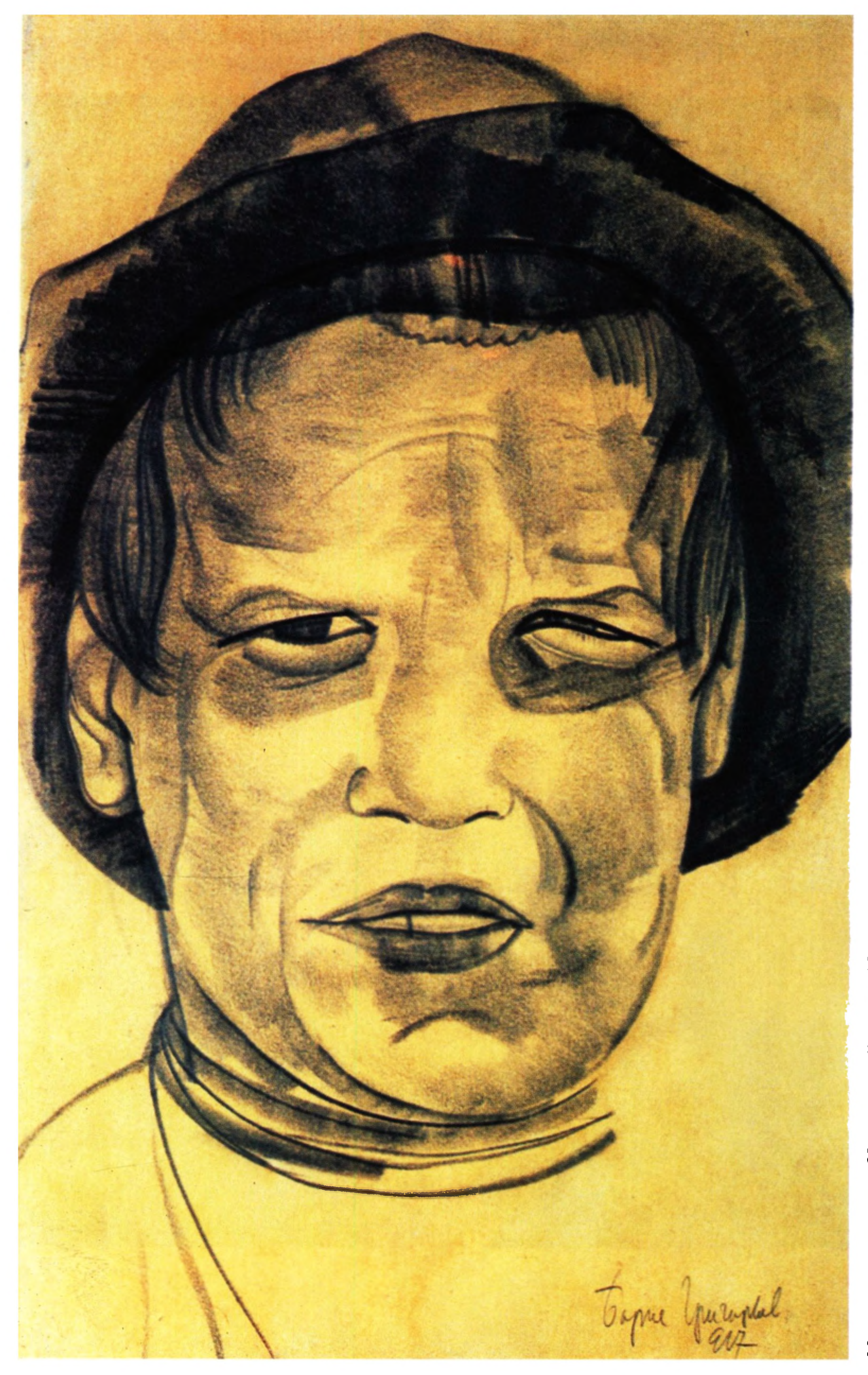
Девочка. Из цикла «Расея». 1917

под рубахою ты пахла веником,
вся ты пахла как лампада!
Вот когда мы с тобою у печки
прикурнем — оба намерзнув до крови,
не дадим дипломатам копеечки,
самую память о них для русской нови.
А хотя бы у нас на Москве-речке,
заглушат гневом и силой
Великий Иван, Блаженный Василий.
Что же нам до эпохи прокислой
либеральных чертей — до всей эпохи!
С нами Гоголь и Пушкин и мысли;
это Толстой и Рублев, да мы с ним.
С нами ты, Москва,— только охни!
Не родить тебе скоро вот такого,
ну хоть Сурикова: Ярмакам — Ярмака.
А послушаешь черта — быть в дураках,
Пугачева да Разина будешь в руках —
голая в оковах.
Мачеха! Дано ж тебе за то сторицей —
«порфироносная» склонялась головою...
Ты склонись не перед стервою столицей,
Вечевой и лыковой да многолицей,
кланяйся земле, а зада не давай без бою!
Подражать Америке тебе ль, Москва?
Общежития другого лучше не придумать.
....
....
Ты, Москва ль, Москва Рублева,
ты века лежишь перед Кремлем.
Неразменным я живу твоим рублем,
не котируясь, как он, в Европе.
Не она ль на все готова?
Спотыкнется и она на полном на галопе!
Твой, тебе пою, и пасынок, и инок,
иконописи близок — становлюсь все ближе,
не сумею я в Париже,
как все, лаковый носить ботинок
и на биржу малевать картинок!
Ты ж, Москва, ты вся на травке,
ошибаешься и в дружбе, и в себе, и в лавке!
Либералов-чертей накажи и... Петра
ты второю смертью за их грешный зуд!
И воскреснут боги твои — не те, что Вольтер,
с психологией: terre a’terre,
а другого нутра —
они как рифмы: «две сами придут — третью приведут».



Деревья. 1914

Ты красавицу спроси, спроси разок ты Музу,
как молекула она — не видать и глазом.
Молодцам московским ты не впрок пошла, в обузу —
на «тринадцатом подвиге» всяк молодец — лазом
обойдет тебя — дуру — как Геркулес,
ведь политикой всякой правит бес!
Мне ты — мачеха, а Музам ты — свекровь,
но народу мать — какой тебе католик «папа»,
у «католиков»
кроме титулов да столиков
всем вертит одна и та же бесья лапа!
Кровушка Рублева, Мусоргского, Пушкина кровь —
за тебя, Москва, пролита — в ней и любовь;
с нею рядом недолго искать и Музы!
Развяжи узлы и завяжи ты с ними узы!
Ты узнай, Москва, твой великий грех —
он и в том, что лежишь — вот так...
Сто уж лет клянут, не скоморoший смех —
всякого беса купишь за пятак, —
и не божий гнев —
монастырский блеф.
Музы Пушкина тебя клянут — так тебе мать!
Узнай, вся в них сила, вся благодать.
Ты ввела царей, а «геркулесы» — трон,
Пушкин, он!
Воцарился сам на троне нашем!
Завсегдатаям тюрьмы,
и не мы —
отдалась ты золотарям «параши»...
Ой ли, ты, Москва, родившая такую благодать —
Пушкина! — пустила в дом шальную рать.
Ой ли, Музам дьявола не ведать,
рати дьявольской трубить победу.
Будет время — наше время,
уж видать его росток.
Драгоценным станет Музы семя,
а не золотой песок!
И прохвастают останки человека,
как последней радостью мира,
не «просперити» — пошлятиной от века,
а династиями Лиры!
Красоты породистое диво,
и не титулу тебя, не «папе» сохранить!
Рядом уж ничтожна
будет жемчуга любая нить —
все пройдет и спрячется в музеев ножны.
Человек, поистине безбожный,



Мальчик в шапке. Из цикла «Расея». 1917



Портрет сына. Из цикла «Расея». Начало 1920-х годов

поклониться уж захочет только Музам —
неразрывны станут с ними узы!

Мне ничего не надо
и ничего не жаль —
в последний раз гляжу на все тяжелым взглядом,
как на безвредную уж даль!
В последний раз упрусь я лбом
и в океан, и в скуку paquetbot.
Еще люблю я зимнюю волну, игру ее батиста
и серую ея метель
над сплавом олова и аметиста —
под нею падает и рюмка, и Hotel.
Вот-вот
планета втянет свой живот!
Но нет тоски по пресловутой Тверди,
и страха нет — мне страшен только сноб,
а снобы на волнах, как в бридже, все те же жерди.
В последний раз мой бедный лоб
припоминает холодно житейские улики —
и в жизни дороги уж мне не люди — только лики!

Borisella, 1933

Борис Григорьев
Посвящает великому народу еврейскому
одинокий брат



Земля народная. Из цикла «Расея». 1918

Поэма «Расея» публикуется по тексту газеты «Новое русское слово» (Нью-Йорк. 1934, март).

...обла, озорна... — см. «Чудище обло, озорно, огромно с тризевной и лаей...» (В. К. Тредиаковский. «Тилемахида»).

...не поможет даже и еврей. — в письме М. Добужинскому от 23 мая 1931 г. Григорьев делился теми же наблюдениями: «Как в Южной Америке среди жужелиц вы отдыхаете на англо-саксе, так здесь вы ищете брюнета, чтобы поведать ему о вашем духовном багаже, товаре, и рады случаю познакомиться с евреем. Вот евреи настоящие здесь пророки и друзья людей, в особенности друзья нашему брату-художнику» (Цит. по: Наше наследие, 1990, № 4. Публ. В. Сапогова).

...три моих тома — вероятно, речь идет об изданиях, задуманных Григорьевым в 1918 г. В предисловии к «Расее» он писал: «Мысль, пришедшая В. М. Ясному, выпустить в свет ряд моих книг, как то: «Расея», «Intimite», «Париж» и др., — увлекла меня прежде всего потому, что время, переживаемое нами, так неестественно перегружено роковыми для человека событиями, так ожесточенно бурно». Напечатаны были только две первые книги.

И линией премудрой... — в статье «Линия» (1918) встречается также сравнение линии с молнией.

...то барыня в рогоже... — имеется в виду картина «Полдень работницы» («Отдых в поле»).

Вытегорским красным летом... — в Вытегре, Олонецкой губернии, ныне Вологодской области, Григорьев повстречал поэта Николая Клюева, который оказал глубокое воздействие на художника. Исполненный в 1918 г. портрет был воспроизведен на фронтисписе книги стихов Клюева «Песнослов» (Пг.,1919). Н. Евреинов приводил отрывок из письма Григорьева от 12 апреля 1930 г.: «Клюев, говорят (да он и сам приносил мне 10 000 керенок за то, что я излечил от падучей), больше не страдает после моего портрета».

Шиш (устар.) — бродяга, разбойник.

...Да мне не энтот вид, а «виды»! — игра слов-омонимов: вид — пейзаж и вид на жительство.

Загадал тогда я Карамазову Алеше... — о цикле иллюстраций к роману Достоевского «Братья Карамазовы» см. в воспоминаниях художника Ю. Черкесова.

Луначарского катары... — см. примечание к эссе «О новом».

У Коненкова так леший... — скульптор С. Т. Коненков вспоминал, как подарил Григорьеву одну из своих фигурок, выполненных из пней или корневищ: «Борис Григорьев как-то пришел в гости. Долго ахал и охал по поводу моих деревяшек, а под конец и вовсе приклеился взглядом к миниатюре «Маленький пан с больными зубами».

— Вот если бы я знал, что мне когда-нибудь достанется эта трогательная вещь, я тотчас взялся бы за писание портрета ее создателя...

Своему приятелю и моему доброму знакомому Сергею Васильевичу Рахманинову он говорил про этюд «Медведь»:

— От этого «Медведя» шкурой пахнет» (Коненков С. Т. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1984).

Девятнадцатый последний год... — в октябре 1919 г. Григорьев с женой и сыном тайно переправился на ялике в Финляндию (см. ниже: «Плыл я долго...»). Иной вариант этих строк сохранился на титульном листе книги «Расея» (Берлин, 1922):

> Девятнадцатый последний год, ты будешь первым
> годом правды и моей «Расеи»,
> как Брюлова стал «Последний день Помпеи»
> первым русским днем отчизны-стервы!



Старик и девка. Из цикла «Расея». Начало 1920-х годов



Портрет жены с сыном. 1918

... «первым русским днем»... — Пушкин.

Твой «последний день Помпеи»
Да будет первым русским днем!

(Примеч. Б. Григорьева)

Ср. также с циклом Саши Черного «Русская Помпея» (1919).

Я верен был моей природе! — см. в письме Е. И. Замятину от 22 ноября 1925 г.: «Я... предпочитаю игру всякой напыщенной трагедии, и для меня искусство — личное счастье, а не в услужении ни пользе, ни отечеству, ни болвану-критике».

Clare Lindberg — Клара Иогановна Линденберг (1864—1920?), мать Бориса Григорьева, шведка по национальности, по преданию родилась на пароходе по пути в Америку.

...в наш широкий дом... — детство и гимназические годы Бориса Григорьева прошли в Рыбинске, в доме Волжско-Камского банка на берегу Волги. В 1903 г. он поступил в Строгановское художественно-промышленное училище и до 1907 г. жил в Москве.

...во хмелю еще я не хмелел... — см. фрагмент романа В. Каменского «Стенька Разин»: «Пьян, пьянее заморского, дюжего вина, пьян от молодости. Весел, веселее хмельного застольного веселья, весел от воли. И нет ничего. И ничего не надо. И нет ничего. И все есть».

...«порфироносная» склонялась головою... — парафраз строк поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник»:

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.

terre a'terre (фр.) — пошлая, будничная.

...обойдет тебя — дуру — как Геркулес... — после классических двенадцати подвигов Геракл (Геркулес) прославился, в частности, когда через пролом (лаз) ворвался в Трою во время войны с царем Лаомедонтом.

Золотарь — по В. И. Далю, промышляющий с воли чисткою отхожих мест.

...и не божий гнев — монастырский блеф, — тот же мотив в строках, сохраненных Д. Бурлюком:

Смешно утонут были,
Как не были, не жили,
А с ними блеф небес —
Христос и бес.

...«просперити»... — prosperity (англ.)— процветание, благосостояние.

...и в жизни дороги уж мне не люди — только лики! — наиболее значительным своим произведением Григорьев считал картину «Лики мира: 1920—1931».

Посвящает великому народу еврейскому одинокий брат — в посвящении поэмы автор парадоксально переосмысляет эпиграф романа Василия Каменского «Стенька Разин» (1915): «Великому народу Русскому — Матерый сын». Григорьев вольно или невольно создает оппозиции понятий (русский — еврейский, сын — пасынок), жанровых форм (роман — сатира) и даже ставит посвящение не в начале, а в конце текста.

Borisella — название виллы (от имен супругов Бориса и Эли Григорьевых), построенной ими на юге Франции, близ Ниццы.

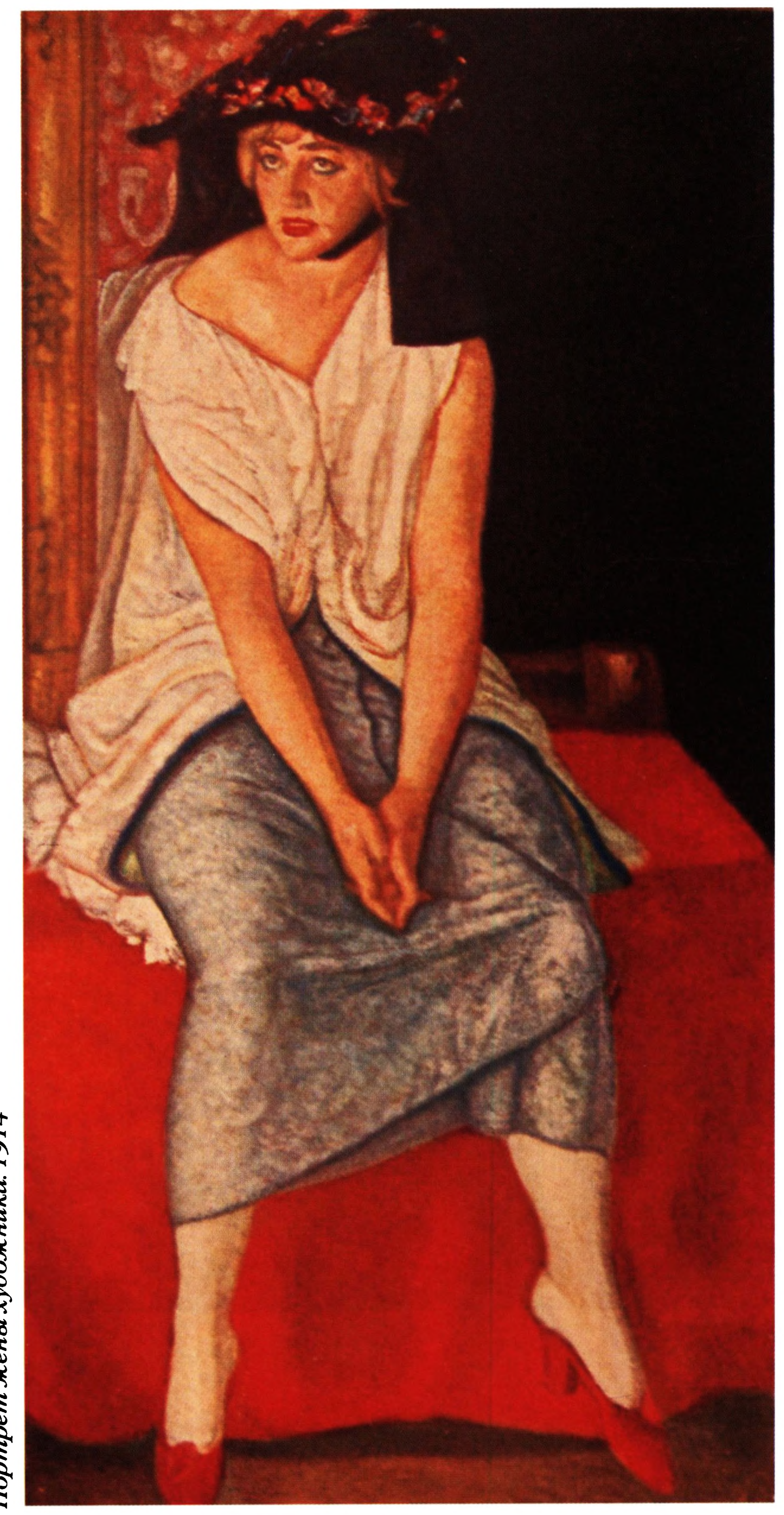


Дама в черном. 1910-е годы

ЮНЫЕ ЛУЧИ

РОМАН

Памяти Екатерины Небратенко



Портрет жены художника. 1914

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВИЛЛА «LORELEI»



Женщина перед диваном.1914

ГЛАВА I

Рекль был очень любезен. Он раздобыл репродукции Сегантини и послал их Георгию через Лику: как он найдет эти «картинки»?

А когда пришел из канцелярии к пятичасовому чаю, вынул из карманов жилета две усовершенствованные бензиновые спичечницы и вертел их в руках.

Естественно, одна из них принадлежала Георгию.

Простодушный адвокат строил гримасы, что свидетельствовало о всеобщем примирении, и сообщил, что на имя Георгия выписал из Венгрии билет, по которому он мог выиграть один миллион крон. Ведь ему, австрийцу, запрещено вмешиваться в венгерские дела... Но все же он позволяет себе надеяться, что Георгий поделится с ним таким огромным капиталом?..

В садовом домике, где Георгий работал, все было вымыто и вычищено, а огромный мраморный умывальник, простоявший там всю зиму, был придвинут в другое место.

Георгий вспомнил: однажды он высказался о нем так, что умывальник мог бы ему пригодиться как рабочий стол, но, если разрешат ему передвинуть этот большой предмет в другое место, он будет очень благодарен.

Теперь умывальник стоял еще хуже, но дело не в этом, и сердце его примиряется...

Лика рядится в новые платья: ярко-красные и синие, очень плотно прилегающие к телу, гладкие и в полосках, которые продолжаются до колен, а внизу кокетливо и туго перетягивают ноги, подобно множеству обручей.

Она носит какие-то сумасшедшие чулки. Ноги ее превращаются в маленькие и стройные, локоны заботливо расчесаны и собраны в тугой столб, челка на лбу вновь подстрижена и молодит лицо. Еще два-три локона щекочут ее обнаженную, немного длинную шею, и темного золота шнур, перехватывая ее под грудью, тяжело падает на выпуклые ягодицы.

Лика сама хочет написать его любимому другу, несмотря на всю ее вражду к его душе, которую Георгий так бескорыстно полюбил...

Она выдвинула гнутый ящичек, напоминавший времена Людовика XV, и достала изящную маленькую бумагу и конверт на шелковой подкладке неопределенного цвета.

А слезы так и капали, грудь так и рыдала, так и прыгала...

Георгий стоял поодаль и глядел на ее молодую высокую фигуру, на благоухающие цвета одежд, сквозь прозрачные шелковые лепестки которых просвечивало тело.

Он чувствовал, как шевелились и морщились от теплого благоухания ее молодой кожи немного посеревшие кружева белья... И он отвел взор на юную зелень лугов, на развертывающиеся цветы яблонь, чтобы насладиться полностью этим редким сочетанием весенних даров.

Невыразимая любовь к жизни сдавила ему грудь до боли, и он едва услышал собственный звук, прорвавшийся сквозь горло, задавленное волей...

Низкие, но еще жаркие лучи желанного солнца радостно пригревали его глаза, из которых готовы были брызнуть слезы, накипевшие слезы, вогнанные глубоко в душу вечно разборчивым и жестоким его мозгом.

Тяжело дыша, он приблизился к волосам женщины, чтобы насладиться их запахом. Он глядел на ее нежную шею, линии которой струились вниз и исчезали в бурном потоке ее маленьких грудей...

Да, так сильно жила Лика, когда писала письмо своему врагу, к которому была слишком жестока.

А когда она кончила, Георгий целовал ее влажные глаза и вечно мокрый яркий рот, как брат, как ревнивый брат...

Тянулись дни, и, чтобы не обратить просьбу Лики со слезами и жертвами в прихоть, Георгий крепился.

Его окружали самые изысканные заботы и очень снисходительное отношение.

Даже служанка Роза, к которой он проявлял всегда очень теплое чувство, потому что ее все обижали, не хотела огорчать молодого барина, когда он однажды проходил мимо, а она ползала по полу с тряпкой в руках.

Роза быстро вытерла локтем красные от слез глаза и поднялась на ноги, чтобы поздороваться.

— Почему вы плакали, Роза? — спросил Георгий таким голосом, который мог бы расположить к себе служанку.

Вот уже двое суток, как она моет полы и там в канцелярии, и здесь в некоторых комнатах. Никто другой не хочет этого делать. Анна и Амалия только и бегают в спальню, чтобы пошить себе перед праздниками...

— Почему вы не скажете старой барыне, что вам одной трудно?

— Что вы, молодой барин, разве можно... Старая барыня такая строгая...

Она снова вытерла слезы.

Почему Роза прямо не сказала: «старая ведьма» про эту розовую старуху, которая делала больше ошибок, нежели любая из ее служанок. Все они окончили пятиклассную обязательную школу, но никто не может сказать,

чему научилась «тетушка Анна» среди своих немецких эстонцев у берегов Балтийского моря...

Это удивительно, как ей повезло. Вероятно, ей сослужили верную службу ее широченные плечи, как у петербургского артельщика какого-нибудь склада мебели, ее узкие бедра и упитанная жиром, ползающая по полу талия.

А эти рачьи клешни вместо человеческих рук с широкими и пухлыми ладонями — разве они не загребли сначала капиталиста, а потом молодого адвоката с долгами?..

Каких только анекдотов не ходило о «короткорукой барыне»... Ведь она не могла достать до своих бедер, а это ведь ужасно...

Георгий очнулся от раздумий, причинивших ему злое выражение, и взглянул на Розу. Она продолжала усердно тереть пол. Что-то робкое заметил он в бедной девушке; в ней было столько женственного. Руки и ноги ее были малы, как у ребенка.

И он отдал служанке пакет с орехами, который купил для Лики. Он подумал:

«Вся обязанность Розы заключалась только в том, чтобы вести уход за птицами, кормить и выводить гулять в сад маленьких барашков, которых резали одного за другим, и содержать в чистоте канцелярию».

И снова припомнил розовую старуху с маленькими, растрепавшимися на висках светлыми локонами...

На каждом шагу замечал он ее заботы, а также и свои собственные прихоти, которые она ему подстраивала. И он должен был на каждом шагу благодарить ее за это.

Но его тяготило изысканное внимание к себе «аристократов» крови, и, несмотря на научную и духовную их невзрачность, он все же чувствовал себя простолюдином...

А между тем обитателям виллы «Lorelei» снова казалось, что Георгий недоволен, что он еще дуется или опять обижен чем-нибудь в их неосторожном обхождении с ним.

Однажды Лика тонко подметила бурчание в его желудке. Таким образом должно было произойти изменение в строгом расписании аристократического дня. Он получил внушительный бутерброд за час до обеда.

Снова наступили холода, и Георгий должен был выбраться из садового домика со стеклянными стенами.

Теперь он чаще сидел в божественных креслах кабинета, напоминавших ему половину ванны, и временами забывался в предоставленном ему полном одиночестве.

Стильные шкафы для книг из красного дерева и с колонками, туго набитые и сверкавшие переплетами как «золотая библиотека» для детей, что разбивало солидное настроение комнаты для взрослых, навевали на него странные сны. Он подолгу прислушивался к их бледным образам, а в руках его появлялась записная книжка...

И он замечает сдержанные шаги Лики...

Она поднялась на пальцах и тихо проходит мимо, чтобы не обратить на себя внимания.

«Как странно, — думает он, — в ней случилось то, чему я никогда бы не поверил. Она вдруг деликатна к человеку, который записывает, может быть, свои расходы, тогда как целые годы тому свидетели — она сознательно вертелась и шумела около меня, мешая мне работать».

«Безумный или гений» — это была не какая-нибудь тема... Но разве он не привык потом к ее шуму? Разве он не уходил в душные кабаки столицы, чтобы записать там несколько самых светлых своих мыслей?

«Как странно», — повторил Георгий, когда тонкая и высокая фигура Лики — с сильно перетянутыми ногами, беззвучно скрылась за глухими темно-красными портьерами.

И ему припомнилось еще кое-что из ее отношений к его писаниям, которые он всячески оберегал от журналов и газет. С этим воспоминанием всегда неизбежно было связано ее мертвенно-равнодушное лицо... Тогда как теперь Лика сияла словно верующая в праздничном храме, и в глазах ее он заметил почти то же чувство покорности, подавленности, какое она проявила однажды, стоя перед божественным сооружением Stephankirche в Вене.

Неужели в такой короткий срок Лика могла сделать такой огромный шаг?

Но Георгий быстро убедился, что это был обман, маска, которую женщина надела для того, чтобы подготовить свою просьбу.

Он не ошибся, когда потом, желая проверить себя в этом подозрении, заметил в Лике не сходившую с лица снисходительную улыбку, свидетельствовавшую о ее долготерпении и многих жертвах.

Но однажды ему бросилась в голову мысль:

«А вдруг Лика догадалась, что самое сильное средство, которым она могла бы вернуть меня к себе, — это деликатность и уважение к моим писаниям. И если к этому прибавить еще тонкое кокетство: нежнейшие и прозрачные одежды, легкую грусть... О, тогда горе ему, несчастному, готовому из малого создать иллюзию великого в своей бесконечной благодарности... Горе ему, потому что душа ее останется все тою же, не приспособленной любить бескорыстно, равнодушной ко всему трепетному... И в этой жизни мгновений она всегда будет черным пятном на его солнце... Всегда будет подле него, старая и мелочная, со своими безделушками домашнего очага и мелким женским тщеславием перед докучными подругами, этим бедным фоном, на котором божественно лучится вечно юная, прекрасная женщина.

Старуха!..» — подумал Георгий и вздрогнул.

Его охватила жуткая дрожь. Сознание подвело его к пропасти... И здесь, на краю гибели, он вспомнил о той ответственности, которую принял на себя за вложенную в его душу самим Господом великую любовь к жизни.

И, сидя в удобных креслах, он очень покойно мог обдумать то многое, что было у него на душе.

Бедная Лика, у нее такое огромное желание поскорее успокоиться в этой трудной земной жизни! Иногда она угадывает в ней скромное сознание себя прекрасной. О, тогда она способна зачаровать каждого своим необыкновенным умением одеваться. Одежды ее всегда художественны, если только можно так выразиться, принимая во внимание ее рукоделия из различных материй и шелковых нитей, в чем сказывался не только вкус, но особое образование многолетней художественной школы.

Иногда он глядел на нее откуда-нибудь из-за тяжелой портьеры, и у него являлись мысли о ее будущем.

Но способна ли была Лика раскрыть свою душу кому-нибудь из многочисленных своих поклонников?

Инженеры, адвокаты не внушали ей чувства равенства, она слишком хорошо умела угадывать в этих будничных людях ординарные души, приспособленные для односторонних и зависимых взглядов; их недалекость в области чтения и знания произведений искусств, эта будничная уравновешенность, сытая и широкая рука, созданная для деловых встреч, мелкая рассудочность и самая их казенная внешность, которая напоминала ей выгодно разбитую на нудные прямоугольные клетки казарму...

Не нагоняло ли все это на Лику то странное, не всякому понятное чувство тоски, которое мог бы испытать художник-строитель, бродя среди бездушных житейских улиц?

Для всего этого они слишком «покорные слуги»...

Георгий испытал сильное желание взять белые руки Лики в свои, долго глядеть в ее робкие, когда на них смотрят, быстро бегающие под нежными веками глаза и высказать ей всю свою рабскую зависимость перед тою великою ответственностью, на которую обрекла его какая-то странная, почти истерическая любовь его к жизни со всеми ее порочными закоулками, в которых столь необходимо ему временно останавливаться, а может, и погибнуть...

Ведь он хотя и «покорный слуга» какого-нибудь делового пути, но зато он совершенно не умеет разбираться в миллионах путей людских, он не покупает планов у старших и бродит по улицам земли без всякого направления, чтобы лучше познать ее закоулки, прикованный вечно новым, быть может, далеко не прекрасным, а порою вызывающим ужас...

Ему хотелось рассказывать Лике и о том, как рискованны его блуждания, как нечистоплотен может он быть в своей любознательности к закоулкам земли, как скучен, вечно подводя итоги своих скитальческих дней, зачарованный удивительным разнообразием и причудливостью мира...

Ему, может быть, хотелось даже обнадежить ее скромной радостью и скромной печалью от адвокатов и инженеров, лучший из которых всегда стал бы сознавать ее превосходство над ним, а потому постарался бы принести своей необыкновенной находке необходимый для нее покой. Быть может, покой драгоценной вещицы, на которую глядят лишь издали ...

Разве Лика стала менее богата, после того как расточала свои блага тому, кто был столь своенравным судьей над земными благами, но кто постарался вернуть ее нежное существо в руки судьбы...

Но он не мог бы успокоить женщину, указав ей на одного из многочисленных ее поклонников, даже среди художников пера, кисти и звука. Они, быть может, как и он, бродят по закоулкам земли — одни равнодушнее, другие ревностнее, одни хвастаясь, другие жалуясь…

Грустный взор Георгия давно покоился на нежных линиях немного длинной шеи Лики.

Он глубоко проникнул в ее душу и почувствовал, что все его слова были бы слишком грубыми. А она уже не смогла бы снова опуститься до среднего уровня людей, к которым принадлежала когда-то сама.

Теперь она могла признать равными себе только тех из людей, кто еще не променял свою свободу на большее или меньшее количество золотых монет, на большую или меньшую унизительность социального значения.

Миллионы людей, по ее мнению, составляют лишь одно лицо — равнодушное и тупое, которое каждое утро просыпается за ее задернутым окном и моется и чистится до самой ночи. Только художник, этот божественный грешник, мог бы пленить ее.

Георгию мучительно стало жаль женщину за то, что она была женщиной…

Быть может, она будет переходить от одного к другому, как прекрасное дитя, среди взрослых одной и той же семьи, где каждый может ласкать свою прекрасную малютку до тех пор, пока милое дитя не наскучит взрослому…

«Прекрасная женщина, я не могу тебе высказать всех этих слов. Я слишком ценю наивный покой твоих глаз, плененных отливами шелков, и эту грешную твою улыбку в углах рта, вечно мокрого и яркого рта…»

Он тихо подошел к Лике и обнял ее; ему припомнился невыпитый поцелуй, павший жертвой справедливости…



ГЛАВА II

Несмотря на то что Георгию Буреву очень хорошо было известно мнение окружавших его людей о литературе, его все же застали на месте преступления...

Он сидел в старом кресле госпожи Рекль с книжкой в руках, как трус, который хотел скрыть свою вину.

Не потерял ли он, на самом деле, всякий стыд? И это могло случиться с ним в те дни, когда еще не улеглось обостренное внимание к нему обитателей виллы, до мелочности проявлявших свои примиренные души... Не слышал ли он очень ясно шорох собравшихся к обеду? Но не постарался ли убедить себя, что это пересыпались в печке мелкие кусочки каменного угля? И не продолжал ли писать как сумасшедший?..

Георгий окончательно растерялся: целое общество веселых и запыхавшихся людей тянуло его к столу. У всех были такие добрые глаза. Никто не хотел еще раз напомнить ему о его недостатках. У каждого был такой вид, как будто он сидел себе в кресле и только их и ждал, чтобы похвастаться какой-нибудь японской «картинкой»...

Кто-то даже потрепал его по плечу, совсем так же, как если бы хотел сдвинуть с места лошадь.

Георгий почувствовал, как на лице его появилась благодарная улыбка.

Сели.

Его ноги под столом вели войну. Он совсем забыл о внешности своих башмаков, забыл даже о том, что вечно несправедливо обиженная служанка Роза так заботливо их вычистила... Ему даже хотелось крикнуть от боли, которую он причинил в пальцах одной ноги, благодаря другой — так он был зол на себя.

Глупая в радости и молодости Лика обратилась к нему так громко, что все взоры устремились в его сторону.

— Он еще не может очнуться от своих мыслей, он еще думает...

Георгий почти вырвал из руки ее тарелку с супом и быстро принялся за еду, забыв поблагодарить госпожу Рекль.



Разговоры о нарядах. Рисунок для журнала «Лукоморье» (1916. № 22)

«Откуда такое доверие у Лики к моим мыслям? Неужели она и в самом деле затеяла эту игру в деликатность?» — думал он.

Но имела ли она право так издеваться над ним в присутствии стольких людей, так недавно еще смеявшихся над его «бездарностью»?..

И он ненавидел Лику в эти минуты, вместе с ее грешной улыбкой в углах рта...

Госпожа Рекль медленно и значительно разливала свой суп и искоса поглядывала на Георгия.

Глаза их встретились; быть может, что-то очень злое в ней ошеломило его, и он снова наклонился над тарелкой, проклиная в душе ее отвратительную внешность, ее толстое лицо, которое еще до еды краснело и пухло.

Вдруг он услышал свое собственное имя.

— Георгий не должен торопиться есть — это нездорово. Суп очень горяч и нужно помешать его ложкой.

Он поднял голову и обвел глазами весь стол.

Те, которые получили свой суп еще раньше, чем он, скромно сидели и ждали. Руки они держали под столом, а глаза в ту сторону, где немного повышенно дышала маэстро — хозяйка.

О, в ней каждая точка посвятила себя заботе о доме!

И он понял, в чем дело. Он не должен был приступать к еде, прежде чем сама госпожа Рекль не замочила ложку в супе. Это ее уже такое правило, а может, и всех аристократов еды...

Но суп вовсе не был настолько горячим, насколько он теперь показался Георгию.

«И все-таки, — заключил он, — мне приятнее отношение этой розовой старухи, которая тонко дает понять свою правду, нежели отношение Лики, которая тонко навязывает мне свою льстивую ложь... «

Он даже пошутил с заботливой хозяйкой. Как часто он прячет свои ошибки, чтобы не покраснеть перед добрыми друзьями, и как часто Лика расхваливает их перед всеми, чтобы угодить ему.

С каждым днем он серьезнее думал о благах, предоставленных ему в богатой, изящной вилле.

Ему стало казаться, что он неблагодарный; он не хотел воспользоваться ничем для своего здоровья и для успокоения нервов. Не говоря уже о том, что заботы о нем были слишком бескорыстны. А госпожа Рекль могла бы даже обидеться, как только он заговорил бы с нею о своем отъезде.

Погода настолько испортилась, что пошел снег. Хлопья его были так велики и так пушисты, что за один только день снова все поля приняли зимний вид. И только бедные цветы на яблонях, у самого окна комнаты Рекля, еще напоминали весну, ее горячие случайные дни.

Георгий сорвал несколько этих бедных цветов, они потеряли свой запах, даже самые клейкие внутренние лепестки были без всякого запаха.

Он кашлял, быть может от излишка курения, но ему стало казаться, что он болен грудью...

А в Петербурге не только климат вреден для него, но там можно заболеть холерой, в особенности если принять во внимание его преступную рассеянность. И если упомянуть о его работе, за которую он снова должен будет взяться, то она совсем его погубит.

Он сидел в удобных креслах и думал о том, как хорошо было бы не слушаться некоторое время велений этого вечно придирчивого и настойчивого мозга, всю корыстность свою вечно сваливавшего на справедливость. Ему хотелось уснуть... Он так устал, он так нуждался в теплой и нежной руке заботливой Лики. А она была бы рада остаться с ним наедине и принести ему свои ласки, задать несколько своих, давно назревших, вопросов и получить от него ответы...

Георгий позвал ее.

Но Лика резвилась в саду: несмотря на дурную погоду, она словно вновь переживала осеннюю порошу, когда в первый раз выпадает глубокий белый снег и привлекает взор, хитрый на выдумки...

А когда он нашел ее в ее радости, ему стало совестно признаться в своей усталости. Он снова уединился, чтобы вести тяжелую борьбу с занывшим сердцем. Он должен был обновить сознание рядом новых и новых изысканий крепкого и упрямого мозга.

ГЛАВА III

«Господи, не ревность ли, этот старый порок моих предков-простолюдинов, пробудилась во мне?..» — подумал Георгий накануне своего срока, назначенного ему Ликой.

Его поражало необыкновенное кокетство ее со всеми мужчинами.

С каждым днем она делала новые и новые открытия.

За обедом она опять громко заявила, что не ожидала встретить в таком невзрачном городишке необыкновенного красавца... Когда она пришла в меняльную контору, он сидел там и приглаживал свои красивые усы, а потом встал и был очень любезен...

Рекль сделал обиженное лицо. Тетушка Анна заметила это и, чтобы вернуть его к самолюбию, которое он всегда прятал перед Ликой, сказала:

— Ты не можешь себе представить, Лика, как все женщины здесь бегают за моим Густлхен.

Она вытянула свои желтые зубы, купленные ею у господина Кратца на Kartnerstrasse, и впилась ими в полное лицо добродушного адвоката.

— Дуры, — сказала Лика. — Я бы не могла влюбиться в женатого человека... По-моему, тот, кого я видела в меняльной лавке, самый красивый здесь...

— Конечно, за исключением Густлхена,— нервничала госпожа Рекль.

И, глядя на обиженного дядю, Лика добавила:

— Конечно, ты сама виновата, что он такой толстый...

Она громко смеялась.

И Георгий специально был в конторе, для того чтобы убедиться в красоте этого человека.

Кокетство Лики вовсе не было для него новостью, оно всегда ему напоминало тонкую куртизанку.

Ее раскрытый мокрый рот и эта грешная улыбка в углах рта подчиняли каждого, кто только бывал в ее обществе. Иногда она становилась очень кроткой и допускала ласки, из которых мужчины создавали целое желание женщины и приносили к ее ногам свои хитрости.

А Бог знает, можно ли было утверждать, что подобная игра кончалась всегда невинно... В ней было все подстроено так, чтобы возбудить обе страсти. Во всяком случае, подобная игра заслуживала подозрения.

Георгий вспомнил о своих друзьях.

Некоторые из них при первой же встрече с Ликой проявляли к нему вражду, — конечно, по причинам увлечении ею как женщиной. Но он не слишком упрекал их. Лика прекрасна: гибкая как плетка, она носит самые узкие юбки, яркие мокрые губки ее вызывающи, улыбка в углах рта почти советует разврат...

Все это должно заражать настоящего мужчину ядом всесокрушающей страсти.

Да, Лику хотелось стегнуть или придушить, так жестоко играла она с теми друзьями его, у которых еще, быть может, не иссякла деликатность к нему как к другу.

А как было мучительно наблюдать за друзьями...

Но оказалось, что даже лучшие из них не настолько были тонки, чтобы могли покраснеть за эту забывчивость в его присутствии.

Не вынужден ли был он делать добродушное лицо и хлопотать по хозяйству больше, чем требовалось вообще, а от мужчины в особенности?..

И немножко неприятно становилось у него на душе, когда замечал он в обращениях какого-нибудь «друга» чрезмерную развязность...



Из цикла «Intimité». 1918

О, конечно, это делалось только потому, что он, Георгий Бурев, был слишком туп и слишком непроницателен и не в меру хлопотал и заботился о дорогом госте...

Георгий долго еще думал о своем новом чувстве, похожем на ревность и обеспокоившем его внутренний мир.

Не была ли это новая попытка Лики удержать его еще одну неделю?..

И душа его замирала перед близостью отъезда. Но ему неприятно было это ощущение. Ему хотелось успокоиться и обдумать все случившееся над его головой, которая достаточно отупела за эту странную неделю в его короткой жизни.

Но странное состояние его души, от которого он так хотел избавиться, как и всегда разбираясь в разных мелочах, было сильнее его крепкого мозга.

На этот раз Георгий вышел из виллы, чтобы спрятаться где-нибудь с бутылкой вина. Под влиянием наркоза он вновь припомнил своих друзей, он вновь думал о них.

Однажды, когда у него собралась особенно веселая компания, в честь которой Лика надела самые изысканные и прозрачные платья, у него явилось непреодолимое желание дать почувствовать друзьям свое присутствие...

И он сказал:

— Мне как-то вдруг, господа, пришло в голову разослать всем моим знакомым карточки с переменой моего адреса...

Один из живописцев: «Ты переезжаешь?»

«Нет, остаюсь здесь»...

Он же: «В таком случай, дорогой Георгий, твоим знакомым пришлось бы понапрасну пройтись?..»

«Но они так привыкли к этому, имея в руках верный адрес»...

Один из поэтов: «Здорово!»

Другой из писателей: «А те, которые еще не привыкли?»

«Их нет здесь»...

Странное настроение овладело им тогда. Он помнил только одно, что неподвижно сидел на своем стуле и глядел в какую-то мутную даль, словно он стоял в огромном туманном поле, на котором то там, то здесь появлялись и исчезали призраки людей... И вдруг, перед самыми глазами его, появились какие-то знакомые фигуры; они не повернулись к нему лицами, а медленно исчезли в серой мгле, покачиваясь на своих бедрах.

А когда он очнулся, в комнате не было никого из его друзей...

Словно мертвая сидела Лика у края беспорядочного стола, но она отчетливо произнесла:

— Какой ты низкий грубиян.

А когда ему захотелось уйти, Лика остановила его:

— Не думаешь ли ты, что мне приятно дышать этим воздухом?

— Да, но если бы она умела дышать не только носом, но и душою, то давно заметила бы, что один дым уже вышел...

Молодая женщина с большими руками принесла кучу журналов и положила ему на стол.

Нет, он не хочет читать, он просто пришел рассеяться...

— Да, так, — ответила женщина, растягивая свою отвратительную пару слов, столь банальную среди немцев.

Вино действовало. В голову вошло что-то постороннее, оно давило на мозг и притупляло остроту сознания.

Георгию хотелось шутить.

— Куда ты пойдешь, теперь ночь?.. — вновь припомнился ему голос Лики.

Но разве она сама не сказала, что ей неприятно дышать этим дымом? Во всяком случае, никто не останется в убытке. Бывают люди, покой которых не приносит им радости. Человек у входа в дом получит три рубля. Она что-то сказала?.. Да, смотря по тому, кто как торгуется. Миллионер мог бы дать сто тысяч, а по общечеловеческому шаблону, который приучил слугу к благодарности, ему следует получить от пяти до двадцати копеек. Но а так как они ведь никогда не торгуются, то...

— Боже, за что я так несчастна!..

Ну вот, он так и думал, что она возразит. Ей вовсе не было жаль мужика, ей было жаль трех рублей, которых стоила бы праздная ночь... Очень жалко, что она не может пойти с ним вместе. Тогда ее идея экономии, хотя бы наполовину, была последовательна. Праздная ночь стоила бы ему лишь полтора рубля...

— Ха, ха, ха, ха... — хохотал Георгий.

Несмотря на то что был пьян, он очень удивился, когда услышал за своей спиной разговор столпившихся провинциалов.

Его называли «русским князем», тем самым, что приехал к «русской знатной даме», поселившейся в их маленьком городке в вилле «Lorelei», принадлежавшей богатейшему фабриканту, умершему в прошлом году.

ГЛАВА IV

Георгий вздрогнул всем телом и отбросил одеяло.

Он взглянул в окно и сквозь легкие занавески в левом углу увидел яркое солнечное пятно.

«Еще так рано, — подумал он, и что-то заныло в его душе. — Солнце!» — пронеслось в его мыслях.

Он глядел на яркое пятно, и у него было такое чувство, словно он проснулся в праздник. Но не мог ни о чем думать, только прислушивался к стуку своего сердца и гулу какой-то странной мысли, которую никак не мог оформить в понятие.

Он быстро стал одеваться.

Лика спала, отвернувшись и крепко сомкнув веки.

Она показалась ему больной — лицо ее было так худо и бледно.

Но он спешил, и едва прикоснулся к дверям, как Лика приподнялась на локтях, устремила на него испуганные глаза.

— Ты уходишь? — ласково спросила она.

— Да, да...

Он не сказал больше ни слова.

Нужная глубина неба вдохнула в его душу редкую радость, а солнце успокаивало вздрагивавшие плечи. Оно пригревало, словно теплая рука матери, любовно и неустально поглаживая по телу. Воздух был такой мягкий и такой теплый. Георгий невольно улыбнулся всему.

Грудь дышала так легко, как будто она выросла в необъятный сосуд, готовый вместить в себя все это великое, теплое небо.

Он ежеминутно вздрагивал от внутренней радости, которая еще не успела разойтись по его жилам, и простирал руки, словно в молитве. Они показались ему крепкими и сильными, и он почувствовал, как глаза намокли от слез.

Теплая грязь на улицах не казалась ему чем-то страшным, и он забыл о своих светло-желтых башмаках, так заботливо вычищенных Розой.



Две женщины. Из цикла «Intimité». 1916

Кое-где, в теневых углах домов и заборов, лежал протаявший темный снег.

Георгий прошел по безлюдным улочкам к главному каналу. Он был настолько переполнен, что вода разливалась по садам и затопила почти всю улицу.

Всюду, на маленьких подмостках, согнувшись стояли женщины и полоскали белье. Они весело перекликались, и звуки, которые рождали стекавшие с белья струйки воды, словно смеялись.

Он заметил Розу: платье ее было высоко поднято, а тонкие ноги были красивы. Она оглянулась и спустила платье, зажав его между коленями.

И десятки голосов выкрикивали ему свои утренние приветствия, столь симпатичные в устах австриек.

Вода в канале быстро неслась, и ее весенний шум радостно подхватывал молодые голоса служанок.

Вот они все пришли сюда, чтобы приготовить к праздникам свои кружевные фартучки. Эти совсем неплохо образованные служанки, в головы которых, быть может, не раз приходила мысль о собственном превосходстве над их госпожами.

Они не пели беззаботным голосом свои глубокие народные песни, как русские девушки и женщины, — языки их остры, а в сердцах гнев и тоска...

И служанки шутили с молодым барином...

Может быть, Роза слишком жарко натопила печку? Да она не могла думать, что будет такое теплое утро. И разве молодая барыня также проснулась? Она побежит в дом сказать, чтобы приготовили кофе. Старая барыня еще не скоро...

— Нет, нет... — сказал Георгий и пошел вдоль кривого маленького канала, с обеих сторон которого цвели яблони и пестрели клумбы. Он глубоко вдыхал неуловимый запах в воздухе, как будто и в самом деле мог что-нибудь понимать в этом со своим хроническим насморком...

Но ему показалось, что это пахли яблони.

Зацветшие их ветки нависали над самой водой и отражались в тенях канала, как в мутно синих зеркалах. По ним скакали быстрые смелые синицы, громко выкрикивая свои утренние приветствия.

Глаза Георгия долго оставались неподвижными на изумруде трав, едва шуршавших над водой.

Он думал о неизбежном, что должно снова привести его в мертвый угол одного из петербургских домов с их закопченными и темными дворами и неумолчными шарманками, который будут терзать его одним и тем же образом заблудшей души, что плачет, плачет — но никто нигде не может найти ее...

И этот мятый, удушливый асфальт столицы, на углах которой человек, сочетавший на себе красное с медью, навязывает журналы и газеты. Этот изнеможенный юмор; эти сколько-нибудь стояния мысли, и эти старые новости о разнообразии сортов житейской шелухи... Безмолвные редакции — эти притоны таинственных говорунов, весенняя рассеянность счастливых, движущихся быстрою струей по прямому пыльному руслу

улиц, ослепительный блеск растрескавшейся на вывесках краски и визг трамваев…

И это равнодушие деловых людей, среди которых он снова обречен ощущать себя нищим богом…

Солнце сильно пригрело его плечи.

Георгий оберегал эту единственную ласку последнего дня и старался не думать о печальном.

Плененный яркой лентой одной из тех прекрасных австрийских дорог среди огромных полей, которая вьется от Вены до Триеста, он скоро ощутил себя среди могучего простора. И вспомнил о своей душе — она была точно так же разделена, как и этот простор полей, на большие или меньшие прямоугольники…

Он медленно пришел к лесу и, лежа на яркой, душистой траве, которая пищала под ним словно живая, наблюдал за полными грации движениями дикой козы и какой-то причудливой суетливостью целой семьи зайцев.

А потом уснул под теплыми солнечными лучами, как под ласковой рукой давно утраченной им матери…

Солнце было уже высоко, когда Георгий возвращался в виллу «Lorelei».

В воздухе носилось хоровое церковное пение: оно то затихало, то снова поднималось в религиозном экстазе, и уносилось высоко к ясному, теплому небу. И, не переставая ни на минуту, отчаянно вопил жиденький колокол.

Эти столь банальные и привычные звуки, еще более способствующие отупению толпы, а порой нагоняющие на робкого провинциала какую-то истерическую боязнь непонятного…

Он снял шляпу. В узкую уличку, по которой шел, ворвалась толпа католиков с обнаженными головами и пением псалмов. Голоса их были нестройны и крикливы. Но на отдалении все это настоящее безумие казалось ему робкой хвалебной песнью солнцу.

Некоторые из католиков неустанно бормотали молитвы и толкались, как настоящие безумцы. Дети прихрамывали и бежали, также бормоча и выкрикивая заученные слова молитв, едва поспевая за взрослыми. Лица малюток были испуганы, а у некоторых без всякого выражения…

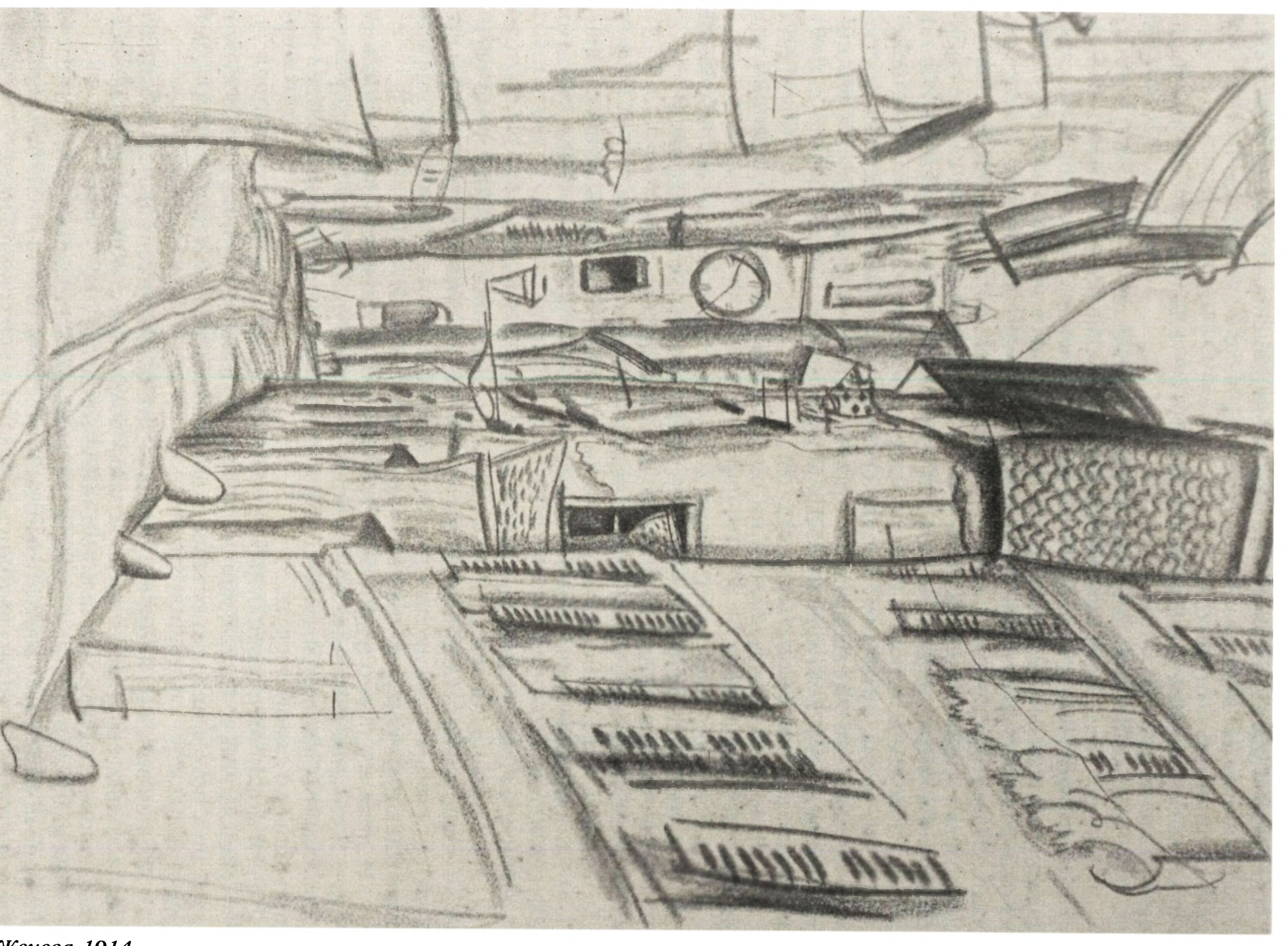
Какой-то человек очень любезно предложил Георгию заблаговременно занять окно в одном из домов на площади. Так как на ней должна совершиться католическая церемония в память воскресшего Христа.

Но, очевидно, об этом уже позаботились его родственники?

Он застал Лику в дурном настроении. И это его обидело. Непременно в такой день, когда на душе было немного легче!

Неужели он должен растратить свою случайную радость на утешение ее уродливой печали?..

Внешность Лики вновь убедила его, что всю последнюю неделю она только лгала, а теперь устала и больше не считалась с ним. Она была кое-как одета, кое-как причесана и повернулась к нему левой стороной лица.



Женева. 1914

Георгий глядел на нелюбимый глаз с боку и нашел, что кожа над ним еще более нависла. На шее он заметил глубокие складки, а на подбородке — какую-то лишнюю выпуклость...

Во всем этом он нашел признаки старости — эти первые вестники ушедшей навсегда юности Лики.

И не сказал ни слова, а только позднее пригласил ее в садовый домик...

— Пожалуйста, Лика, приготовь мне кое-что на дорогу, — попросил он.

— Ты с ума сошел, — вскрикнула Лика. — Ты ни одного слова не сказал за все это время. Мы все думали, что ты останешься здесь все лето. Разве мы не заботились о тебе, неблагодарном, на каждом шагу, кажется, уж все делали... И почти решили все вместе поехать в Алжир на пароходе адвокатов. Дядя позаботился, он сказал, что и ты — адвокат. И разве ты сам не собирался меня писать целых две недели? Я еще не хотела позировать тебе так долго. Разве ты не торопил бедную мадемуазель Эгль с красным платьем?.. А кто, как не ты, пригласил моравок позировать в своих местных костюмах; хорошо, что еще не пришли... Кроме того, ты так восторгался яблонями... Дядя вернулся из суда в Glocknitz и рассказал, что вся дорога в цвету, как будто деревья покрыты там снегом...

— Я не могу остаться здесь ни одного дня. Разве я не наговорил уже дерзостей тетке Анне?..

— А если подумать о петербургском климате, то ты совсем заболеешь там. Вот увидишь, получишь чахотку; я никогда не говорю даром...

— Я, может быть, еще вернусь сюда, здесь так хорошо...

— Нет, я вижу, что ты хочешь отвязаться от меня...

Георгию показалось, что губы Лики искривила наглость, и он сказал:

— Хорош был бы я, если бы еще одну минуту прожил в обществе этих сытых ведьм...

Она ударила кулаком по столу и истерически заявила:

— Нет, ты не поедешь... Я этого не хочу, слышишь — я этого не хочу!

Тогда он очень покойно встал и даже сам удивился этому. Сердце его билось ровно, почти неслышно. Лика была близка к истерике, но Георгий Бурев давно разочаровался в этой женской болезни.

И, видя его равнодушие, она угрожала последним, что еще оставалось у нее. Женщина рискнула стать жертвой своего упорства; она судорожно заявила, что разденется донага, устроит сквозняк и непременно теперь уже просидит до самой смерти...

— Я отдаю тебя твоей судьбе, — покойно сказал Георгий.

Выходя, он услышал, как соскакивали петли с пуговиц... Этот странный звук потом надолго остался в его памяти, возбуждая в нем страсть и ужас.

Он не явился к ужину, а пришел немного позднее и застал в комнате Рекля, только его и заботливую хозяйку дома. Они сидели в глубоких креслах; головы их были молчаливые, понурые...

На квадратном столике из красного дерева был накрыт чай, но никто к нему не прикасался. Георгий заметил ноги Рекля, они были далеко вытянуты под столом, а туфли свалились и лежали подле, скомканные.

«Вероятно, спит», — подумал он и, удивленный отсутствием Лики, спросил немного дрожащим голосом:

— А разве Лика пошла спать?

Госпожа Рекль быстро очнулась от раздумий и повернула к нему лицо, оно было недовольно.

— Я сама хотела бы знать, где пропадает Лика. Ее никто не видел с самого пятичасового чая. Вы были одно время вместе...

— Вероятно, она там и осталась, — задумчиво ответил Георгий и добавил: — В саду, в домике.

— Почему она не приходит? — На пухлом лице ее забегали недовольные серые глаза.

— Она опять капризничает. Я сию же минуту ее приведу.

Госпожа Рекль громко позвала служанку. Почтенный адвокат вздрогнул и повел сонными глазами.

— Zuckergoscherl Zucker — goscherl-l... Где ты была?..

Он увидел Георгия и предложил ему чаю. Госпожа Рекль громко давала свои приказания. Она сама открыла двери на лестницу и остановилась в них ждать.

Георгий услышал разговор.

— Молодая барыня просила разрешить ей побыть одной. У нее очень болит голова.

— Зачем это?.. — И заботливая хозяйка взволнованно вернулась.

Тогда адвокат предложил собственные услуги. Громовым голосом он позвал Розу, нашел под столом свои ноги и протянул их служанке, которая ловко зашнуровала башмаки.

Лика пришла с заплаканными глазами. Блузка ее была расстегнута, и госпожа Рекль должна была бросить злой взгляд на своего «юбочника». Но этот же взгляд остановился на племяннице, которая робко села к печке и прижалась к ней всем телом.

Чтобы избавить Лику от множества лишних слов тетушки Анны, Георгий громко сказал:

— Я очень извиняюсь, но у нас был разговор, и я сказал Лике, что завтра, рано утром, уезжаю, у меня дела в Петербурге.

Лика заплакала. Его уверенный голос возвещал о неизбежном.

Обитатели виллы «Lorelei» дали почувствовать, что все это немного неприятно...

Георгий вскочил и извинился; он поцеловал руку госпожи Рекль и просил не волноваться. Конечно, Лике должно быть очень грустно, но она сама потом поймет, что слезы не помогут...

— Ах, уезжай, пожалуйста, между нами все кончено... — рыдая, перебила его Лика и забилась в вышитые подушки, разбросанные по дивану.

Георгий растрепал свои волосы.

Рекль это заметил и предложил ему сигару.

Нет, спасибо, он не стоит сигары... Разве ему не стыдно за поведение Лики в обществе? Он готов очень много раз извиняться, но остаться не может ни на минуту...

— Но почему тогда не может поехать также и Лика? — сказал адвокат деловым голосом.

— Да, несомненно, это было бы с моей стороны очень...

Лика рыдала.

— Дядя позволит мне остаться; я решила разойтись с Георгием навсегда.

Георгий быстро раскланялся. Лика задержала его, перестала плакать и чужим голосом выложила ему свое последнее желание. Она просит спуститься вниз, где висят его костюмы. Только на минуту, а затем он свободен. Да, он согласен.

Все сошли вниз. Лика достала из гардероба все, что принадлежало Георгию, и сказала:

— Я бы тебя еще уважала, если бы ты оставил эти костюмы здесь...

Он угадал ее мысль.

— Хорошо, только с тем условием, что я разрежу их на мелкие куски.

— Пожалуйста...

И она протянула ему большие ножницы, забытые на рабочем столе мадемуазель Эгль.

Но госпожа Рекль успела вовремя. И очень повышенным голосом выразила свое удивление:

— Нет, они совсем сумасшедшие!..

— Все? — спросил Георгий ледяным голосом.

— Дай квитанцию от нашей мебели, — сказала Лика глухо.

— Но, Боже мой, разве я когда-нибудь имел у себя такие ответственные вещи?.. Она, вероятно, у тебя?

Он все-таки рылся в своих карманах. Лицо его было встревожено.

— Ах, я положила ее к тебе в стол.

— Тогда непременно, непременно... Ты даже сама знаешь, где она...

— Почему не сейчас?.. — услышал он повышенный голос адвоката Рекля. И ему показалось, что понял в этот момент очень многое...

Господин Рекль всячески утаивал от него свои враждебные чувства, а теперь мстил.

ГЛАВА V

Лика спала эту ночь в других комнатах. Когда Георгий Бурев остался один, он заметил у изголовья своей кровати большую кружку с молоком. Это она позаботилась — он сказал ей об этом вчера, чтобы что-нибудь сказать. И что-то странное поселилось в его душе. Ему показалось, что его руки были худы; в груди кололо, а временами он чувствовал в ней мучительную резь, словно все, что он приобрел в богатой вилле, отошло от него за один только день.

И ему пришло в голову, что, быть может, он только старался все время заглушать боль в груди, что муки его были облегчены благодаря лишь усилиям мозга...

За эти покойные недели в нем выросло что-то сильное, теперь же оно снова покидало его. А весна ему не друг. Достаточно было этого странного звука соскакивавших с петель пуговиц, чтобы мозг его перестал первенствовать в его «я».

Георгий долго сидел на кровати и думал: зачем Лика рассказала ему то, что так долго скрывала от него? Быть может, он прожил бы еще одну неделю, прекрасную неделю цветущих яблонь.

Да, зачем она рассказала ему... В первую же ночь, когда они спали еще врозь, дядя подошел к ее кровати и шутил с ней, а она, совсем раздетая, болтала ногами и куталась с головою. Но вот в одну из ночей он быстрым движением сорвал с нее одеяло, оглядел ее всю пошлыми глазами и ушел... И напевал себе под нос из Вагнера, чтобы не заметила тетка Анна.

А как она к этому отнеслась? Ну, конечно, очень просто. Она так мило всегда кокетничала с ним, лишь немного краснела и опускала глаза, когда господин Рекль говорил с нею о самых тонких вещах.

— Нет, только бы уехать.

Георгий стал собирать с рабочего окна свои вещи. И с грустью убедился, что в вилле много надарили ему разных безделушек. Но он аккуратно откладывал подарки в сторону.

«Куда мне все это, — подумал он, — как можно меньше воспоминаний. Ведь, я еще очень ничтожен, пожалуй, заплачу там, в Петербурге...

Завтра... — вспомнил он. Сердце его сильно билось, он отошел от окна, потер виски и дважды повторил: — Нужно проснуться в пять часов, взять кое-что из садового домика».

А сна не было. Голова была похожа на темный омут, в котором с безумной быстротой вертелись мысли, в сердце поселилась тоска...

Неужели когда-нибудь он будет ласкать Лику после всего, что случилось над его бедной головой? А жизнь мчится. Иногда ему казалось, что он словно сброшен с высоты, а пространство, в котором он кувыркался, было его время. И вот, вот он ударится о что-то твердое и превратится в ничто — это была бы его смерть... Ох, как бегут дни. Ох, как он боится старухи!..

Георгий попробовал закрыть глаза.

Ему показалось, что множество белых птиц летало над его головой. Они махали своими пушистыми крыльями так низко... И голове стало легче. Он почти дремал. Вдруг чей-то голос, молодой и звучный, стал говорить ему, говорить неустанно:

«Взгляни, как скачет, как несется жизнь. А навстречу ей вышли только немногие великаны и стоят, широко раскинув свою силу, словно хрупкие люди перед хрупким конем.

Взгляни, как рухнула грудь жизни над грудью их, а трепет ее великого сердца оставил покойными сердца храбрецов. Вот склонила жизнь за спинами их свою голову; потекли с нее бесцветные струи слез и поползли к четырем сторонам Земли, не бурля и не шумя, орошая пустыню...

Так образовались блага.

И забилось что-то в сердцах людей... Только шум божествующий над ними, долетевший к ним от источника благ, приводит в трепет людей. Когда они, устав от труда, прислушиваются к нему, тогда в сердцах их рождается страх.

Так образовались религии.

Где ты? Ты не был у начала всех начал, среди легендарных храбрецов, чьи раны омывались слезами жизни, чья сила распахнулась и отбросила грубую волю, годную только для того, чтобы творить организм, чья сила не выплескивала в бесцветные струи слез жизни, даже опивков своей воли...

Не один ли ты из тех, кто родился среди цветущих долин, трепетно прислушивающийся к непонятному шуму, рождающему в тебе страх?

Или ты Путник среди них? Ты познал направление к Тайне и бредешь один, подобно луне в бесконечном пространстве, переполненном мерцающими Истинами, подобно звездам... Ты познал понятие о «я», оберегая его, сеешь по пути обман, обещаешь братьям и сестрам твоим МНОГОЕ за МАЛОЕ, но получаешь ВСЕ, а отдаешь НИЧЕГО...

Так образовалось горе».

Юноша приложил пальцы к телу — он искал сердце...

ГЛАВА VI

«Думай о смерти, и ты будешь жить».

Георгий никогда не забывал этих слов.

Он не мстил, не прощал — он думал только о своем спасении. Это была защита одного против массы, грозящей вечным пленом.

Одни лишь сутки он не видел Лику, но не мог припомнить ее лица. Он удивлялся самому себе, потому что не мог объяснить себе эту странность.

Время от времени он думал о женщине, но Лика не являлась в его памяти. И ему стало казаться, что он не знал женщины...

— Женщина! — Это слово заставило его вздрогнуть.

Он зажмурил глаза и прислушался к беготне вагонов, однообразный шум которых усыплял его; а отдельные звуки, едва касавшиеся его ушей, рождали в нем какие-то странные надежды — дочери ночи...

Все его существо боролось против них, но, в конце концов, нежно уступало. Любовь явилась к нему во множестве своих светлых образов. Каждый образ ее напомнил мечту одинокой юности. И снова мир застелился перед ним мутью фантастических грез...

Множество тайных замыслов вновь повели в межствольную глубину леса; там должно богатеть его земное имущество...

Он вновь нашел свою родину. Его мозг не был больше мелочен, он затаил что-то великое. Он дружески вел беседы с чувствами, как брат с сестрами. Он повелевал им свободы и, наградив своими великими заботами, указывал им волшебные Пути их...

— Ужели я увижу еще раз волшебную сизую мглу белой ночи. Великий Бог! Пусть померкнет вечный свет северной весны — я готов, чтобы светить огнем моей души. Я буду как маяк для счастливых Земли, я протяну мои яркие лучи во все извилистые тропинки Любвей, я отдам весь мой огонь, я пролью весь мой свет...

Великий Бог, я так благодарен Тебе!

Каждая точка в его существе трепетала. Он до крови кусал губы, но не мог удержать обильных слез. Они текли по его щекам, и он не прикасался к ним.



Лесной пейзаж. Около 1914

«Я прибегу к светлому небу и скажу всем девушкам севера: отдайте мне одну из вас, самую бедную в любви, подругу вашу — я юноша, лишенный любви... Я буду беречь ее, как вечный свет северной весны в моем сердце. Мои ласки будут так же нежны, как поцелуи белой ночи, протянутые утру, как нежна их разлука...

О, я, быть может, придушу ее, как маленького зверька. Во мне нет жалости, и я не хотел знать ее никогда в другом человеке — любовь моя была так жестока к Лике.

Разве я не играл ее телом, не слушая ни слез, ни жалоб?.. Я только прислушивался к собственному отчаянию...

Любил ли я ту, которой мстил в страсти? — я только мстил и любил лишь эту месть. Чем смелее я был в моей мести, тем безумнее искал ту, которой не находил в Лике...

А робкие глаза ее повторяли: «Вот женщина, какую же другую ты ищешь?»

И я мстил ей в страсти...»

Георгий крепко зажмурил глаза.

Он видел множество обнаженных тел, а над ними извивался красный призрак наслаждения...



Вид на Куоккалу. 1915

Но видение исчезло, подобно бледным камням под водами, когда утренний ветер заставляет вздрогнуть их покойную поверхность.

Он увидел долину, полную высоких влажных трав и белых цветов. Среди них бродила самая бедная в любви девушка и громко пела. Она была словно единственное легкое облако на светлом небе.

И это видение исчезло.

Перед ним вырос крутой берег Атлантического океана, и между скал и нависших хвой пробиралась Лика... Юбка ее была разодрана и развевалась по ветру, туго закрученные на висках косички болтались как два жидких рога. Она торопилась, она близко, она очень близко...

Георгий открыл глаза. Поезд стоял.

В окно вагона глядели сразу три лица, обросшие густыми черными волосами, и спускавшимися к самой шее узкими завитками.

На головах их были самые маленькие в мире картузики, а на плечах — самые длинные и мешкообразные сюртуки.

Это были настоящие так называемые «жиды». Лица их казались слишком бледными, слишком худыми; отчего мелко вьющиеся волосы производили впечатление вымоченных в грязной воде.

Три человеческих лица глядели в его окно; но ему показалось, что это были три очень голодные, мокрые крысиные головы...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛОЖЬ





Четыре женские фигуры. 1916

ГЛАВА VII

Лицо его худо и бледно, но сердце судорожно бьется, подобно испуганной птице в руках птицелова.

Он бродит в сырой, едкой мгле улиц, беспокойный, бессильный, и думает о том, что теперь должен погибнуть, потому что любовь приводит любовника к мужу, дает ему оружие и говорит: убей — я люблю твою жену. И прежде чем задохнусь, выпью запах ее трепетной кожи, божественное очарование этих смертельно-властных ног, которые жена твоя показывает всем до колена...

Все смотрят на них, но только не он. Может ли он глядеть на них глазами, мокрыми от пошлости? Он любит ее всю, а не расточительную ее любезность. Он хочет, чтобы женщина стыдилась его, потому что не может воспрянуть в ней любовь, если она только любезна к нему как к гостю...

Худое лицо Георгия Бурева улыбнулось.

Это была улыбка солнца на зимнем небе севера, когда оно не протягивает своих лучей, словно больное, кутаясь в серую мглу.

Он подумал:

«Я прихожу к ней, и она старательно прикрывает свои ноги юбкой, только кончик лакового ботинка доступен моим глазам... И это говорит в ней, что она поняла меня, она выделила меня — лицо ее всегда строго, когда она говорит со мною».

Он поздно вернулся в свою комнату и, не снимая пальто, долго сидел на кровати. Он смотрел на Неву, в ее туманную пустыню, сквозь мглу которой, подобно раскаленным остриям гвоздей, проскакивали огни особняков. Отражения их, тонкие и длинные, едва вздрагивали в воде, странный цвет которых напомнил ему разжиженные чернила.

Какой там покой, какие наслаждения. Сколько радостей приносит тем людям кошмарное утро столицы...

Но он не завидовал покою, особенно — счастливых людей, тело его так хорошо отдыхало. А в душе не было страха перед будущим, словно все умирало в нем, постепенно принося ему большее и большее успокоение, полный покой.

«Скоро умрет мой мозг. И тогда все кончено, — подумал Георгий. — Но Базарова будет жить. И снова придет к ней какой-нибудь «белый негр» и, полежав у ее тонких и гибких, как два ужа, ног, получит в награду поцелуй...»

Глаза устали, и он услышал голос отца:

— Геро, одевайся, пора...

И под белыми, нервно шевелившимися усами он увидел кусочек верхней губы цвета залежавшегося мяса. А согнувшееся тело дрожало на хрупких ногах; оно сердилось и торопило...

Георгий широко открыл глаза и медленно пошел. В дверях он остановился и думал:

«Куда же он пойдет — ведь теперь ночь!..»

И, немного озлобленный, снова вернулся на кровать. Но он ударял себя по чему попало и шептал:

— Господи, до чего я обессилел! Разве я должен страдать теперь, когда все тучи уходят с моей души и мне предстоит, быть может, увидеть солнце...

Но сердце больно вздрагивало. Он хватался за левый бок, раскачивался и выл.

Бог знает сколько проходит времени, быть может целая вечность, когда Георгий улыбается серому изумруду петербургского рассвета над рядом особняков.

Он опускается на колени и молится, он не произносит ни одного слова, он лишь прислушивается к жалобным стонам своей груди и беспрестанно кивает головой...

«Я должен говорить с ней все равно о чем, но только не о любви... Это глупо», — думал Георгий, подходя к дому Базаровых.

Через минуту за ним позвонил живописец Мирон Манн. Вид у него был смущенный, но он снимает пальто и усаживается на диване.

«Господи, к чему он здесь? Разве он сам не чувствует свой смущенный вид?..»

Георгий взглянул на женщину, лицо ее выражало удивление, но оно было слегка прикрыто маской великодушия.

И что-то сильное в ней возбудило все ее существо. Она смеялась после каждого своего слова. О, Базарова хорошо чувствовала неглубокую натуру живописца Манна. И она повела с ним игру...

Мирон Манн должен был стать жертвой своей ординарности, несмотря на то что мог оставаться мастером своего дела.

— Когда же вы напишете мой портрет? Вы такой талантливый, безумно талантливый, — обратилась к нему Базарова

Голос ее прозвучал как-то по-детски, мило и крикливо. Она рассматривала неловкую фигуру Манна, а он, довольно улыбаясь, не мог ответить ей ни слова и только выражал свои мысли безвольными жестами лица.

— Вы безумно талантливы. — И она приблизила к нему свою рюмку. Она просто хотела выпить за то лучшее в нем, что знала...

— А что же это? — В голосе Манна чувствовалась уверенность любопытного.

— Нельзя сказать... — И ее голова, кокетливо упала набок.

— Да это было бы слишком, — сказал Георгий.

И вдруг увидел ногу в черном шелковом чулке до самого колена...

Конечно, Базарова сделала это по привычке, как и всегда, когда хотелось ей переложить одну ногу на другую. Она, вероятно, забыла о нем, а потому он не может упрекнуть ее в этом.

Она курила и вела разговор о таланте и вообще о том, как трудно, должно быть, писать портреты.

Но, продолжая говорить, повернула голову к Георгию и, не меняя тона, вставила:

— Но вы не выпили своей рюмки. Этого не следует делать. Вы должны пить, как и все.

Нет, он не мог этого сделать. Почему? Он пьет до тех пор, пока не перестает хотеть этого.

— Вы не хотите? — Удивленное лицо ее вытянулось, а глаза стали еще светлее, словно они вдруг выцвели. Это бывало с Базаровой, когда она не могла чего-нибудь понять.

— Да, я не хочу, — просто ответил Георгий. Неужели за такой короткий срок о нем могли уже подумать как о каком-нибудь бестолковом пьянице?

И она предложила ему закурить папироску, которую вынула из своего пламенного рта. Георгий хотел взять.

— Только одну рюмку, — попросила Базарова.

— Не хочу...

Она протянула свой окурок Манну. Вот спички. Нет, это сделает господин Манн. Но у него не было спичек, и Георгий бросил ему свои. Окурок снова был в ее руках, но она не взяла его в рот, нервным движением бросила на пол и всем телом приблизилась к обиженному живописцу и горячо шепнула ему:

— Милый, хороший, теперь я скажу... Лучшее в вас — это ваша наивность. Вы такой милый, правда... Пейте... Хотите, я вас поцелую в лоб? — кокетливо произнесла Базарова это очаровательное слово в устах женщины.

И Мирон Манн должен был склониться к ней, чтобы получить обещанное...

Георгий встал. Он должен уйти — у него дело, важное дело.

— На десять минут? — пошутила Базарова.

Больше? Нет, она этого не допустит. Нет-нет... Ну хорошо — на двадцать минуть. Ровно на двадцать минут...

Это были необыкновенные слова. Он уловил их тайный смысл и сказал:

— Если б даже мне очень сильно захотелось вернуться минутой раньше, я простоял бы у дверей, но не постучался. Вы можете оставить двери открытыми в вашу комнату...

— Почему?

— Тогда вы услышите мои шаги, и я не смогу подслушивать у дверей, если вернусь раньше чем через двадцать минут.

Базарова не ответила, курила и щурила глаза, сильно качала ногой.

Когда Георгий возвратился, они сидели на диване очень близко друг от друга. Красное лицо Манна, казалось, было счастливо.

— Здесь кое-что сладкое, — сказал он, положив на стол пакет.

— Как жаль, что там не вино.— Она не любит останавливаться.

— Здесь есть также коньяк.

Рюмки были наполнены. Она очень просит господина Бурева выпить вот эту одну... Но он отказался. Если б Людмила Николаевна... Но он не знает, как лучше сказать.

— Может быть, госпожа Базарова? Это так приятно звучит; это так близко сердцу русского человека, невольно вспомнишь о Тургеневе.

— Я не хочу, чтобы в моем присутствии вспоминали ни о ком, хотя Тургенев очень близок нашей семье. Я урожденная...

Она не хотела сказать.

— Тургенева? — с крайним любопытством спросил Георгий, и в глазах его что-то ожило.

— Нет, есть еще одна фамилия, также очень известная... Говорите мне просто — Мила, меня так зовут все мои друзья.

— Спасибо.

— Ну, пейте. — И она протянула ему свою рюмку.

— Не могу. Если б Мила сказала мне: уходите и больше никогда не возвращайтесь, я бы все-таки не выпил ни одного глотка. Это так же верно, как то, что нога Милы в черном чулке видна до колена...

Она строго взглянула ему в глаза и отчетливо произнесла:

— Я вас поцелую, только одну...

— Это была бы слишком дорогая плата. Чем же господин Манн хуже меня — он уже выпил и...

Но, во всяком случае, напрасно они стесняются пить.

— Господин Манн закурите мне скорей папироску.

Но она это сделала сама скорее, нежели он.

— Достаньте мне апельсин, очистите его.

Он встал и отошел к столу. Быстрым движением Мила пригласила Георгия сесть с нею рядом. Она внимательно разглядывала его ближе и, заметив в нем размышления о чужом месте, громко сказала:

— Там было очень неудобно сидеть, теперь вы будете сидеть рядом со мной.

— Милый, так ужасно остаться вдвоем с мужем, так ужасно... — А маленькая ее ладонь закрыла ему рот. Георгий показал глазами на весь этот пир, что происходил в отсутствии ее мужа. Но она горько улыбнулась и отрицательно покачала головой.

— Это случайный туман, мой милый, который превращает речку в море, и тогда снова думаешь о далеких горизонтах.

В глазах ее он увидел глубокую печаль.



Остроумный выход. Рисунок из журнала «Новый Сатирикон» (1915. № 17)

Манн великолепно очистил апельсин, но Мила как-то медленно, как-то рассеянно потянула к нему свои тоненькие розовые пальцы, и так же неопределенно поблагодарила.

Георгий встал. Ему понадобилось пальто...

И Манн снова занял свое место. Он далеко вытянул ноги и сказал, что все-таки очень опьянел.

— Ах, я совсем пьяна. — Но она спохватилась, взяла пустую рюмку, и глаза ее сверкнули.

— Хочу еще, еще, пусть...

И напевала какие-то стихи. Вдруг:

— Не позвать ли нам Лизу?

— Кого? — переспросил Георгий, предлагая тонкие папиросы.

— Помните молодую, в которой вы нашли что-то галочье...

— Ах, да...

— Она живет в этом доме, она дома.

Молодая дама пришла очень скоро, быстрым взглядом оглядела всю комнату и села, положив острый подбородок на ладони. Ее волосы и платье были черны, а зеленые жилки на висках придавали обостренным линиям лица некоторую мертвенность. Глаза быстро перебегали с одного предмета на другой; они мигали под сильно выступающим лбом, словно два черных маяка, и собирали разбредшиеся мысли охмелевших.

«Галка», — подумал Георгий.

Разве она не так же быстро села, словно перед падалью, разве беготня ее глаз на мертвенно-сером лице не напоминала суетливость галочьей шеи? А когда она говорит, разве не производит впечатления, как будто клюет галка?.. Мила сказала, что она заподозрила в нем «фразера». Почем знать, быть может, для супруги бактериолога это то же, что для хищной птицы падаль...

Молодая дама пила коньяк охотно.

— За здоровье вашего мужа, ведь он никогда не может ручаться за свою жизнь, — сказала Мила.

— С удовольствием, мой муж такой милый. Да, я рада пить... Но что за пустяки говорите вы, Милочка. Если так следить за собою, то уж лучше не прикасаться к наукам. У мужа есть товарищ, у которого на столе и хлеб, и целые ряды культивирующихся бактерий.

— Да, да...

— У него есть своя религия. Он верит в теорию фагоцитов, — сказал Георгий и резко замолчал. Голос Милы словно лишил его дыхания. Она предлагает ему поцеловать свой чулок в самое высокое место, куда хватает его скромный, такой старомодный глаз... Но он должен для этого выпить свою рюмку...

— Хотите?..

Она взглянула в самые его зрачки.

— Что?..

Георгий сдвинул брови, но не отвел глаз. Какая-то тяжесть опустилась на дно его души. Очень покойно Мила повторила:



Из цикла «Intimité». 1918

— Поцеловать мое колено... — Глаза ее показались ему необыкновенно умными, и он ответил:

— Нет, не хочу.

И она снова ласкалась к Манну и просила передать ей фрукты. Но это сделал Георгий, они были у него под рукой. Вот здесь фрукты... Но женщина не взглянула на него. Манн хладнокровно выбирал лучшие из них, а в награду снова получил поцелуй.

Георгий отошел к окну, чтобы поправить образовавшуюся в портьерах щель. А когда вернулся, покойно сказал:

— Мирон Манн мог бы пожелать чего-нибудь другого — в лоб его уже целовали...

Да, Бурев совершенно прав, он сам не догадался, но ведь еще время есть... И, не придавая значения его словам, Мила попросила Георгия наполнить все рюмки.

Почему его? Он мог еще выпить немного, если б где-нибудь Мила могла достать белый фартук...

— Что-что, белый фартук?..

— Да, белый фартук.

Она не сводила с него глаз. Вдруг:

— Дайте мне яблоко, живо, живо.

И не успел он встать со стула, как она вырвала из рук его собственное, уже откусанное, и жадно принялась есть.

Ему не следует отставать от других. Да, все с этим были согласны, этого не должно быть в компании. Но он решительно отказался, он хорошо помнил о том, что придет муж и кто-нибудь должен прямо смотреть ему в глаза...

Мила подошла к нему совсем близко и держала полную до краев рюмку у самых его губ.

— Это мой каприз, — сказала она, — я просто капризничаю. Неужели вы можете отрицать это в женщине?..

И он быстро выпил все.

— Боже! Он все выпил, это мне нравится...

У нее был растерянный вид, а голос звучал по-детски. Все пили и говорили, что пьяны. Мила разбила свою рюмку и попросила Георгия достать другую. Там в стене есть шкапик, за гардеробом.

Он ушел, его не было видно, и долго искал и гремел посудой, но не находил.

Хозяйке лучше знать, где все это находится...

Он непременно вернется с пустыми руками. Но она могла бы послать его в посудную лавку...

Тогда хозяйка пошла сама... Она оттащила его за руку, крепко прижалась к плечу грудью и тихонько шепнула:

— Ищите здесь, вот здесь... — И она махала своей маленькой рукой у самых его глаз. Ее нежное, разгоряченное лицо было так близко, оно почти касалось его губ.

— Вот здесь же...

Ее пламенные губы слегка коснулись его подбородка. Да, она желала поцелуя. Но он только прижался к ее маленькой ладони, от которой пахло апельсинами и коньяком.

Мила быстро нашла рюмку.

— Вот, она стояла там с четверга.

— Не может быть, — очень повышенным голосом сказал Георгий, когда они уже вышли из полутемного угла.

— Что?..

Она вдруг остановилась и строго взглянула ему в глаза.

— Ах нет, я думал совсем о другом... Я раскаиваюсь в моей рассеянности.

— Неужели на вас так сильно подействовал мой поцелуй?..

Это было сказано слишком громко.

— Ваш поцелуй? — изумился Георгий, он даже рассердился.

— Вот видите, как легко вас можно вывести из терпения. Конечно, я пошутила, но вы дали промах...

Все эти слова Мила проговорила очень строгим голосом, как бы желая дать отчет в своем анализе. В этот момент она была совершенно трезва. Но она снова пила. Она подняла свою рюмку и предложила:

— Лиза, давайте с вами, я люблю вас.

— Давайте.

— Давай...

Женщины пили через руку. Но Мила не глядела в глаза той, с которой пила, взгляд ее был устремлен на Георгия. Когда же рюмки опустили, женщины целовались и бранились друг другу на ухо. Вдруг:

— Дай яблоко...

Взгляд ее был силен и правдив.

— Очистить? — спросила жена бактериолога.

— Да, пожалуйста... — сказала Мила, не переводя глаз на подругу.

— Что вы там видите? — пьянеющим голосом спросил у нее Манн.

Она сдвинула брови, но продолжала глядеть в равнодушные глаза Георгия.

— Я гляжу на эту высокую стену и думаю, почему она не говорит? Много кое-чего могла бы она рассказать нам всем...

— Неужели в вашу голову приходят подобные мысли всегда после того, как вы пили коньяк?.. — спросил Георгий.

Она молча отвернулась, чтобы потом немного тихим голосом сказать Манну, как он мил, какое он дитя. И она любит его за это. Она предложила ему говорить ей «ты», на десять минут, до прихода мужа. Ведь он согласен? О да, конечно, хотя бы на десять минут — это огромное счастье...

Она весело взглянула на всех и попросила:

— Давайте все на «ты».

И наполнила рюмки. Она расцелует Георгия, если он выпьет эту, последнюю... Нет, он не хочет. Он не хочет поцелуя? Нет...

— Сколько раз я поцеловала вас, господин Манн?

Он пьяно засмеялся и лениво ответил:

— Не помню.

— Вот так! По-моему, три раза только...

— Два, — сказал Георгий.

— Нет, три, — спорила Мила. Лицо ее было довольно.

— Хорошо, я могу вам поверить один поцелуй, так как я присутствовал только при двух. Разве я не уходил на целых двадцать минут?..

Он встал, чтобы снова заколоть прозрачные занавески на окнах. Благодаря им люди кажутся менее неприятными в своей уродливой правдивости. Не они ли сами придумали полумрак? О, они были правы, когда так думали, потому что знали, что вино снимет с них последнее покрывало, сотканное бодрящим разумом. А только он один делает людей менее уродливыми в своей лжи.

И попросил разрешения пройти в соседнюю комнату, чтобы поискать там булавку. Да-да, булавки на туалетном столике в углу.

Георгий ушел, искал и невольно заметил на стуле темно-серые чулки, прицепленные к голубым нагофренным резинкам корсета такого же цвета. Они были поношены, он поднес их к губам...

— Скоро?

Он еще немного поищет и сейчас же придет. А когда вернулся, сел рядом с «Галкой». И она попросила у Милы оставить ее в покое. Зачем принуждать человека, когда он не хочет пить. Да-да, это все верно...

Но она подошла к нему совсем близко, коснулась его губ своей рюмкой, а голос ее ласкался.

— Только половинку — я загадала... — Лицо ее было строго.

Георгий выпил половину, а остальное — она.

— Налейте еще. Если я пью, так уж пью много.

— Отчего вы пьете столько? — спросил Георгий.

Ему стало вдруг грустно. Мила показалась ему пьяной; она не знала, что говорила, что делала.

В ее голосе слышалось отчаяние. «Галка» весело смеялась. Так смеются люди довольные собой, не заглушающие вином неумолчную скорбь, а просто развлекающиеся. Георгию стало противно ее довольное лицо, и он обратился к ней со следующими словами:

— Но ведь у вас есть свои пути, по которым вы тайно следуете. И вы счастливы.

Она взглянула ему в глаза. Вдруг, словно галка, вспорхнувшая и полетевшая на падаль, набросилась на его слова:

— Это верно, это удивительно как верно.

— Да-да, я не думал, что могу говорить о других людях что-либо верное. Мне всегда казалось, что меня считают фразером.

— Да, и я подумала точно так же, когда увидела вас в первый раз... Но теперь больше этого не думаю. Да, я не думаю этого больше...

Она продолжала глядеть ему в глаза, но мысли ее были далеко.

— В большинстве случаев женщина не верит мужчине, она всегда готова заподозрить его во фразерстве там, где он перестает быть банальным и не поддается влиянию ее чулка...

— И все-таки женщина большой психолог.

— Но это неверно. Она не умеет формулировать ни одной своей мысли; она просто банальный пророк.

Мила поднялась с дивана, взяла под руку охмелевшего соседа и ушла с ним в другие комнаты, бросая Георгию обратно его слова:

— «Банальный пророк»...

— Но почему? — деловитым голосом продолжала жена бактериолога.

— Женщине дана особая проницательность, и она применяет ее для мутных глубин мужской юности... Быть может, она чувствует ложь, быть может, она читает в душе юноши. Но почему она тем нежнее с ним, чем наглее становится его ложь, рисуя фантастические формы земного счастья... О, женщина чувствует, что настанут годы, когда она будет вылавливать в нем возможности для счастья в практической жизни. Потому что юноша мечтающий талантлив, и мечты его — это сны, в которых являются ему образы его будущих творений. Женщина же всегда одна из первых, кто несет свою оценку изделиям души, она, не задумываясь, предлагает всю себя... Но в этой бескорыстности и кроется ее тайна. Много лет женщина таит ее в себе, она несет, быть может, самое тяжелое на земле ярмо страданий, а факел самопожертвований освещает путь ее надежде. Но все-таки отдать себя, не нужную себе, для того чтоб потом взять жизнь другого, которому она нужна самому, — это еще не психология... Я сказал бы так: современной женщине свойственна проницательность, которая приводит ее под ту прочную крышу, где она могла бы в течение всей своей жизни прятать свою практическую корысть от тех других... А те, другие, только ее любовники.

— Вы так думаете? — робко и задумчиво произнесла собеседница. А тонкий длинный палец ее с продолговатым ногтем подвинул ее собственную губу.

Мирон Манн сильно опьянел, но он крепился. Он ничего не мог понять, что они там говорили... он отказывался что-либо понимать. И он задал себе вопрос:

— Понимаю ли я что-нибудь? Да, я ровно ничего не понимаю. Я пьян...

Георгий тяжело вздохнул, он даже застонал.

— Что с вами, вы пили меньше всех, — сказала Мила.

— Господи! Я отдал бы полжизни, чтобы иметь гениальную память, — подумал он вслух.

— Зачем вам это? — спросила та, чье лицо было так счастливо.

— Для того чтобы я мог показать людям их самих.

— Это-то им не нужно, — уверенно подчеркнула она.

— Да, да...

Мила подошла к нему совсем близко, взяла за руку и увела в другие комнаты.

Георгий заметил — на стенных часах было без одной минуты шесть. Это время прихода господина Базарова.

Вдруг Мила перебросила через его голову кольцо из своих трепетных, нежных рук, а немного горбатый ее нос ползал по его щекам нервно и

страстно. Грудка прижималась, словно просила у него защиты, а глаза, большие и робкие, глаза газели, смотрели в душу. Господи, что она говорит! Георгий не в силах был крепиться, он задерживал слезы на самых глазах и не мог произнести ни слова.

— Ах, он неласков со мной... Через семь месяцев он уже изменил мне, он изменил, он изменил... А когда я распущу волосы, когда я раздета, я красива... Я хочу ласки, я не могу жить без ласки...

— Она билась на его груди, заглядывала в глаза, но ни одной слезы он не увидел на ее разгоряченных щеках. Светлые глаза ее были сухи, но они рыдали где-то глубоко... И необыкновенно далеко проник он в душу женщины.

Георгий даст ей ласки. Любовь их будет благоухать, подобно полю цветов; она будет так же разнообразна и нежна, как их лепестки...

— Вы так близки мне... — сказала Мила.

В эту минуту она была совершенно трезва. Когда они возвратились, Базаров сидел на диване и, немного запыхавшись, переводил отдельные места из американской газеты. Георгий крепко пожал руку и долго глядел ему в глаза, чтобы лучше понять мужа в своей собственной квартире, после утомительной службы, среди табачного дыма, распитых бутылок и фруктовых шкурок, так откровенно валявшихся на полу и на диване.

Но у Базарова был такой вид, как будто все это так и должно быть.

— У вас американская газета? — спросил Георгий.

— Да, я люблю почитать ее, встречаешь кое-что любопытное. Иногда от скуки...

Он щурил и без того маленькие глаза, а лицо его было немного насмешливо. Но все это он делал от усталости; голос выдавал в нем добродушного южанина, немного чувственного и, вероятно, трусливо-мстительного, как большинство из них.

— Да, я слышал, что вы большой лингвист.

— Я окончил институт восточных языков. А вы сидите там у себя и все любуетесь, как лед идет? Да, вы были правы, это был ладожский лед, — сказал он вдруг.

— Да, приходится.

И Георгий от всего сердца пожал ему руку.

Он бродил в тумане улиц, словно у него не было крова, и думал о том, как хорошо быть с Милой. Ох, как хорошо...

Прошел мимо ресторана и вспомнил, что ничего еще не ел; но не остановился в своей муке, она увела его... Все было сыро на нем от мелкого дождя, и он заметил, как влажно стало его дыхание, как легко дышала грудь, словно смазанная. Голова же была слишком переполнена, и он не мог разобраться ни в одной мысли. Он только чувствовал себя где-то в глубине своего «я» необыкновенно богатым... Но у него не явилось ни одного желания. Ему только хотелось быть подле Милы, ласкать ее нежное тело, успокаивать горестную душу.



Променад. Удачливая. Рисунок из журнала «Новый Сатирикон» (1916. № 25)

Он зашел куда-то, чтобы сказать ей несколько слов по телефону, но ему ответили, что она спала. Ведь она так много выпила коньяку, словно старый приятель, который потом уезжал в свою «Ригу»...

Ему показалось, что туман и дождь были для него друзья. Они так нежно убаюкали в его груди эту странную боль... А горло его, похожее на заржавелую трубу, смягчилось. Но он быстро забыл о себе и тихо застонал.

Еще раз подошел к телефону, но ему ответили, что госпожа Базарова вышла из дому.

Где же она?.. И он направился к ее дому. Он думал:

«На рассвете я увижу Милу, немного бледную, и услышу ее грустный голос».

И улыбнулся, когда ему пришло в голову, что ведь он никогда не видел Милу на улице, он не знал, как она одевалась...

«Сколько во мне жизни. Куда девался мой мозг, вечно мелочный и придирчивый, он словно растаял в сыром воздухе моей родной столицы!»

Георгий вглядывался в небо. Серые, влажные тучи низко клубились над его головой.



ГЛАВА VIII

На другой день он сидел у Милы и думал о том, что, когда вошел, хотел броситься к ее ногам и целовать их...

Он поднял на нее глаза и почувствовал, как собственное лицо его желчно смеялось. Но он не мешал себе в этом и наслаждался сдвинутыми бровями женщины.

Голова ее была повязана белым шелковым платком, а одета она была во все черное, утреннее.

«Странно, что я не могу припомнить ни одного слова из тех богатых ее приветствий, которыми она меня сегодня встретила, — подумал он. — Я только мог любоваться музыкой ее голоса...»

— Ох, какие у вас черные глаза... О чем вы сейчас думали? — спросила Мила.

— О вас...

— Вы не пили вчера только для того, чтобы наблюдать за охмелевшими? Я должна извиниться перед вами за вчерашний день...

— Нет, чтобы не забыть наутро деликатных двусмысленностей мужа... Ни одного его внутреннего движения...

— Садитесь рядом.

Она придвинулась на диване, отчего ее нога в серо-желтом чулке обнажилась до колена. Георгий повиновался, но, не дав докончить ей какой-то фразы, сказал:

— Вы так же могли бы провести меня, как и вашего мужа...

Мила вздрогнула. Он мог бы взять свои слова обратно. Она никогда не проводила своего мужа. Она поступала всегда открыто... Она возвращалась домой поздно, очень поздно, а он только спрашивал: «Увлекаешься?» — «Да, — отвечала она, — увлекаюсь». И он добавлял: «Не знаю, что ты нашла в нем». И это было все.

— Да, да, я сумасшедший...

Георгий растрепал свои волосы и придумал, что ему необходимо уйти немедленно. Он встал и прощался. Но Мила сидя придвинулась к нему и

сняла с головы повязку. Волосы ее были очень заботливо причесаны. Глаза весело улыбались.

— Останьтесь... Сядьте-ка рядышком.

Он сел, тяжело дышал и снова лгал. Как жаль, но завтра же утром он должен уехать на шесть дней... Он тер виски, чтобы заглушить боль, которую причинил себе в ноге.

— Дела?..— И она близко придвинула к нему свое лицо.

Немного насмешливым голосом Георгий ответил:

— Не правда ли, чтобы быть подле вас, нужно складываться пополам у ваших ног?.. Я бы не хотел того счастья, которым вы награждаете глупцов. Я издаю новые законы — в любви человек умнеет.

— Вы сегодня наговорили мне много неприятностей...

— Вчера на месте господина Базарова я повернулся бы и ушел. Это так же верно, как то, что ваш чулок виден до колена...

— Мой муж очень милый, у него есть прекрасные качества. Он только сказал: «К чему ты все это затеяла с людьми, которых видишь во второй раз?» В вас же есть что-то татарское... Это во всех нас имеется понемножку. — Глаза газели говорили о том, что ее хотели поймать, чтобы съесть ее маленькое тело.

Георгий молчал. Но он не мог бы рассказать ей, о чем сейчас думал. Да, о чем же он думал?.. Он не хочет мешать тому человеку, который с минуты на минуту должен прийти, чтобы отвести ее на скетинг-ринк. И он встал, чтобы уйти.

— Сядьте.

Мила курила и припомнила кое-что из прошлого. Она назвала одну знаменитую русскую фамилию и, качая головой, сказала:

— Погибает человек...

А однажды на каком-то вечере она обратилась к нему с такими словами: «Когда вы пьяны, вы напоминаете мне свинью, но, когда я читала ваши книги, мне хотелось целовать ваши грязные ноги...» И знаменитый писатель на глазах у всех снял с ноги ботинок и чулок, чтобы показать свою идеально чистую ногу.

Это она к тому, собственно, что когда и она пьяна, то способна раздеться на глазах у общества... Она краснеет, когда думает о том, что вчера предлагала ему поцеловать свою ногу... Она не должна больше пить, он это должен знать. К чему он должен знать такие вещи? Разве он был тот, кто целых полчаса застегивал ее блузку или получал в лоб поцелуи?.. А третий раз неизвестно куда... Ведь его не было в продолжение двадцати минут. Но к чему он напоминает ей об этом? — он недобрый.

Георгий стиснул зубы. О, если б он мог чувствовать только близость ее маленькой руки.

И он смотрел на ее маленький, тонкий палец, щелкавший по папироске. Мила не поднимала головы, она не слышала его — он не пошевелил даже губами, когда кричал эти слова. И он сухо сказал:

— Нужно быть глупцом, чтобы выпрашивать у женщины поцелуи. Может быть, для этого не нужно думать — ложен ли поцелуй или искренен. Вы

не хотите серьезно разобраться в этом вопросе и вы не цените того, чем наградил вас Бог.

— Ну вот, как же мы можем сблизиться, когда у вас только одно недоверие ко мне.

Она обиделась, она настолько забылась, что, разглаживая свое платье, не заметила, как обрисовались ее ноги. Немного взволнованным голосом Георгий продолжал:

— Зачем вы целовали Мирона Манна, разве это доставляло вам удовольствие?

Мила строго взглянула ему в глаза и быстро прикрыла свою ногу, которую плотно облегала темно-зеленая юбка. Это была, вероятно, единственная ткань, наброшенная на тело.

Он тер виски и думал о близости ее руки, которая могла бы дать новые направления его воспаленным мыслям.

В этот момент позвонили.

Вошел человек, это был тот самый, кто должен проводить Милу на скетинг-ринк.

— Ах, я правда нездорова. Уж мы не пойдем сегодня туда... — сказала она капризным голосом и взяла из его коробки совсем тонкие, особенные папиросы.

— А какой там пол? — спросила она.

— Асфальт, — ответил человек с темным лицом.

На носу у него были стекла без оправы, очень искусно изогнутые и сверкавшие. В нем было все так естественно, ни одной точки, к которой можно было бы придраться; ничего, что могло бы остановить внимание другого человека. Это было настоящее совершенство; такие люди так же привычны, как, например, дверь твоей комнаты, которую ты закрываешь и открываешь, не думая о ней. И теперь, когда он сидел и разговаривал, это так же удивило Георгия, как если б вдруг заговорила с ним его собственная дверь или дверь одной молодой купчихи, которую он сто раз открывал и закрывал.

И сколько бы он ни перебирал различных скрипов дверей, слышанных им за всю свою жизнь, все же не мог найти звука, который так хорошо бы походил на этот «асфальт»... Быть может, это была какая-нибудь особенная дверь? Но, во всяком случае, он еще подумает...

— А какой лучше? — допрашивала Мила, крепко затягиваясь.

— Асфальтовый. А вот мой брат говорит — паркетный.

И неспокойный мозг Георгия уже нисколько не удивлялся тому, что две двери и даже пять дверей могли вести между собой вполне основательный спор. Паркет, асфальт — это были вещи, хорошо знакомые им.

— А вот в Париже — просто доски, — сказала она, чтобы поддержать разговор.

У Георгия было такое чувство, словно он ловил в голубом просторе белую, сверкающую птицу... Он совершенно свободно справлялся в воздухе при помощи каких-то незначительных вещиц в руках и удивлялся,

почему еще раньше не догадался погнаться за белой сверкающей птицей?..

— Вы не катаетесь? — взглянула на него Мила.

— Да-да, я непременно должен поторопиться, — засмеялся Георгий и обратился к гостю: — Вы уверены в том, что еще не поздно?

— Почему? — пугливо вставила Мила. У нее был такой вид, словно она хотела выручить своего знакомого, немного лишь обиженного ею.

Георгий тянул с ответом, ему необыкновенно было дорого ее наивное лицо.

— Быть может, асфальт изрезан до такой степени, что можно упасть?.. — ответил он, не сводя с нее глаз.

— Ведь его, вероятно, поправляют же?..

Когда она убедилась в этом от специалиста, у нее был такой вид, как будто она сообщила Георгию что-то очень полезное. И он подумал:

«Моя собственная дверь, которую я ни разу не бросил и не ударил о гардероб, повеселела от сознания, что я не совсем сумасшедший...»

И встал.

— Четыре. Кажется, в этот час к вам кто-то должен был прийти?.. — сказал он.

— Он уже пришел...

— Да, это сущая правда. До свидания.

— Вы так торопитесь?

Мила произнесла эту фразу точно таким же бесцветным голосом, как и предыдущую. В этот момент Георгий не питал к ней никакого чувства, словно он не обладал ничем, кроме пары хороших ног, которые сослужили ему свою службу.

Он стал разбираться в ощущениях только потом, когда приближался к старому академическому дому, подновленные стены которого показались ему такими высокими.

И с особым уважением пошел в мастерскую конкурента Зубова. Ему невольно припомнилась тощая и нервная фигура талантливого живописца. Однажды, когда они слишком поздно возвращались от Базаровых, голос Зубова дрожал: «Я был у вас... Забудьте этот вечер»... И когда они стояли у его дома и прощались, он больно сжал руку свидетеля, которого случайно могла бы допросить госпожа Зубова... «Я был у вас, помните это», — еще раз напомнил ему талантливый живописец.

Когда Георгий постучался в его мастерскую, он быстро вышел и дружески повис на его руке.

— Я только хотел вам сообщить, что наш меценат ждет ответа относительно цикла последних ваших вещей.

— Спасибо, — искренно поблагодарил Зубов.

И они в одно слово заговорили о Базаровой. Георгий замолчал.

— Видите ли, дорогой Бурев, там очень дурной тон, а мы... Наши жены могут наслышаться всего... Кроме того, о Базаровой столько вещей рассказывают люди, с которыми так или иначе приходится считаться. Это может...

— Повредить? — помог ему Георгий.
— Да... Нет... Дело в том, что эти люди более...
— Полезны?
— Да, вот именно, а потому я не бываю там. Но, надо признаться, там есть лакомые кусочки... Нам с вами нужно будет это устроить на нейтральной почве...
— Что?
— Она очень, правда...
— Лакомый кусочек?
— Вот именно...
И Зубов тяжелее повис на его руке. Он только немножко побаивался неприятностей, которые могли бы возникнуть благодаря знакомству с... Но все же хорошо было бы устроиться где-нибудь подальше... он ровно ничего не имел против того, чтобы Людмила Николаевна зашла к нему в мастерскую. Да, посмотреть его творчество. Она хотела бы знать точные часы; ведь он так много работает — чтобы ему не помешать только.
— Ну, в шесть. Постойте, постойте... — занервничал Зубов.— Да, я думаю, что у меня никого не будет в это время... — И улыбнулся. У него был такой вид, как будто он сильно рискнул.
— Великолепно, — сказал Георгий.
— Вы разрешите мне как-нибудь зайти к вам; мы всегда найдем о чем поболтать, — попросил Зубов.
— Вот мой адрес.
— Так ведь вы же живете все там?.. — перебил он.
— Да, но разве я давал кому-нибудь мой адрес?
— Я хорошо знаю этот дом. На самом верху слуховое окно...
Георгий стиснул зубы и покачал головой.
— Но вы не оставьте себе мнение, что я навязываюсь, мне бы просто...
— Ах, что вы.
— До свидания.
Нервность Зубова развеселила его. Толки, сплетни, полезные люди, лакомый кусочек... Но за то, что он не закрыл рот этому наивному отцу семейства, он слишком страдал. Скоро нервное веселье его перешло в безмолвные рыдания. А в такой час Георгий не мог бороться с безотчетной тоской. Она проникла ему в сердце, в мозг и лишила воли.
Еще долго он бродил по улицам, и сердце его больно вздрагивало, когда он вспоминал Милу, ее похудевшее лицо и добрые глаза — глаза газели... Быть может, она одна, отдыхает от множества непрошеных гостей, ее корыстных поклонников. Все они похожи друг на друга: они располагались у ее коленей и молили о любви... Мила дарила им улыбки и добрые взгляды, целовала в лоб... Напуганная козочка, быть может, она делала это потому, чтобы эти стаи не выклевали ее мясо?..
Он долго стоял у телефона, не решаясь вызвать ее. Он расспрашивал швейцара о разных вещах, обо всем, что приходило ему в голову. А когда тот показался ему грубым, положил трубку.

И снова бродил в тоске.

— В любви человек умнеет. Да, да, да, — шептал он почти громко.

Он останавливался среди людей и вытягивал горло, что вызывало кашель с криком, со стонами... А когда чувствовал на глазах слезы, покойно продолжал свой путь тоски.

Он зашел в кинематограф, купил билет в ложу, и у него осталось несколько копеек. Но у него не было никаких надежд на будущее, ему было все равно — он не способен мыслить. Страдания его должны только возрастать, как и всегда... Вдруг заметил видных русских людей и очень удивился тому, что они были здесь — в кинематографе: их цилиндры сияли на головах, словно были покрыты драгоценным лаком. И они медленно ответили на его поклоны.

— Господин Лепетунов, ах, здравствуйте...— Георгий проявил ту свойственную ему детскую улыбку, которая всегда появлялась на его строгом лице при встрече с этим человеком. И не раз он плакал от какой-то странной бескорыстной, мучительной любви к этому видному русскому человеку.

— Я вас не узнал, — сказал Лепетунов особенным, может быть влажным голосом...

— Странно, очень странно, я совсем не изменился. Я все такой же медведь, только меня привезли из Европы. Ведь там еще можно встретить медведей, если хорошенько поискать. Вот я и попался, очень удачно попался...

— Да?..

— А вот я вас сразу узнал, еще издали заметил... Я сказал себе: ты не можешь пройти мимо, тогда как два знаменитых человека направились в кинематограф.

— Спасибо.

— За что? — удивился Георгий и подумал: «Разве я унижался перед ними — за что же они благодарили меня?»

Лепетунов искал себе места. Георгия немного бесила его неискренность. Разве он не мог бы попросить уступить ему место? Что за важность, по-товарищески...

Георгию припомнились счастливые дни, когда видный русский человек встречал его с удивительной лаской и платил за его рисунки небывалые в его карманах деньги и хвалил их так, что служащие первые кланялись ему, когда он снова приходил со своими работами. А он беспечно бродил среди темных и пыльных кулис: и снились ему воды Полинезии, тихий всплеск красной птицы и отлогий берег, усеянный изумрудами.

Да, он вполне мог бы уступить Лепетунову свое место — он такой невежа.

И вдруг почувствовал, как все его существо съежилось от тоски — она снова овладела его мозгом. Он быстро вышел из театра: останавливался на широкой панели Невского, вытягивал шею и кашлял, выдувал воздух носом с такою силой, что голова его кружилась, щеки и виски горели, словно

в пламени... И он потрясал головой словно козел, хорошо выбритый козел...

Господи! А ведь Мила предлагала ему поцеловать свой чулок, самое высокое на нем место, куда бы мог достать его глаз... Это было ее нежное колено, которое лепили видные люди. А он должен был только выпить одну рюмку коньяку, полрюмки, ее рюмки...

И он не стеснялся громко хохотать на самой широкой улице Петербурга, среди русских людей, которые так искренно заражаются всем искренним...

Если б он мог рассказать им всем, как стоит плакать в гостях у общей всем нам Матери — Земли, если б мог выкричать им свое горе, свою тоску!

Но Георгий продолжал свой неопределенный путь скромно и медленно, как всякий другой, просто прогуливающийся по Невскому.



ГЛАВА IX

Совершенно неожиданно какой-то человек принес ему деньги. Это была довольно крупная сумма в данную минуту. Георгий сосчитал — четырнадцать рублей с копейками. Он взглянул на человека в очень поношенном котелке и заметил под мышками сверток бумаг.

— Вы, вероятно, ошиблись, я ниоткуда не жду денег, — сказал он.

— Нет, это вам из конторы «Ховик и Ко».

Человек положил сверток на стол и, вытащив один большой лист, предложил его Георгию:

— Пожалуйста, я могу вам оставить один экземпляр.

— Ах да...

Лицо Георгия стало совсем детским.

— Это мой плакат. Но ведь это было так давно — я думал, что не понравилось...

— Зачем, очень даже понравилось.

— Возьмите себе немного денег, — сказал Георгий и смутился. — Я право не знаю, быть может, это вас обижает.

Человек взвесил на ладони два рубля и опустил их в жилет.

— Будьте здоровы.

— Пожалуйста, поклонитесь от меня...

Это было настоящее счастье. Он что-то соображал, казалось, был очень занят, он даже тер виски, осмотрел все карманы и, вынув коробку от папирос, убедился, что она была пуста. Осмотрел также пальто, а потом рылся в жилете. Лицо его улыбнулось, он нашел одну папироску и быстро спустился в нижний этаж к прислуге. Покуда он искал ее, думал:

«Господи, как была добра ко мне Мила... Она сказала, что я настолько близок ей, что, если бы даже стал убийцей, она не прекратила бы со мной знакомства. Быть может, она последует за мной на каторгу? «Это еще не любовь, — сказала Мила, — но пусть. Она рада, что не все сразу»... Так будет лучше — по ступеням, на самый верх».

И он дрожал от ее слов, от ее лица, столь же серьезного в ту минуту, как если б в руках ее был упругий пластелин, которому она собиралась придать форму головы.

Слушая ее, он невольно положил обе руки на колени. Они могли глядеть друг другу в глаза без одной улыбки, притворной улыбки... А что он сказал, когда Мила запросто пригласила его к скульптору Бергу, чтобы лепить по воскресеньям вместе? Ничего... Это было очень дурно.

Не пожалел ли уж он для Берга десяти рублей? У него всегда бывают задние мысли...

— Лукерия, подождите же, — позвал Георгий прислугу, которая вихрем пронеслась по темному коридору.

— Пойдемте со мной на минутку в уборную.

Он старался делать очень озабоченный вид, даже чем-то возмутился, чтобы дать лучше сосредоточиться безумной в своих движениях Лукерии. И положил на ее ладонь золотую монету в десять рублей. Да, он просто просит ее бросить вниз... Что! Она не верит? Она плохо его знает...

— Да что вы, господин...

— Я гадаю, — сказал Георгий строгим голосом.— Бросьте, пожалуйста, мои деньги туда... И вы также должны будете бросить немного своих денег. Это обязаны делать все в такой день, как сегодня. И если кто-нибудь из ваших господинов не сделает этого, вы не должны будете чистить ему башмаки.

— Ах!.. — Она уронила монету вниз...— Господи, да что же такое случилось!

И быстро умчалась по темному коридору.

В наше время только читатель таит еще в своем сердце доверие к уединенным страданиям особенно несчастных людей, лишенных очень многого, что могло бы успокоить их изнуренный мозг. И правду сказать, какой резон читателю не доверять их уполномоченным, ему пришлось бы, пожалуй, переменить себе имя?

Георгий стоял и разглядывал свой плакат, когда к нему постучались. Это был его родственник; он настолько высок, что, когда входил, должен был в дверях согнуться.

Он пришел раз навсегда, чтобы больше не разлучаться с Георгием, ему негде жить... Быть может, он считал Георгия самым надежным для себя из всех других?.. Он самоуверенно расхаживал по комнате, стучал башмаками и курил.

Георгий обратил внимание на его длинные волосы и сказал:

— Ты пишешь красками, давно ли? Или ты ощущаешь некоторый недостаток в моей квартире, лишенной рояля? Да, когда мне привезут его, я непременно дам знать тебе об этом. Я, признаться, никак не мог подумать, что ты увлекаешься музыкой... Но стоит ли она того, чтобы ты затрачивал на нее свое драгоценное время.

Родственник глядел на него такими глазами, которые ясно говорили о том, что его следовало бы принять более ласково.

— Но в наше время, — продолжал Георгий, — если хорошенько поискать, можно встретить таких людей и с коротко постриженными волосами. Ты не любишь носить волосы, например, на пробор?

Тут он заметил, что петли на его пальто были разодраны, из них высовывалась светлая подкладка. Как он мог прийти к нему в таком виде? Он мог явиться и в цилиндре, если уже дело дошло до такой крайности... и, кроме того, хотя он, Георгий, и живет в «старомодной картонке из-под дамских шляп», как выразился писатель Булыжников про его комнату, все же, если хорошенько присмотреться к темным закоулкам чердака по пути в его комнату, можно свободно нащупать какие-нибудь барские гардеробы с добром... Или, например, сложенные в кучу изразцы для печей... И если хорошо знать свое дело, то изразцы вполне могут поместиться в боковом кармане... Не говоря уже о старых барских гардеробах... Все дело в умении, но ему, кажется, уже приходилось?..

— Геро, брось... — сказал родственник, и его исхудавшее лицо самодовольно улыбнулось.

Но он не может предложить ему обедать каждый день. Для него было бы так мучительно видеть дорогого гостя понурым от голода. Чаще всего обед его состоит из одного блюда, но, несмотря на это, он не может отделаться от хорошей привычки, к которой приучили его дома: он все-таки в обеденный час садится за стол и просиживает за ним известное время. Одну только приятную привычку, прижитую им также дома, удалось ему таки припрятать до поры до времени; посидев за столом известное время, он встает и убирает с кровати подушку... И это помогает, конечно, он не может поручиться за то, что ни разу не уснул на стуле.

— Видишь ли, Геро... — перебил его родственник.

И, кроме того, он немножко сумасшедший за последние дни... Каждую ночь ему приходит в голову, что в темных углах чердака какие-то невидимые архитекторы неустанно строят и разрушают и опять строят свои домики... А утром, когда он проходит мимо изразцов, они лежат там в старом порядке. На днях он немного опоздал домой, и ему пришлось ждать рассвета на дворе. Он не должен был мешать ночным строителям в темных углах, которые никогда не разговаривали во время своей работы, чтобы не будить его. Его неожиданное появление на чердаке могло бы только разогнать их, и тогда Лукерия могла бы подумать, что это он разбросал дорогие изразцы... Так трудно в наше время уберечь хорошую квартиру с видом на столь прекрасную, полную весеннего торжества Неву.

— Видишь ли, Геро, я, собственно, пришел к тебе, чтобы попросить...

— Вот эти деньги, ты можешь взять все, — торопливо сказал Георгий и пододвинул на столе оставшиеся деньги, присланные ему из конторы «Ховик и Ко».

— Мне довольно будет и полтинника, у тебя самого...

— Что ты, пожалуйста, не стесняйся.

— Куришь? — сказал родственник и предложил своих папирос.

— Спасибо.

— Ну, пока прощай.

С папироской в зубах и щурясь, он вышел, сильно согнувшись в дверях.

Георгий проводил его вниз.

Он долго сидел у низкого оконца, в своем единственном кресле, прикрытом сто раз стиранным холщовым чехлом.

И вдруг вздрогнул: ему показалось, что плечо что-то сильно подогревало. Это были лучи солнца, да, это было весеннее солнце. Он всматривался в даль береговой линии на пристани и впервые увидел красный бок норвежского парохода, закрыл глаза и прислушивался к лошадиным подковам.

Странный звук, неумолчный звук...

А когда он очнулся, увидел тихое, медленное похоронное шествие, и ему вспомнилось детство, его игры, его печали. И что-то в нем начало капризничать, он не мог приняться за работу, снова закрыл глаза...

Мелькали пески и множество морских губ, покрытых ослепительной пеной, словно бронзировали их лоснящееся золото, втягивая искрящееся тепло в свои холодные, синие недра. И, лепеча у самых кабинок, они дотягивали свои зеленые волокна до розовых пальчиков обнаженных женщин; щекотали им пятки и заманивала радостные тела в свою голубую прохладу...

И память его рисовала Лику. Вот она лениво спускается по склону горы, а на плечах у нее пушистое полотенце с голубыми полосками. Платье из тонкого батиста прилипает к ее телу, а оно, проглядывая сквозь нежную ткань, беззвучно переливается и придает ей цвет талого снега... Вот закинула светлую голову, а южное небо так сине, что ни одно облако не решается показать свою наготу...

Да, в той стране все странно: в ней не увидишь не только национальной женщины, но и облачка. Все светлое, озаренное, прекрасное в ней скрыто под чадрой суеверия. И он припомнил себя в предрассветные минуты, когда иглилась и мерцала утренняя звезда, карауля пробуждение первой формы жизни. А в глубине садов, отягощенных персиками и винными ягодами, в сине-изумрудной тишине устало плакала предутренняя молитва муллы. И после долгих грехов он в первый раз молился там — чужому Пророку... Его одинокие стоны, свидетели вдохновенных молитв, словно растворялись в воздухе, свежем, как щеки дочерей севера, и чистом, как говор родника. И с четырех сторон глядели на него бодрствующие глаза мусульманского Пророка...

Георгий достал из связки бумаг небольшой квадратный листок. Обе странички его были исписаны очень мелкими буковками.

Но он остановился, скомкал исписанный листок и отбросил его. Он продолжал думать об удивительной стране, где он не должен был ощущать

тягостную тоску от своеобразной красоты, обреченной на бесконечный плен среди вековых платанов и благоухающих садов, огороженных высокими стенами, прикрытыми седым мхом закона...

— Мила!.. — почти крикнул Георгий.

Он растрепал свои волосы, а потом сидел без движения и прислушивался... Не смеялся ли кто-нибудь над ним? Лукерия всегда приходила к нему так тихо и долго стояла за дверями, прежде чем войти. Ведь его все боялись...

И отвел взор на дали береговой линии. Красный бок норвежского парохода ярко горел на солнце.

Наступили солнечные дни, они делали из него слепую радость, но он замыкал ее в себе. Быть может, он не хотел расточать ее?.. Но Мила это хорошо чувствовала, а потому искала других, много других... Быть может, это были все «белые негры»...



ГЛАВА X

Зубов сидел молча, с видом великого таланта. Его прямые и ровно подстриженные волосы спускались ниже ушей. Они резко оттеняли бородатое лицо, отчего линии его еще более заострялись, а кожа казалась изящно-бледной. Когда он отвечал на вопросы Милы, то не поднимал на нее своих глаз.

Он хотел ее перевоспитать, как выразился однажды он сам в присутствии Георгия.

Разговор не завязывался, этому была причиной его нервность. Все стали отмечать на стене свой рост. Зубов всячески старался поджимать колени, чтобы сравняться с Милой.

Когда Георгию надоело упрашивать его стоять смирно, он сказал:

— Художник Зубов думает, что он должен опуститься как можно ниже, чтобы сравняться с Милой...

Это были не какие-нибудь слова — они мстили. «Дурной тон, полезное общество», «лакомый кусочек»...

И Зубов понял это. Он обратился к Миле, губы его дрожали:

— Если вы согласны с этим, то прошу думать теперь иначе... Прошу думать теперь иначе.

— Пустяки, — ответила Мила, — вам только нужно почаще приходить ко мне.

Был солнечный день, а потому все решили провести время вне душных комнат.

Георгий поручил Милу Зубову, а сам пошел с «Галкой». По пути она рассказала ему о том, как сегодня утром, в раздумьях, шла она по улице и только тогда возвратилась к действительности, когда остановилась перед огромной лужей... Ей казалось, что нельзя было обойти это разливное море. Даже мальчики смеялись над ней.

Подошли к Неве. Пароходик в морской канал еще не шел, и Зубов сказал:

— Быть может, нанять?

Георгию хорошо было известно, что у Зубова завелись деньги. Множество его эскизов больше не принадлежали автору, они всюду были расставлены у мецената — нужные, прекрасные, такие скромные в сумраке богатой гостиной… И когда подали лодку, Георгий сказал:

— Вы уже наняли…

— Что?.. — спохватился Зубов.

— Тройку быстрых слов. Надеюсь, вы не собираетесь отослать ее обратно.

Талантливый живописец нервничал. Мила стояла одна; Георгий подошел к ней, чтобы взять ее под руку и помочь сесть в лодку. Но она отстранила его и сказала:

— Я не хочу быть второй, когда могу быть первой…

И она плотно прижалась к руке Зубова. Он бережно усадил ее в лодку, а сам нервно и грубо отказался сопровождать компанию. Мила сделала грустные глаза, она умоляла его поехать, но он остался непоколебим. Быть может, он всегда занят «полезными делами»…

Лодка отплыла.

Тихая и сильная вода далеко уносила задумчивые глаза Георгия. Он глядел на дали береговой линии. Но вдруг услышал:

— Цветы завяли — это неважно… — И, жестоко общипав белые лилии, подаренные Георгием, Мила бросила их в воду. — Они не пахли… — обидчиво добавила она.

— Когда лодка причалила к противоположному берегу, Мила выскочила первая и, подождав того, кто должен был однажды проводить ее на скетинг-ринк, ушла с ним вперед.

Георгий и «Галка» нашли их на пароходике, который вез на петербургскую сторону. Мила сидела к своему спутнику спиной и нервно прислушивалась к словам Георгия. Вдруг:

— Будет вам со своими учеными разговорами…— И попросила старого человека поменяться местами. Теперь она сидела против того, о ком думала… Но разговор не завязывался.

Пароходик причалил, и снова бродили по улицам толпой и тоскуя. Георгий не подал и виду, что мог бы предложить небольшое развлечение, которое мелькало в его голове еще раньше. «Инициатором» был избран не он, и ему это хорошо было известно.

Сели в каком-то садике. Мила даже вздохнула. Она хотела пить, и Георгий быстро ушел. Он разыскал ближайший ресторан и пригласил туда всех. За столом ему досталось место против Милы. Но, посидев с минуту, она поменялась своим местом с «Галкой». Теперь они сидели рядом. Но свет мешал ей, и она кокетливо щурила глаза. Нога ее была совсем близко, и временами он вздрагивал, словно каждое прикосновение срывало кусочки кожи.

Ее спутник, не кто иной, как присяжный поверенный, заявил, что лицо господина Бурева великолепно освещено и что, если б он сам мог это ви-

деть, непременно пришел бы в восторг от необыкновенных световых эффектов, как художник...

— Да. Бурев очень благодарен, он просит господина присяжного поверенного пересесть на его место. Если только он ничего не будет иметь против, чтобы блистать на чужом месте...

Георгий сказал эти слова таким голосом, что только развеселил всех. И Семен Иванович с удовольствием исполнил просьбу «веселого собеседника».

Георгий долго всматривался в его немного худое лицо, с заботливо подстриженными черными, очень маленькими усами. Не собирался ли этот человек остаться там? Он завел с Милой слишком красноречивый разговор. И, надев на свою голову его котелок, громко сказал:

— Не напоминаю ли я господина присяжного поверенного с его места?

На «его» он сделал ударение.

— Вы, право, лучше бы называли меня Семеном Ивановичем, — ответил владелец котелка, но улыбнулся и встал, чтобы занять свое место.

Дамы смеялись — котелок так жестоко не шел Георгию.



Из цикла «Intimité». 1918

— Ах нет, — сказал он торопливо, — что за пустяки, не все ли равно, где сидеть, это так неважно.

— Для меня это очень важно, — перебила его Мила. — Вовсе не все равно, мне очень приятно сидеть рядом с Семеном Ивановичем...

— Вот видите, как я всегда предвижу ваше желание. — Георгий пристально глядел в ее немного злые глаза.

Пошел косой весенний дождь. Он торопливо бился в оконные стекла, а в небе словно кто-то распоряжался, махая своими водянистыми руками.

Нужно взять извозчика. Да он уже подъехал. Георгий хотел пойти за другим, но Мила удержала его.

Они ехали, не обращая внимания на другую пару.

— Мы первый раз так близко сидим друг от друга, это что-нибудь да значит... — сказал он глухим голосом и без желания кашлянул.

— Да? — Она отодвинула от него свои ноги, но плотнее прижалась плечом. Он чувствовал, как все тело его дрожало, но, не в силах побороть дрожь, громко и отчетливо сказал:

— Я очень раскаиваюсь в том, что вы устали и голодны.

— Ах, нет, вы такой были милый сегодня. Я люблю вас сегодня...

Она разглядывала его, но так, чтобы он этого не заметил. Георгий крепился, но помимо его воли крупная слеза выкатилась из глаза и поползла по щеке.

И женщина прижалась к нему всем телом, расспрашивая о матери и других родственниках. Она решила побывать у него, а потому извозчик остановился у его дома.

«Господи, я не должен был бы показывать Миле мою бедность», — с болью подумал Георгий.

Но теперь было поздно, они подождали второго извозчика и все вместе поднялись в его комнату.

Еще утром Георгий попросил Лукерию внести к нему на некоторое время кушетку, которая стояла на чердаке без употребления. Это была его прихоть, ему просто этого захотелось. А вот теперь она пригодилась. Он быстрым движением сорвал с нее чехол и был очень удивлен, когда заметил на ней совсем новую материю.

Косые лучи пробивающегося сквозь тяжелые тучи солнца падали на ее пунцовые цветы и приманили к себе Милу. Она запросто полулегла и попросила папироску.

Господи, что он может купить на два рубля? Ему припомнилось, как однажды Мила сказала: «Когда у меня нет ничего другого, я пью кюммель, это довольно крепко». И он купил этого напитка. У него еще оставалось немного денег на фрукты. Что же касалось пива, то он мог всегда его получить в долг.

Когда Георгий вернулся, Мила попросила его спустить шторку и зажечь лампу. Она закутала неприветливый абажур в серую бумагу и села подле него, дружески взглянула в глаза и пригласила выпить «всю до дна».



Двое. 1918

Он хорошо видел, как беспощадно убывало вино; он знал, что Мила не любила останавливаться, когда пила, и отодвинул свою рюмку.

— Там мало, — сказал он, — я могу пить что-нибудь другое...

Но заметил в глазах Милы, что она поняла его неловкую минуту безденежья. Она настойчиво вылила в его рюмку последнее, что оставалось в бутылке, и весело заявила:

— Я давно не была в таком роскошном опьянении...

Семен Иванович крепко жал руку Георгия, а глаза его блестели от благодарности. Он бесцеремонно барабанил по столу, как будто монотонность звука не притупляла его мыслей, и напевал цыганские мотивчики, в которых попадались слова: «я, ты, любовь, жизнь, безумно...» — и непременно смотрел на Милу. А она смеялась, кокетничала с ним и говорила стихи, какие-то стихи... Но она говорила с таким чувством, что Георгию показалось, что перед ним была великая актриса.

Вот она наклонилась к «Галке», притянула за рукав Семена Ивановича, и ее пламенные губы что-то шептали им... Но Георгий не должен подслушивать — это не для него...

И он должен был заткнуть свои уши пальцами. Он божился, что ровно ничего не слышал, как честный человек. Тогда Мила взяла его под руку и ушла с ним из комнаты, чтобы прочесть ему стихи отдельно.

В полутьме она обвила его шею своими гибкими руками и страдальческим голосом прочла стихи, какие-то стихи... А он только любовался ее голосом, и ни одно слово не осталось в его памяти.

— Понял?..

Мила крепко поцеловала его в щеку. Ее немного горбатый нос ползал по его лицу, и она снова что-то шептала, словно молилась кому-то...

Георгий проводил Милу домой. Базаров дружески тряс его руку и просил «присаживаться». Но незначительный разговор их о Генрихе Манне, которого настойчиво предлагал Базаров, должен был прерваться.

Торопливо пришла «Галка» и сказала:

— Мила просила сказать господину Буреву, что она у меня, что, если он хочет, также может пойти ко мне...

— Пожалуйста.

И он от всего сердца пожал руку Базарова. Мила глубоко сидела на диване и строила гримасы.

— Когда у меня кто-нибудь, не люблю быть вместе с мужем, — шепнула она.

— Садитесь сюда...

Она откинула руку на спинку дивана, и ее маленький рукавчик сползал к самому плечу.

Георгий сел, а с обеих сторон его устроились дамы. Мила придвинула к нему свое плечо и обратилась к «Галке»:

— Поцелуй его, Лизка, он такой милый...

И «Галка», не задумываясь, впилась в угол его рта своими узкими губами. Счастливец пожал ее руку и боролся со слезой, которая все же скатилась по его щеке.



Из цикла «Intimité». 1918

Семен Иванович сел ближе. Он был хорошо настроен и развивал мысль о том, как хорошо было бы провести один из солнечных дней на лугу, захватив с собою крепкие напитки. Он превосходно знал окрестности Петербурга, а потому никто его не перебивал. Все были согласны на его предложение в ближайшем времени.

В полночь распрощались.

Капал дождь. Весенняя свежесть воздуха наполнила голову присяжного поверенного далеко не деловыми мыслями. Он слишком часто вздыхал и как-то подозрительно озирался. То и дело он собирался что-то сказать, но молчал, неоднократно поправляя свой котелок и приглаживая на пальцах перчатки. Наконец он сказал:

— Неужели вы не способны увлекаться женщинами, ведь вы — художник?..

— Это еще неизвестно, — ответил Георгий, — все в будущем...

— Я больше вас жил, — продолжал Семен Иванович, — в дурном смысле этого слова... И если я заинтересован женщиной, то это еще не значит, что я перестал интересоваться моими занятиями. Я, правда, отдаю часть моего времени... Так, например, чтобы сегодня побыть в обществе Людмилы Николаевны, мне пришлось отложить дело одного крестьянина на два дня. Но я знаю, на что иду... Женские награды тоже вещь хорошая... Правда, меня любили более красивые женщины, нежели Базарова, но в ней есть еще что-то помимо тела... Тело мне надоело.

— Так по-вашему выходит, что я слишком много трачу времени, забываю о моих занятиях и даже не требую никаких наград от женщины, в обществе которой бываю?..

— Да, пожалуй, потому я и спросил вас: не увлекаетесь ли вы немножко ею?.. Я, видите ли, прямо вам признался в этом.

— Вот вы сказали, что больше жили, чем я, но сколько вам лет?

— Двадцать четыре года.

Георгий взглянул ему в лицо и подумал, что таким людям, как он, невозможно было дать сколько-нибудь лет. Они вечны, они не старятся, не молодеют — у них всегда один и тот же вид, быть может, совершенный вид...

Да, это была вполне современная дверь, без скрипов и открывавшаяся во все стороны...

— Мне тоже, — вдруг сказал Георгий.

— Что?.. — переспросил его спутник.

— Двадцать четыре года.

Они крепко пожали друг другу руки, когда Георгий остановился у дома своего друга Евгения Силицына.

ГЛАВА XI

Бурев очень рано проснулся, чтобы засесть за работу.

Господи! Он не способен ни к чему, словно никогда не держал в руках карандаша... Но он чертил и искал на бумаге долго и робко.

Вдруг вспомнил о Силицыне и быстро оделся. Вчера, когда они прощались, Евгений сказал ему: «Занеси мне завтра булку, если можешь, а я постараюсь подольше поспать». Господи, неужели он уже встал...

Под руку ему попалась бутылка с молоком, это очень обрадовало Георгия. Как хорошо, что он дал Лукерии немного денег на молоко.

Сунув бутылку в боковой карман, он поспешно вышел из комнаты. Купил булку и папиросы. А когда шел, думал: какой он расчетливый человек, у него всегда находятся деньги на папиросы... Несмотря на то что у него была Мила, он постарался припрятать пятиалтынный на свои прихоти... Как он мог оставить их лежать в своем кошельке? Он ловкий плут?.. Нет, он просто скряга. А Мила сидела на его кушетке и вылила в его рюмку последнее, что оставалось в бутылке...

Георгий дал себе слово купить эту кушетку. Непременно, как только получит крупную сумму денег.

Силицын только что собирался мыться. Прохаживаясь по комнате почти без белья, он открыл окно, потому что запах красок и холстов был настолько силен, что он только чудом не умер в эту ночь...

— Когда это художники станут жить по-человечески, — сказал он.

Георгий положил на стол булку, молоко и папиросы.

— Нет, ты не глуп, — удивился Евгений, — ты совсем не глуп... Булку принес да еще молоко-о... А еще и папиросы, только что они больно «лилеестые»... По мне «Зефир» лучше.

Он чмокнул сухими губами и заявил о том, как хорошо все-таки поесть.

— А я уж думал, что ты совсем дурак. Ну, здравствуй что ли, — добавил он.

Друзья поцеловались.

Георгий попросил его вести себя как можно скромнее, так как Евгений Силицын не подозревает, что булка стоила ему ровно пять рублей — стоимость одного рисунка... Необходимо приняться за работу немедленно. Есть ли у него тушь? Да, несомненно.

Бурев работал.

Было половина второго, он стал нервничать. Ему необходимо к одной даме.

— Так, так... — покачал головой Евгений.

В дверях он сказал:

— Вечером можно рупь. Мне, что ли, принести?

— Нет уже, лучше не приходи, я могу не быть дома... — ответил Георгий.

— Войдите.

Словно день встретил он в этом звуке. «Галка» оставила их вдвоем. Она скоро вернется, у нее маленькое дельце...

Мила была грустна, она смотрела в окно.

— Ох, как скачет, как несется жизнь! — бодро сказал Георгий. — А навстречу ей вышли только несколько великанов-храбрецов и широко распахнули свою силу... Словно хрупкие люди перед хрупким конем!

— Где вы это видите, Геро, скажите мне, я так устала жить... Но мне так хочется жить.— Глаза ее были изумлены и печальны.

— Не надо, не надо так говорить. Я не был у начала всех начал, среди легендарных храбрецов, чьи раны омывались слезами жизни. Но я так счастлив!

— Вы счастливы, Геро?

— Да.

— И вам не грустно, когда льет дождь и холодно?

— Я счастлив каждую минуту, даже тогда, когда мне грустно...

— Ах, как хочется к солнцу. Я очень зябкая, и мне тогда становится страшно... Правда, жизнь — страшная штука?..

— Да, жизнь — это до некоторой степени призрак, который хотя и страшен, но безвреден... Поэтому можно научиться не бояться ее. Конечно, когда говоришь о жизни, не принимаешь во внимание полицейских канцелярий... Точно так же как забываешь о второй половине жизни, которая некрасива...

— О какой второй половине вы говорите? — переспросила его Мила.

— О той, которая некрасива, — повторил Георгий.

— Понимаю...

— Эта вторая половина вместе с полицейскими канцеляриями напоминает мне самую жизнь постольку, поскольку схожи меж собой какие-нибудь оголенные финские шхеры в море после дождя с суровым бельем кухарки, вздувшимся в лохани...

— Это очень странно... — сказала Мила после некоторых размышлений.

— Что?..

— Вот ваше сравнение. В нем звучал юмор, но это была форма. Я только сейчас поняла огромный смысл ваших слов.

— Но, скульптур, кажется, принадлежит к одной из разновидностей красивой жизни, — сказал Георгий.

— А вы чего-то боитесь. Вы любите скульптуру?

— Безумно, — ответила она.

— Я бы желал, чтобы вы любили ее точно так же, как Зубов свою живопись. Подумайте, он признаёт композицию, но у него столько самых безобразных нашлепков с натуры, количеству их мог бы даже позавидовать плодовитейший иллюстратор исключительно внешнего зрения. И Зубов пророчески прав. Он льстит натуре, тогда как ненавидит ее как творец... И она отдает ему ТО, ЧТО он мог бы взять от нее... Это ТО и есть загадка в творчестве Зубова, благодаря чему его символизм так удивительно реален, а поэтому и убедителен.

— Он правда безумно талантлив, — задумчиво произнесла Мила.

«Галка» вернулась. Что это, коньяк? Да, он не ошибся. Миле сегодня очень грустно и она хотела пить... Если б Геро пришел немного позднее, он застал бы ее более веселой... Но теперь он должен будет пить вместе с нею.

«Галка» простилась. Она должна пойти навстречу мужу; у него сегодня один из самых трудных экзаменов.

— Вечером — у нас, — сказала она.

— А Алексей Алексеевич будет? — спросила Мила.

— Да, я ему написала.

— Вы второй раз уже вспоминаете об этом человеке... — сказал Георгий, когда они остались вдвоем.

— Ах, это мой хороший знакомый. — Лицо женщины было немного загадочно. Они пили.

— Иногда я смотрю на ваш рот, и мне кажется, в пламени своем он жаждет влаги поцелуев...

— Вы можете это сделать всегда — я не люблю вас...

И глаза ее улыбнулись ему. Георгий горько подумал о себе:

«Ты все сочиняешь — любовь бывает только одна...»

— О чем вы думали? У вас были совсем черные глаза...

— Быть может, о том, что мне не суждено быть счастливым наяву...

И женщина придвинулась к нему; она поцеловала его в глаз.

— Какой вы хороший, — нежно шепнула она.

И он ласкал ее маленькую, пухлую руку, целовал мягкую ладонь.

— Я так крепко поцеловала вас?..— Мила глядела на крупную слезу, которая собиралась выкатиться из счастливого глаза.

— Да, правда, это было немножко крепко, — тихо ответил Георгий. Он встал и хотел уйти. Ведь он скоро вернется и принесет с собою картон и краски. Если Мила захочет, он попробует написать ее? Да-да, она так рада, она давно собиралась попросить его об этом. Мирон Манн много говорил ей о его работах...

Когда Георгий вернулся, «Галка» уже сидела подле Милы и рассказывала о блестящих успехах своего мужа. Но Мила вспомнила, что ее пишет художник Радовский, и предложила Буреву с завтрашнего дня самые неудобные для него часы.

Радовский? Да, это не кто-нибудь... Можно себе представить, что это будет за портрет! Он собирался мстить Миле. Его картон настолько мал, что он хотел бы сегодня сделать только набросок с «Галки». Да, «Галка» ничего не имела против... И он устраивался.

Мила лепила на своей высокой подставке. Глаза ее были злы.

Пришел Радовский: маленький, суетливый, уже стареющий, но ничего не создавший. Его цветные карандаши были уже очинены, а на безвкусной бумаге с огромным фоном мелькнула замученная головка, не имевшая даже сходства с Милой.

Но она покинула свою работу и села так, чтобы ее ноги закрывали половину «Галки»...

На сегодня довольно. Георгий уже знает, где он должен быть вечером.

Простились.

Но он сильно опоздал.

— Это он, это он... — услышал Георгий голос Милы.

Она вбежала в переднюю, но лицо ее стало вдруг недовольно, а губы прошептали:

— Это вовсе не Алексей Алексеевич... Ну, господа, — сказала она, возвращаясь к компании, — хорошо же вы приглашали. Я так соскучилась по нем...

Георгий разговаривал с «Галкой». Мила пила и чокалась со всеми, кроме него. Глаза ее были достаточно пьяны, чтобы он мог воспользоваться ее собственными словами: «Я не должна больше пить — вы это должны знать». Вино, которое она любила, вышло все, и, глядя на пустую бутылку, Мила сказала:

— Кто меня любит, тот достанет еще этого вина.

У Георгия не было денег, но он быстро встал и, что-то сообразив, отошел в угол комнаты.

— Куда вы, я вовсе не хотела, чтобы вы уходили; вы и так изволили опоздать, — торопливо обратилась она к нему.

Но он сделал удивленные глаза и, взяв со столика какой-то предмет, спросил:

— Вы меня о чем-то, кажется, спросили; но я был рассеян... Я только хотел взять вот эту пепельницу.

— Вы вели себя как юноша, — громко сказала Мила.

— Разве это не пепельница?.. — обратился Георгий к «Галке».

— Да, сюда я кладу разные дамские безделушки.

— В таком случае извините...

Он хотел отнести обратно принадлежность туалета, но его удержала Мила:

— Дайте скорей папироску...

Семен Иванович, который незаметно для всех отлучился, вернулся с бутылкой вина. Это было то самое вино, которое любила Мила.

Георгий взглянул ему в глаза и вспомнил. Будущий адвокат довольно подозрительно насвистывал, когда собирался уйти... Мила вспрыгнула на стул и радостно заявила:

— Господа, это достойно того, чтобы я его поцеловала.

«Его, в губы...» — подумал Георгий.

Когда он сидел с нею рядом, шепнул:

— Чертовка...

Она прислонила свое ухо к его губам и страстно ответила:

— Еще раз...

И снова пила и шутила с молодым бактериологом, который выпил совсем мало, но улыбался каждому отдельно.

— Вы всегда целуете мужчин после того, как пили вино? — спросил ее Георгий.

— Когда я пью, мне все кажутся такими милыми... И я думаю, почему я не могу поцеловать его или вас...

И он долго сидел молча. Может быть, Семен Иванович хочет поменяться с ним местом?

— О да, пожалуйста...

— Нет, сидите здесь, — ворчливо остановила его Мила. Она прищурила один глаз и тихо спросила: — Хотите уйти отсюда со мною?

— Безумно...

Они ушли в другие комнаты. Мила вся прижалась к нему. Она целовала его в глаза, в щеки, в лоб. Как неласков был с нею ее муж... А она так любит ласки. Она не может жить без них, она так тоскует... Ох, как она ласкалась, ох, как жаловалась...

Георгий задыхался, им овладело тоже безумие, как если бы он пил божественное очарование розы... И он услышал:

— Ах, только не в губы, милый... Я тогда отдаюсь вся...

И вдруг губы их встретились. Мила закинула голову, кусала губы, хватала его руки и в странном желании повлекла его к свету, к людям. Рыдания душили ее, но она сильно боролась с собою.

Они сидели на своих местах. Вдруг она шепнула:

— Я хочу, я хочу... — И увела его в темные комнаты. Там она ему шепнула: — Я в таком ужасном настроении... Ты писал «Галку», а не меня, разве ты не понял?.. Ах, ты так увлекался, когда смешивал краски. Глаза твои были черны, как ночь.

Губы их встретились...

— Милый... Ах, милый, ты такой ласковый...

Георгий, очень взволнованный, возвратился к веселой компании.

— Что такое случилось? — спросила его «Галка».

— Потом, дайте только немного воды.

Друзья закутали голову Милы шелковым платком и проводили ее к мужу.

— Трус, — сказала она Георгию у дверей своей квартиры.

— Нет... — уверенно прошептал он, — я пойду вместе с тобою...

Позвонив, она быстро овладела собой и приложила губы к его уху:

— Он возьмет меня... Ох, как это ужасно, без ласки...

— Родная... — ответил ей Георгий.

И, быстро закрыв за собою дверь, она громко сказала в маленькую щель:

— Прощай, Лизка.

«Значит, она была деликатна перед мужем, а я не был трусом», — подумал Георгий.

Он вернулся к «Галке», чтобы надеть пальто. Семен Иванович с некоторых пор почувствовал к нему дружеское влечение. Не хочет ли господин Бурев, чтобы он проводил его немного? Да, Георгий ничего не имел против...

Они вышли.

— Как странно все в жизни... — немного ежась от холода, сказал Семен Иванович. — Стоит только выпить вина — и ты уже не кажешься себе больше натянутым, тебе неудержимо хочется раскрыть свою душу... А иногда ты смотришь на самого себя — и тебе хочется обнять себя... Вы меня простите, господин Бурев, за эту болтовню; вы всегда такой странный... О вас ходят разные слухи, но я все-таки не согласен с ними... Вы как будто иначе склеены, чем все другие. Это, конечно, немножко... Но вы сами поймете меня лучше.

Он остановился и взглянул Георгию в глаза — они ничего не выражали. И продолжал, еще более ежась:

— Мне только хочется, чтобы вы сказали правду. Тогда и я отвечу вам также правдой... Скажите, неужели вы совершенно равнодушны к Базаровой?

— Почему вам это нужно знать? — сухо ответил Георгий.

— Тогда мне будет много легче... — Он не договорил, но Георгий понял его.

— Я люблю ее...

— Неужели? — удивился Семен Иванович. — Мне это приходило в голову. Теперь я вам могу сказать мою правду. Если это так, я могу уйти, чтобы не мешать вашему большому чувству...

— Напрасно наносите себе этот ущерб, вы можете оставаться. И кроме того, разве вы и отняли столько времени от ваших занятий?..

Присяжный поверенный взглянул ему в глаза, и на лице его мелькнула улыбка, та самая, которая появляется у любопытных. Он сказал, опустив голову вниз:

— Я очень извиняюсь за те мои слова, которыми дал вам понять мои отношения к Базаровой, мои виды на нее... Но из ваших слов я заключил, что она была для вас безразлична.

— Напрасно вы извиняетесь передо мной. Каждый человек думает посвоему, и его поступок является во всяком случае следом его глубокого убеждения или опыта.

— Вы странный человек, ваша доброта даже оскорбляет... — смеялся Семен Иванович.

— Ведь я уже сказал, что каждый поступок человека является следом его глубокого убеждения или опыта.

— Тогда я буду с вами смелее...

— Вот именно, — поощрил его Георгий.

— Мне кажется, что я больше вас жил... Я любил два раза. Меня целовали женщины много красивее Базаровой — и все это прошло... В ней есть что-то еще, но вы сами знаете — вечного не бывает на земле. Мне думается, что и вы увлеклись, но не как смертный, а как художник. Во всяком случае, я не беру моих слов обратно. Я схожу с пути большого чувства...

— Еще раз повторяю, напрасно. Человек не должен уступать другому то, что может принадлежать ему самому...

Его спутник взглянул ему в глаза.

— Это ирония? — сказал он.

— Подобный вопрос должен быть оскорбителен для задающего, — ответил Бурев, — но слушайте, что я вам скажу: дело в том, что я не терплю никаких одолжений, они обязывают меня быть обратно внимательным; но все это отнимет очень много времени, а награды только одни — добрая молва и добрые друзья. Я люблю врагов, они тормошат во мне меланхолию, которая подобно осадку от людской глупости находится в каждом из нас в большем или меньшем количестве. Я не могу согласиться ни с одним изобретением мысли, ни с одним изделием души, я иду дальше благодаря им же, и мне начинает казаться, что самый близкий человек становится моим врагом, как только предлагает мне свои дружеские отношения... Но вы, уступая моему «большому чувству», не хотите быть для меня даже маленьким препятствием... Лучше жить все-таки кое-какими надеждами на «женские награды», которые вы получите при итоге затраченного вами времени, нежели убирать с широкого пути мелкие камешки, а потом стараться засыпать ими пропасти...

— Но тем не менее, если бы нам пришлось когда-нибудь драться, я уверен, что вы были бы ТОТ, КТО этого захотел бы...

Семен Иванович нервничал. Но Бурев ничего не ответил ему. Он думал о том, что его светло-желтые башмаки стали совсем черными от дождя и грязи. Вдруг вздрогнул.

— Но ведь вы женаты?.. — сказал будущий адвокат.

— Разрешите вернуть вам обратно эти слова, — ответил он.

— Хорошо, я вижу, что вино не делает нас равными... Несмотря на все мое желание открыть вам душу и то, что есть в ней лучшего, вы стараетесь иронизировать этот редкий момент в жизни делового человека.

— Да, — перебил его Бурев, — только свободные люди могут рассчитывать на то, чтобы их слушали и не зевали...

— В этом, пожалуй, нет обиды для делового человека, — улыбнулся присяжный поверенный.

— Но на прощание я должен сказать вам еще несколько слов. Я могу поцеловать вам руку, но я могу и ударить вас по физиономии...

— Вот как! Как же это может случиться? Я начинаю думать, что вы в чем-то довольно последовательны. Ну продолжайте, это любопытно.

— Я продолжаю... Это будет так: если вам удастся стать мужем Базаровой, я поцелую вам руку... Но в другом случае я ударю вас... Вот видите, я был прав, когда думал, что вы будете ТОТ, КТО первый предложит драться...

— Но все-таки это небольшие еще награды для «делового человека» за потраченное им время. Во всяком случае, это не «награды женщины». Я думал, что вы все-таки более последовательны в своих убеждениях...

— Итак, мы расстаемся друзьями. Я уступаю вашему большому чувству, — сказал Семен Иванович, останавливаясь посередине улицы.

— Вот вы, человек искренний, кроме того выпили немного вина, почему вы не хотите сказать прямо: я уступаю вам, Бурев, потому что Базарова не считается с остатками времени деловых людей; она выбрала человека более богатого временем и бескорыстного в свободе...

— Но я думаю немного иначе. Базарова из тех женщин, которой прежде всего нужен самец...

— Вы хотите сказать, что она такая страстная? — В голосе Бурева было что-то наивное, казалось, он думал совсем о другом.

— Может быть, и еще кое-что... Итак, мы расстаемся друзьями. Мы условились.

— Скажите, по-вашему, любовник, также муж?

— Да, — смеялся будущей адвокат.

— Тогда, к сожалению, нам не придется встретиться врагами...

— Вы уверены в этом?

— Да, я почти уверен...

Они крепко пожали руки.

ГЛАВА XII

Все, что Георгий ел вчера, было легким ужином у «Галки». Он сидел у своего низкого окна и думал об этом. Но он все-таки не пойдет к Силицыну, чтобы получить обещанный ему «рупь». Чем нежнее с тобой приятель, тем менее он уверен в своем обещании... Не слышатся ли в его словах робкие надежды на тебя самого? Да, это так же верно, как то, что, обещая тебе, он прежде всего обещал самому себе...

Но Георгий предвидел и то, что его ранний визит мог бы понапрасну только разбудить Силицына. Сон — это было единственное у него в дни безденежья. А потому и направился к писателю Булыжникову. По дороге он зашел, чтобы поговорить с ним по телефону.

Хорошо, Булыжников будет ждать его ровно пятнадцать минут; кстати, он умоется и попьет чаю. Так, значит, авиатор-писатель не собирался покидать спальню через две минуты?.. Так ему послышалось в телефонную трубку. Быть может, Бурев вынудил его пойти на эту неискренность с приятелем, который слишком неосторожно прервал деловой сон авиатора-писателя? И ему необходимо доспать?.. Во всяком случае, он извиняется и, если будет угодно, непременно зайдет в другой раз... Нет, почему же, если он успеет за пятнадцать минут, то пусть приходит.

Отлично. Георгий спешил.

Иван Булыжников жил на улице Гоголя, как все «художники, которые живут по-человечески», — сказал бы Евгений Силицын. Его золотистые волосы вились по воле лирики души Булыжникова, и, протягивая Георгию руку, он снова сел за свой стол, заваленный моделями аэропланов разных систем.

Он вытащил авиационный журнал и обратил внимание приятеля на свой портрет в полном авиаторском мундире.

— Да, это, должно быть, очень приятно для вас, — сказал Георгий и улыбнулся. Ему припомнились слова Булыжникова о самом себе: «Хорошо бы

было вообще бросить к черту всю эту затею с аэропланами, тем более что мои литературные идеи очень далеки от культуры»...

Но, вероятно, у него не было ни одной идеи, если он не стыдился самого себя в глазах людей.

Он рылся в газетах и журналах и читал вслух такие места в них, где говорилось о его книге. Отзывы были самые недоброжелательные, но Булыжников предлагал их всем своим знакомым. Вероятно, он был того мнения, что произведение его нисколько не пострадало от этого. Правда, те, которые писали о его книге, были меньше самого Булыжникова: «Их можно было бы купить за бутылку вина», как он сам выражался о большинстве из них. Но зато те, кто были больше автора «Шалаша», не могли сыскать в его произведении ничего, что могло бы быть повторено разбором истинной критики и пересоздано ее чуткой душой по-своему.

У Георгия Бурева сложилось свое собственное мнение о Булыжникове, и он еще раз предложил ему вернуться к земле и забыть о воздухе.

— Земля, люди!.. Только подумать, какие есть прекрасные люди, а самые худые из них прекрасны в творческом зеркале, — сказал он, чтобы что-нибудь сказать и заглушить мысль о деньгах.

— Следующая моя книга будет не о земле, — не постеснялся ответить Булыжников такому хорошо знавшему его человеку, как Георгий Бурев.

— У вас вообще ее не будет... — Известно ли Буреву, что он покупает «Фармана»? Это будет стоить тысяч двенадцать. Но ведь у Ивана Булыжникова оставалось всего четыре тысячи, которые он хотел пристроить так, чтобы начать жить по-настоящему — в труде и заботах?.. Да, он получит еще восемнадцать... Да, тогда другое дело. И Булыжников еще немного может подождать с долгом?.. Ну, конечно, что за пустяки. Он даже сможет одолжить ему сегодня несколько рублей?.. Нет, Булыжников не уверен в этом — в его кошельке всего восемь рублей, а ему предстоят еще все эти обыденные расходы в Гатчине.

Он достал свой кошелек и вертел его в руках.

— Вот что, — вдруг сказал Георгий, — не пойти ли нам сейчас на выставку.

Ему было хорошо известно, что дела Булыжникова зависели от него самого, а потому он разрешил себе эту вольность.

— Хорошо, только нужно бы зайти в «Вену» позавтракать.

Глаза высокого работника повеселели, и он предложил:

— Пойдемте, правда...

— Я уже ел, — ответил Георгий.

— Ну, так выпьем вина, чего там... Просто посидите.

— Посидеть, пожалуй — я свободен.

Георгий отказался от вина. Разве приятель не был с ним искренен, когда уверял, что деньги могут ему пригодиться на гатчинском аэродроме?

— Правда, его столько пьешь за последнее время, что не мешает денек позавтракать с нарзаном, — сказал Булыжников.

Но Георгий отказался и от завтрака. Зато он пересчитал все горошинки на тарелке приятеля — он так был голоден.

— А может, не пойдем на выставку?.. — спросил Булыжников, выходя из «Вены».

— У вас дела, тогда не стоит.

— Мне бы нужно занести одному летчику сто рублей. Вчера в манеже мы пили шампанское, и у меня не хватило денег. А так как все меня поздравляли с покупкой «Блерио» я считаю своим долгом уплатить по счету...

— Да, конечно, до свидания...

На часах адмиралтейства было два. Георгий направился к Миле.

Она сидела с закутанной головой. Поза ее была более скромна, чем когда-либо. Как и всегда, лицо ласково улыбалось; но на этот раз Мила хотела казаться серьезной. Закинув голову, кусая губы и щуря глаза, она сказала:

— Что было, ради Бога, что было?

Он не ответил. Он смотрел ей в глаза, чтобы лучше понять женщину в такой важный момент.

— Я ничего не помню, я так была пьяна. — Она отвела взор на окно.

— Вы были в полном сознании — я даже удивился вашей воле.

— Я ничего не помню, но что было? У меня искусаны плечи и разорвана юбка...

— Мне показалось, что вы вскрикнули, когда вошли к господину Базарову. Вы сказали ему все?..

— Я сказала: «Уложи меня спать — я так пьяна». «Хорошо, — сказал муж, — где ты была?» «Вместе со всеми у Лизы».

— Когда вы вошли к господину Базарову, вы не простились со мною, вы это сделали только с «Галкой». Вы громко крикнули ей «прощай Лизка»... Это была ваша деликатность перед мужем; вы отдали ему последнюю дань, разрешив себе заподозрить того, другого, в трусости, перед которым были слишком неделикатны. Быть может, вы были не уверены, что было бы менее неприятно для вас — ваша еще одна жертва для господина Базарова или вся моя жизнь, которую я отдал бы за вас... Но, во всяком случае, голова ваша была полна размышлений...

— Но что было, что было? Вы не солжете... Я уже говорила с Лизой и высказала ей мое подозрение, что вы сделали со мной черт знает что. Я не помню, но юбка... Муж мне сказал об этом утром.

Лицо Милы было озабоченно, но глаза любопытны.

— Было все... — сказал Георгий. Он следил за ее лицом. Оно вздрогнуло, зубы больно закусили губу, а глаза выражали печаль. В каждой точке ее он заметил правдивую ложь...

— Это верно? — тихо спросила она.

— Да.

— Без любви вы это могли сделать? Ах, если бы все было иначе — это было бы прекрасно.

— Что?.. — переспросил Георгий.

— По любви.

— Но вы мне говорили «милый» и целовали в губы...

— Ах, я ничего не помню, я была так безумно пьяна.

Глаза ее улыбнулись. Она зажгла папироску.

— Быть может, я плохой человек, который воспользовался минутой, — сказал Георгий. — Да, возможно, иначе вы загрызли бы меня вашими крепкими зубками...

— Разве это уже не доказывает вам... Вы говорите — было все, но, по-моему, не было ничего... А потому я не виню вас ни в чем.

— Но, вы, говорили мне: «Как ужасно, муж меня возьмет, возьмет»... И он взял вас вчера...

Мила опустила глаза и, не поднимая их, спросила:

— Скажите, вы целовали мои плечи?

— Нет, это сделал господин Базаров, а потому у вас синяки... Тогда как вам нужна была бескорыстная ласка друга.

— Лизка говорила мне, что вы такой благородный; она не поверила, когда я так подумала... Но теперь я знаю, что вы не целовали моих плеч.

Глаза ее были грустны.

— Вы должны забыть об этом. Без любви это было бы проституцией...

— Я должен вам сказать, что ничего не было, ровно ничего, — сказал Георгий, изучая лицо женщины. — Положим, я целовал вас в губы, а этого очень много для вас...

И Мила бросилась к нему со своим лицом.

— Правда, ничего?

— Да, правда, я только ласкал вас, и я был счастлив, быть может, я плакал от счастья...

Она долго глядела ему в глаза.

— Дайте мне честное слово, иначе я могу подумать, что вы хотите присвоить себе мнение о вас «Галки». — И отвела глаза, морщила лоб, кусала губы.

— У меня нет слова; вам лучше знать, что было... — сказал Георгий.

— Я была без сознания... Вы должны мне верить, иначе мы не можем быть знакомы. Неужели вы подумали, что я могла отдаться без любви?.. — быстро оправдалась Мила.

— Вы говорили мне: «Милый, я в таком ужасном настроении, ты писал «Галку»... Разве ты не понял... Ах, ты так увлекался, когда смешивал краски?.. Да, вы это сказали, и вы целовали меня в губы. Вы шептали: «Я хочу, я хочу»...

— Но теперь вы скажите мне, что было...

Она взяла его руку.

— Я скажу вам последний раз — было все...

— Но я вам не могу верить, вы только что говорили обратное.

— Мне это было нужно. Я хотел, чтобы вы еще раз сказали мне «трус»...

— Слушайте меня. — Базарова придвинула к нему свое лицо. — Я вас не виню, но вы должны забыть об этом, если дорожите нашими свиданиями.

Вы случайный мой любовник, и это случилось без любви... Но я могу полюбить вас, и было бы прекрасно все это, только не на полу... Вы должны мне верить; если бы не разорванная юбка, мне и в голову не пришло бы подумать...

— Я верю вам, — глухо ответил юноша и подумал: откуда ей известны некоторые подробности?..

Он улыбнулся и продолжал:

— Бог с вами, я готов убедить себя в чем хотите, даже в моей подлости... Но мне только хочется вам сказать, что я никогда ничего не делаю, не поняв того или другого, вернее, для меня нет вещей непонятных, и я привык прежде всего верить самому себе, теперь я упал в своих глазах...

— Это была просто страсть.

— Я сильнее страсти, не вы ли сами называли мена «третьеклассником»?..

— Что вы хотите сказать? — Глаза женщины были злы.

— Только то, что вы сами хотели меня...

— Забудьте об этом.

— Я всегда буду стремиться к этому.

— Всю жизнь? — ласково улыбнулась Мила. — Мне приятно видеть вас у себя, и я, быть может, полюблю вас...

— Это было бы слишком большой жертвой для вас. Мне не суждено быть счастливым наяву — я провалился с моими новыми законами...

— С какими?

— В любви человек умнеет.

— Почему вы так думаете?

— Вы боитесь поделиться со мною грехом; вы взваливаете все только на одного меня.

— Но ведь я вас еще не люблю.

— Вы сами сказали, если б любили, то это было бы прекрасно. В этом не было бы греха. Именно теперь вы должны были бы поделиться... И разве ваше чувство ко мне не увеличилось, вы говорили мне «милый», вы целовали меня в губы... Положим, вы это делали и с другими; например, достаточно было какому-то человеку исчезнуть, а потом снова появиться с бутылкой в руках...

— Есть люди, которых я могу целовать так просто.

— В губы?

— Да, почему нет.

— А я?..

— Это было то, о чем вам нужно забыть. Бывает же с вами, как будто кто-то вас толкает и вы летите, ну... в воду...

— Вы скажете обо всем господину Базарову?

— Степану Ивановичу... Это могло бы помешать нашим встречам. Вы случайный мой любовник, которого я могу любить. И я могу захотеть вас видеть.

— Вы можете меня выгнать...

Георгий встал и прошелся. Он был весь во власти желания крикнуть женщине: «Вы все лжете».

Мила молча сидела и кусала губы, но лицо ее скоро улыбнулось. Это была одна из тех улыбок красивой женщины, которая ласково разглаживает суровые складки на лицах строгих людей.

Георгий почувствовал, как сжалось его сердце. Он живо вообразил изумрудный луг, межствольную тьму леса и так ясно ощутил любовную дрожь предутреннего воздуха, в котором слились в медленном поцелуе два родных ему неба — северной весенней ночи и утра. И воображение его создало двух молчаливых юношей, они словно отдалились от земли, утопая в розовой росе. И вот рука одного из них направляет оружие... Но глухому треску не суждено нарушить поцелуя в небе. Рука более жестокого падает, и глаза его узнают в юноше-враге знакомую мечту... Она явилась на лице покорного врага, подобно улыбке Милы; она напоминала о радостях души, вечно стремящейся к красоте, о творческих страданиях...

— Чего я хочу от Милы? Хочу ли я, чтобы она призналась в «проституции момента»? Быть может, я хочу, чтобы женщина призналась в любви ко мне?.. О, я слишком многого хочу... Нет, я хочу только того, чтобы женщина поделилась со мною грехом.

Георгий стоял у окна и думал:

«Но почему Мила не хочет признаться в своем чувстве ко мне? Не слишком ли преждевременно я заподозрил в ней это чувство? Не прорвал ли я нарыв его слишком рано, не причинил ли женщине боль? Да, я был слишком тороплив; я пленил ее моею страстью, не предвиденною ею страстью, на которую она посягнула, быть может, из любопытства... И когда женщина ощутила мои ничтожные ласки, бедная ласками Мила, не прильнула ли она к моей душе — подобно надежде?..»

Он упорно глядел на ее лицо, и вдруг ему показалось, что в жизни Милы все это были пустяки, что глаза ее глядели в даль прошлого, они еще раз наслаждались уже пережитыми наслаждениями, они еще раз брезговали теми, кто не умел их дать ей... А что такое для нее он, Георгий? Может быть, не более как томительный момент в ее настоящем, который только погружал ее в воспоминания?

И ему снова хотелось крикнуть женщине с бесстыдным лицом: «Вы можете меня выгнать, я не верю вам. И кто вам дал право заподозрить меня, Георгия Бурева, в слабости, в невменяемости... Берегитесь, я из сильных! Вы лживы, у вас не может быть господина, вы обладали только рабами — они у ваших ног»...

— Я приду к вам, когда будет дома господин Базаров, — сухо сказал Георгий после утомительного молчания. Мила продолжала молча сидеть, глаза ее казались выцветшими. Георгий ждал.

— Муж не на службе, он может прийти с минуты на минуту...

— Да, при нем вы всегда старались спрятать себя, а вы так любите показать себя. Я ухожу. Мне это нужно запомнить...

— Ваш адрес, я могу захотеть вас увидеть. Но если у меня будет ребенок — я убью себя.

Георгию показалось, что глаза ее были мутны от слез, а губы вздрагивали. Он судорожно сжал ее руку и сказал:

— Вы будете теперь сильно беспокоиться?

— Этого мало сказать...

У юноши было такое чувство, как будто он совершил преступление.

Солнце ласково пригревало его плечи, но он часто останавливался где-нибудь у водосточной трубы, чтобы не упасть от головокружения.

Подошел к Неве, сновал между огромными тюками, сложенными в горы, и, отыскав среди них укромный уголок, отдался мыслям.

Плыл редкий, запоздавший ладожский лед. Суетливый пароходик шуршал среди вытаявших льдин и топил их в мутной воде. Черный великан — норвежский пароход — вылез из воды, его ярко-красная грудь словно вздохнула...

Скоро, скоро вы, упругие девушки севера, будете чваниться русскими бисквитами Жоржа Бормана!

Грустные глаза Милы стояли перед ним, словно убеждая в своей правде. И Георгий спросил самого себя, как бы защищаясь:

«Где же та, другая пара глаз? Не она ли заставила меня усомниться в самом святом души Милы?»

Размышляя, он вызвал в памяти лицо Базаровой с такою ясностью, что его собственное было так же выразительно, как если бы он сидел подле нее, слушал и сам говорил. И он живо вообразил тот разговор, которого между ними не было, но если б он и случился наяву, то это было бы только повторением того, что Георгий хорошо знал уже прежде.

— Мне могут поцеловать руку, но зато могут и ударить по физиономии...

— Зачем, кто?

— Дверь одной молодой купчихи, которую я ни разу не бросил и не ударил о гардероб, но всегда вежливо приветствовал...

— Странно...

— Да, это будет в том случае, если я стану супругом Милы. Деловой человек должен был уступить моему «большому чувству», как он сам выразился. И в свои свободные часы только томиться, тогда как они сулили ему «женские награды»... Разве присяжный поверенный не отложил ради Милы важное, очень важное дело «одного крестьянина»?.. В этом есть доля правды; он сам ему сказал об этом.

И Мила улыбается, она может это делать бесконечно долго — это так идет к ней. Но вот она говорит таким голосом, словно думает следующее:

— Ты такой дивный любовник, и я не хотела бы принести тебя в жертву другому... Зачем тебе быть моим супругом — разве не хорошо так?.. А время свое возьмет, и на твое место придет другой, а на мое придет другая... Глу-



Деревья. 1910-е годы

пый третьеклассник... Ну, скорей, скорей!.. Нужно доказать... Иначе не поверю твоей любви.

И она приближает к его лицу свои высохшие губы, ловит ими воздух, но делает вид, что озабочена чем-то другим, но говорит нечто иное:

— При чем здесь Семен Иванович? Если хотите, я могу сказать ему, что я сама не пожелала вас в мужья?.. Несмотря на то что вы этого хотели...

— Ты была в полном сознании, сильная, прекрасная, — громко сказал Георгий среди огромных тюков, из которых выбивалась невыделанная вата.

Да, Мила ревновала его к «Галке», но, может быть, он слишком много вообразил себе, когда сжал ее в своих объятиях?.. Может быть... Но он уже не искал ее огненных губ, они ютились у его рта... А женщина искала его тела, руки ее блуждали по нем... И он сошел с ума...

— А ну иди, иди. Эге, брат, да ты болен — косточка на скуле образовалась, это и со мной бывало... Мы холостяки, нам можно, да и под глазами-то сине...

Евгений Силицын был весел.

— Много денег имеем? — спросил он у Георгия.

— Завтра, не застал мецената. К тому времени еще подработаю — целая ночь впереди. У тебя новости?..

Георгий глядел на стол, покрытый белой, чистой скатертью, на свертки, бумага которых была так хорошо ему знакома, что он наверняка мог бы поручиться за вкусное содержимое.

— Что и говорить, — пошутил Силицын, угадав его мысли. — Раздевайся, а то чего только не бывает на Божьей земле: свалится этакая большая и околеет... Так сразу дух и испустит. Ты что, не обедал? — заключил он строгим голосом.

— Не успел, — ответил Георгий, подробно разглядывая стенки и углы комнаты. Он не церемонился с приятелем и, если замечал новый картон, поворачивал его к себе без лишних слов.

— И денег нет? — допрашивал приятель.

— Все вышли...

Силицын закатился своим странным смехом, похожим на кудахтанье старой курицы, за которой гоняются.

— Экая ты курица, — нервно смеясь, проговорил Георгий, и ему неудержимо захотелось плакать от усталости и счастья, что был у него друг, с которым можно посидеть, поболтать и выпить чаю.

Смех Силицына становился истеричным: он хватал себя за живот, наклонялся к самому полу, запрокидывался назад и снова багровел у самого пола... Наконец, он мог проговорить:

— Какое блаженство все-таки поесть. И жевал и мурлыкал: ведь эдакая большая — растянется и околеет...

И вдруг тяжело вздохнул; слова его были словно больные:

— Видел, идет, смотрит... Как она смотрит, проклятая, — умрешь... Валентина!

Друзья бодро жевали. Их больной смех сближает души, и они раскрываются...

Так легко потом.

За полночь. Огни особняков поблекли; их медленные отражения в Неве утомляли зрение и клонили ко сну. Как хорошо там, за Невой, в пустынных дубовых столовых, где мыши стучат своими мягкими телами, от шороха тишины... или запоздалой зевоты лакея... Ничто там не должно тревожить счастья... Оно уснуло, оно отдыхало от даров...

Безразличный бег самых покорных животных убаюкивал слух, утомлял возмущения... Их подковы звучали словно сквозь сон, звучно, но медленно.

Георгий закрыл глаза, чтобы насладиться предрассветной музыкой столицы, почувствовал, что падает, и боролся с головокружением.

Но вот изумрудная капля утра медленно разбавляет синий мрак, и волны его убегают в темные устья василеостровских линий, темно-синими змейками, червячками...

Господи! Как тихо было в его душе; мозг подчинился закону усталости... Сердце билось ровно, медленно, словно ничто не трогало его за долгий день — ничто житейское, ничто божественное...

Спина академического Сфинкса грузно пригнулась на своем ложе; казалось, она шевелилась в своем медленном и бесконечно-сладком полусне...

Мимо него словно пронесли огромную лестницу... И Георгию показалось, что он мог бы теперь воспользоваться случаем, чтобы взобраться по ее ступеням на самый верх... Оттуда смотрели на мир Данте, Ориосто, Тассо... Но взор его устал, а в мозгу мелькнула какая-то безразличная мысль. И снова все было тихо; ноги не чувствовали каменных плит...

Георгий заметил свое окно. Как хорошо там — уснуть, уснуть... Но вспомнил о работе; перед ним была целая ночь. Она могла бы принести ему много денег. Он не должен показывать Миле, что был так беден...

«Жизнь...»

Эта мысль пронеслась в его голове с такою быстротой, что он вздрогнул, точно от резкого, холодного ветра. Она вернула его к действительности, а сознание помогло ему, как всегда.

Георгий был слишком благодарен тому невидимому спутнику своему, который бодро нашептывал ему свои волшебные слова... Но керосин в лампе догорел еще вчера, а он не успел дать Лукерии новых денег, ведь она сама не догадается. И он повел грустными глазами по серому изумруду петербургского неба. О, столько надежд увидел он в северном небе: оно словно цвело!

Георгий подошел к дверям дома, они были заперты, и что-то заныло в его груди.

У него не было денег, чтобы дать их швейцару; а он, быть может, сладко спал. Подождет, конечно; не все же люди спят, кто-нибудь еще не возвращался. А тогда он прошмыгнет незамеченным, словно малыш, с которого денег не спрашивают. И вдруг вздрогнул. Он сам не заметил, как нажал звонок. Он находился в глупейшей забывчивости; быть может, ему припомнился родительский дом, когда за одну только ночь он несколько раз тревожил швейцаров, робких и вежливых с ним, о которых он никогда не думал специально?

Среди ночи так странно звучит ключ, повернутый в замочной скважине два раза... Не напоминает ли его торопливость дремотное лицо отпирающего; его бледную руку, ютящуюся по привычке у живота запоздавшего?

Это было так скоро, и Георгий судорожно — схватился за карман и, вынув из кошелька завернутое в бумажки обручальное кольцо, сунул его в руку сонному человеку. А сам быстро умчался по отлогой лестнице.

Было довольно светло, и Бурев мог сесть за работу. Но низкое квадратное окно часто отводило его глаза на дали береговой линии, где возвышался огромный черный корпус норвежского парохода. Прошло много времени. Сначала он увидел каменщиков. Они пришли к самому его дому, долго перекладывали камни и мостили ими улицу. Суровые голоса их едва долетали до его ушей, но он хорошо мог понять, что люди бранились меж собой. А потом, когда он привык к звукам камней, не мог не вздрогнуть от визга первого трамвая, который прошел также под самым его окном.

Было утро. Бурев отложил работу и прислушался. Босые ноги Лукерии бодро шлепали у дверей соседа. Она приходила за тем, чтобы взять почистить башмаки и платья молодого датчанина, который жил у них очень давно. А потому ему не отказывали в прихотях. Но он еще крепко спал — значит, не было восьми...

Георгий попробовал уснуть, но его снова беспокоили галлюцинации. Его слух стал настолько тонок, что не стоило никаких трудов расслышать голоса, разговаривавшие с ним из какой-то невероятной дали... Они не говорили ему ни о чем путном, но, благодаря им, он не мог додумать ни одной собственной, даже самой простой мысли, он не был в силах покойно лежать, когда кто-то, невидимый, кричал у самого его уха... Он вздрагивал всем телом и в одно мгновение был на ногах. А когда снова ложился, ругался, отчаянно ругался, кивал головой и фыркал носом до головокружения, причем сознание его было настолько прозрачно, что мысль о гибели, являвшаяся к нему всегда в дни сильно расстроенных нервов, привела его в ужас.

И к нему из каких-то глубин, до которых он никогда не мог опуститься со своим психологическим острием, явилась редкая, но безобразно-угрюмая гостья... От нее повеяло какой-то зеленой гнилью, которая, быть мо-

жет, пристала к ней, когда она была в гостях у Смерти... О, какая это была жестокая гостья, она не отряхнула с ног своих эту ужасную гниль.

И, глядя в ее темное, безликое лицо, в ее молчаливые, тихо движущиеся губы, в поблекшие заплесневелые глаза, Георгий старался додумать какую-нибудь мысль, чтобы удержать покидавшее его сознание.

А глаза гостьи стояли перед ним, равнодушные, неподвижные, словно это были два загрязненных, выцветших стекла, вставленные в манекен, который долго пролежал забытым где-нибудь в затхлом сараюшке, прилегавшем к огромному старому музею...

Он тяжело дышал, и каждый раз, когда грудь высоко поднималась, она падала, словно придавленная невидимой лапой. Еще мгновение — и кровь должна хлынуть из его горла... Она будет литься до тех пор, пока не выльется вся.

Безотчетная радость, подобно одинокой звезде, ни на минуту не перестававшая сиять в тумане его страданий, приносившая с собою такое нежное вино, вдруг покинула его. Но Георгий Бурев не принадлежал к тем натурам, чье внутреннее «я» складывало свое оружие и погружалось в глубокий обморок. Все существо юноши обратилось с мольбой к той жизни, которую он так любил. Любовь его была огромна, а потому воспоминания о жизни пробудили в нем художника. И сквозь страдания, как сквозь сон, он изумился своей фантазии. Она рисовала ему могучие картины, но это были картины ужасов... Вера в себя, возбужденная предчувствием гибели, заставила похолодеть его пальцы и губы, им обуяло великое желание садистской мести, и единственное, что могло его успокоить в эти тяжелые минуты, было терпение.

Ему казалось, что он дремал, но это была только слабость. Временами он падал в пропасть... И снова размышлял. Кто была его гостья? Уж не была ли она послана ему навстречу величайшим его врагом — Смертью, чтобы еще раз, быть может последний раз, сказать: «Нет судьбы, а существует Болезнь, которую ты всегда мог бы задобрить такою мелочью, как бутылкой кефиру и ежедневным обедом из двух блюд?»

Это была слишком несправедливая насмешка над таким честным человеком, каким был всегда Георгий Бурев. Да, это было слишком.

Он растрепал свои волосы, бил себя по скулам и топтал одной ногой другую, покуда не пришел на грань истерии. Рыдания теснили ему грудь, давили горло, но он быстро умолк... Глаза широко раскрылись и глядели в сказочный мир надежд. Георгий был покоен, точно он уронил могучую стену, а за ней выстроился ряд бутылок с кефиром... Их было так много, что могло бы хватить на целую жизнь. Да-да, на долгую, красивую жизнь, переполненную творческими вдохновениями!..

Он снова возился на своей кровати словно отмахивался от кого-то. Теперь его можно было сравнить с ребенком, который нашел гривенник; но его повалили и хотят отнять эту ничтожную монету, на которую только он один мог бы купить себе полное счастье.

Ведь никто еще не сказал, что у него чахотка, ни один доктор; но и тогда, стоило ему только накупить кефиру и начать побольше есть, как он свободно мог бы залечить болезнь. Ведь у него бывали же порядочные суммы денег... Завтра же он отправится к доктору.

И кто-то таинственный, похожий на друга, стал нашептывать ему свои слова:

«Не ходи к доктору, ведь лучше ничего не знать... Ты иногда не веришь своей болезни и не тратишь понапрасну деньги на кефир. Ведь ты же не обжора какой-нибудь?.. Ты сам это хорошо знаешь. Но зато ты ни в чем себе не отказываешь: покупаешь книги и можешь купить себе даже те из них, что до сих пор лежат еще на окнах магазинов. Разве ты не записал их в свою книжечку? Вот подожди немного, до следующей порядочной суммы, которую ты уже заработал, может быть, за одну сегодняшнюю ночь, когда все люди спали, не подозревая того, что они могли бы также получить лишние деньги, чтобы купить новые книги. И тогда ты можешь дать бедному старику и молодому пьянице столько, сколько захочет твоя душа и сколько рука твоя выхватит... А доктор тебе скажет, ведь все может быть: «Вам надо пить кефир и хорошо питаться, и еще не мешало бы вам, молодой человек, переменить местожительство. Вы где живете?..» Да, он подумает с минуту над своим немного резким вопросом и извинится. Ведь доктор, в сущности, не хотел заподозрить молодого человека в том, что он живет где-нибудь на чердаке, где время от времени господа сушат свое изящное белье, или в самом низу, вблизи погребов, где служанка по воскресным утрам вертит мороженое. Будучи врачом, он, вероятно, хотел только посоветовать молодому человеку выехать из Петербурга куда-нибудь на юг, где посуше... Такой совет, во всяком случае, принесет пользу. А пока что он не должен забывать своего врача. До свидания. И доктор, не проверяя своего заработка, с которого мог бы дать сдачу, по крайней мере, в размере двух третей, потому что ты живешь очень высоко, положит его в брюки... А ты постепенно начнешь забывать о том, что такое книги. Только подумай: кни-ги... Бедный старик... Только подумай: бедный седой старик. Молодой пьяница... Только подумай: бедный, покачивающийся молодой пьяница...»

Георгий положил руку на лоб — он был в холодном поту.

Что за вздор несет моя голова. О, этот минимальный объем, он хочет вместить в себе сумму максимумов! Он может покойно лежать на своих сытых высотах; он может хохотать над всем, что происходит ниже его, несмотря на то что там и голод и болезнь... Прочь книги, прочь искусство! Я должен показать себя профессору. О, для меня в настоящую минуту важнее иметь здоровую грудь, две могучие руки, нежели одну сытую голову...

Он приподнялся, чтобы вымыться холодной водой, но на этот раз удержал себя от ее помощи. Ему показалось, что он должен уснуть при первом же серьезном усилии воли. И он громко сказал себе:

— Теперь ты будешь спать. Да, теперь пора спать.
В это солнечное утро Бурев повторял свою фразу много раз.

Три часа. Георгия Бурева ждет издатель.

Он сидел в своем единственном кресле и пересматривал работы. Их было много: пестрые, смело заштрихованные, словно это были работы уверовавшего в себя мастера. Он увидел русских баб, мужиков, мальчишек, животных... Тех самых, что на рассвете пленили его своею кротостью и покорностью. Извозчики спали на своих вышках, и кнуты их болтались как часть их самих, по воле ветра и толчков. И его лошади были унылы, словно спали, а люди были чем-то зачарованы или погружены в глубокую каталепсию. Облака повисли в небе, подобно тяжелым глыбам, а иллюстрация к «февралю» походила столько же на февраль, сколько его обручальное кольцо — на пятиалтынный...

Георгий спустился по черной лестнице. У него не было денег, чтобы выкупить свое кольцо; но он был настроен весело.

«Да, это был удивительный залог...» — подумал он.



ГЛАВА XIII

Наступили светлые дни — у Георгия появились деньги. Их было много, очень много. И счастливому необходимо было поудобнее разложить их в своем бумажнике. Они достались ему не даром: целый цикл картин, которые он бесконечное число раз поворачивал и переписывал, были наконец проданы весьма почетному меценату.

Он улыбался себе самому в зеркало и присказывал:

— Тебе необходим какой-нибудь особенный галстук, может быть, яркожелтый?.. У тебя ведь есть теперь достаточно времени, чтобы подумать об этом.

И он бесцеремонно мычал, толкаясь без всякой нужды по комнате. А когда заглядывал в окно, на дали береговой линии, лицо его не было, как всегда, грустно. Теперь оно выражало счастливый покой, как будто красный бок норвежского парохода и не думал погружаться в воду от товара, а по-прежнему призывал любопытного на свою просторную спину, по которой только изредка постукивали каблуки командира.

Но все же Георгий часто вздыхал... Мила ничего ему не написала до сих пор.

Он подождет «до трех раз», как сказала бы дверь одной молодой купчихи, если бы он чем-нибудь ее обидел...

На другой день он сидел у своего окна подавленный и много курил. Он думал о той, которую так нежно любил. Пришла Лукерия — она забыла раньше доложить господину Буреву, что телефон записан... И что просили позвонить поскорее...

Это был номер Базаровых. А он целыми часами мог разгуливать по улицам... Разве он не был уверен, что Мила о нем думала? Ведь было же у нее сердце, как и у всех людей?.. Он давно мог бы услышать ее милый, немного грустный за последние дни голос.

Мила звонила ему? Да нет... Это звонила Лизка. Георгий должен кончать ее портрет. Ведь он согласен? Он должен прийти ровно в два, как это делал всегда. Но он надеется, что и Мила будет дома? Быть может, она, как и

в прошлый раз, будет сидеть в своем кресле, загораживая ему свет... А глаза ее будут по-прежнему ревнивы... Ведь это же так много для него, таким образом, портрет может быть особенно удачен... Ведь Мила не желает плохого портрета своей подруге?.. Да, но она позирует Радовскому. Где-нибудь в другом месте? Да, у него... Как это странно. За последние дни он совсем не может оставаться наедине с женщиной. Ему начинает казаться, что он распространяет по всему ее существу гнетущую скуку. А что касается портрета, то это только пустая отговорка с его стороны... Он не один раз замечал, как «Галка» глядела на него злыми глазами, она это поняла. Пусть уж лучше кончает портрет кто-нибудь другой, может быть, господин Радовский... Остается очень немного, главное выискано и заключено в известные формы. Господин Радовский не слишком утомится...

— Да, но Радовский пишет меня, — смеялась в трубку Мила. — И кроме того, это даже странно...

— Да, это правда.

— Приходите в три, вы застанете меня. — Георгию показалось, что она смеялась там в трубку, шепотом смеялась, а это было еще хуже...

Господи, как все изменилось, когда он пришел к Миле. У нее собралось целое общество. Какой-то студент с обтянутыми скулами и нагло обстриженной головой властно полулежал на диване и изо всех сил щелкал вытянутым пальцем по раскрасневшейся руке Милы. А ее в чем-то провинившееся лицо молча просило пощады...

«Уж не был ли это тот самый Алексей Алексеевич, которого так часто она вспоминала?..»

Так вот он какой. И Георгий сказал:

— Так это вы Алексей Алексеевич? Право, когда я вошел, мне показалось, что вас зовут как-нибудь иначе... Ну, хотя бы Семеном Ивановичем...

— Почему все это?..

Лицо студента было неподвижно.

— Не знаю, но мне и в голову не пришло, что вы именно и есть Алексей Алексеевич.

Георгий глядел на бесцветное лицо Милы. Оно было без улыбки и крепко сосредоточенно на несуразной по своим размерам маске господина Базарова, ее мягкий и тонкий указательный палец приглаживал надбровную кость. Но он продолжал:

— Это, по меньшей мере, был знаменательный случай в моей жизни с именем, которое я хотел отнять у его собственного господина.

Все улыбнулись. Радовский сделал лицо, достоинство которого могла бы оценить только Германия... А толстушка — дама гладко причесанная, но разодетая — завела разговор о портретном «несходстве».

Она еще ни разу не видела художественного произведения, которое походило бы на живого человека. Только одна фотография напоминает ей умершего мужа, несмотря на то что в комнатах висит большой портрет, писанный самим Репиным...

— Да, это странно... — возразил Бурев. — Вы отрицаете даже это качество в Репине... Вы больше чем современны...

Он на минуту задумался и продолжал:

— Быть может, вы скрываете у себя дома многое из собственных творений? Вы должны быть велики, если уж на то пошло... Ведь вам уже не мало лет...

— Ах, нет, я ничего не понимаю в живописи...

Спустя минуту дама незаметно вынула из ридикюля кусочек ваты и попудрилась.

Мила лениво подошла к маленькому столику, прикрытому чудесной скатертью, сшитой из мельчайших кусочков... Быть может, это была какая-нибудь старинная персидская материя. Она увидела на ней очень тонкие папиросы.

— Чьи это? Можно? — спросила она.

— Да-да, конечно... — поспешил предложить Георгий.

— Pardon... — И она положила обратно папироску, которую собиралась закурить.— Я не спросила у вас позволения...

— Да, но разве я не предлагал вам моих папирос? Я это сделал еще раньше, только вы меня не слышали.

И она взяла у Алексея Алексеевича. Снова лепила, время от времени крепко затягиваясь.

Молодой бактериолог, с глупейшим лицом, какое только Георгий видел на русской земле, сильно развалился на диване, подражая в этом своему коллеге с обтянутыми скулами. Его рубашечка сильно сморщилась, а казенные брючки неприлично или, вернее, некрасиво обтянули ноги... Голову он держал в сторону «Галки», а она была его женою уже восемь месяцев. Он думал вслух:

— А где это, Лизочка, у нас кастрюля, кофей, что ли сварить бы? Нет, ты сиди, сиди... — спохватился он. — Я сам, я сам...

Этот человек, между прочим, отрицал все то, что подразумевают поэты под «душой». Кроме того, на лбу у него были подозрительные ушибы... Ну, это дело не наше, решил Бурев.

Он смотрел на «Галку», а когда она это заметила, прищурил один глаз и продолжал глядеть в упор. Углы ее рта поползли в стороны. И он сказал:

— Сегодня в вас перемена; сегодня оба угла вашего рта не могут быть неподвижны. Тогда как в старое доброе времечко это было только с одним уголком, быть может левым уголком.

— Да?

«Галка» хохотала, а сквозь смех говорила:

— Но, господа, так мы сегодня не будем РИСОВАТЬСЯ, не будем лепиться?..

Георгий поймал улыбку Милы и невольно улыбнулся сам; тогда она снова улыбнулась, и это была очень нежная улыбка. Она спросил его:

— Вы не в настроении писать?

— Для этого у меня не бывает какого-нибудь особенного настроения... Это так было хорошо. И если б моя модель сидела сейчас в черном, я бы без



Из цикла «Intimité». 1916

лишних любезностей пересадил ее в другое кресло, чтобы продолжать портрет.

— Я могу переодеться? — заинтересовалась юная супруга бактериолога.

— К чему, из-за такого пустяка не стоит...

— Вам не хочется?

— Очень...

— Что?

— Хочется...

И он встретился с быстро брошенным на него взглядом Милы; встал, разглядывал маску ее мужа, и нашел большое сходство.

«Галка» позвала пить кофе, вероятно, он уж готов. Все отправились в дом молодого ученого.

Он возился с приготовлением и очень был рад гостям. Он сам наливал всем кофе, Георгий пристально наблюдал за ним, и ему показалось, что молодой бактериолог дарил его снисходительными улыбками.

Разве могло ускользнуть от наблюдательного ученого, что в доме Базаровых с некоторых пор стал появляться некий «юродивый», «фразер», «прикидывающийся психологом»?.. Лоб у него был выпуклым, но глаза глупы, как у рыбы. И он часто опускал их, чтобы разглядеть маленькое пятнышко на своих светлых брючках.

— Скажите, почему вы носите красную рубашку? — спросил его Георгий. — Разве наука, которая увлекает всецело, не делает из человека робкого на шумных перекрестках улиц?..

— Н-да... — ответил ученый. — Вы судите по себе... Нельзя же только писать картины, есть и еще кое-что на земле; особенно теперь, когда никому и в голову не придет, что открыта та или другая выставка картин. И, кроме того, лучше пожертвовать свой полтинник на более нуждающихся...

Он, вероятно, намекал на «современную мазню».

— Да, все же, — сказал Бурев, — вы были правы, когда так выразились: «для более нуждающихся». Искусство не нуждается в красном цвете, для него он сам по себе ничто, если не состоит в смеси с тонкою индивидуальностью...

— И, кроме того, — перебил его человек в красной рубашке, — что за пшютские навязывания своих воротничков и зеленых да желтых галстуков?.. Это, по меньшей мере, грубейший предрассудок.

Он возмущенно замолчал.

— Если это был предрассудок, то при чем же слова «пшютские навязывания»? Очевидно, у вас еще кое-что осталось рабского, несмотря на то что вы выкидываете всюду флаг свободы... Что вы подразумеваете под «свободой»? Возможность ли политических заговоров в ваших удивительно покойных университетских стенах, которые так художественны, или, быть может, вы допускаете полное торжество эгоистического «я»? И уже не считаетесь с нравственными устоями наших скромных родителей?.. То есть я хочу сказать, берете ли вы понятие о свободе настолько широко, что оно не может уже быть мещанским?..

— Надеюсь, если разрешите, — нервничал бактериолог.

— Отчего же, только имейте в виду следующее: общество, которое живет без всяких правил, свободно относясь к мещанской нравственности как к бесконечному ряду предрассудков, должно иметь хотя бы одно правило для себя. Оно, пожалуй, гласит так: жить без правил, жить свободно — это еще не есть правило свободы сильных. Быть красивым в свободе, быть красивым в силе — вот их правило. Но немного найдется таких людей из тех, кто так ревностно оспаривает мещанскую мораль безусловно крупных умов, этих прародителей своих измельчавших внучат.

Но свобода не зависит от дегенерации, у нее есть свое определенное русло — время; точно так же как художник не зависит от культуры... И уметь ненавидеть мещанскую мораль еще не значит быть красивым... Красота! Вот религия свободных; быть красивым всегда и всюду и в самой ненависти своей — вот их правило.

Лицо молодого ученого проявило усталость; оно тупо думало и напоминало неподвижный флаг, вымоченный за ночь дождем и черневший на своем шесте высоко в солнечном небе.

— Да, но ведь я не выставляюсь на выставках... Это уж из области индивидуалистов...— промычал он и добавил: — Мы живем попроще.

— Наконец мы одни, — сказал Георгий, направляясь к квартире Базаровых. — Мое пальто висит у вас.

Они пришли молча.

В комнате Милы было прохладно и уютно и, кроме того, совсем прибрано. Но Милу это не удовлетворяло: она заботилась о каждом уголке, встряхивала скатерти и перекладывала разные предметы. Быть может, она все это делала только для того, чтобы он поскорее надел свое пальто?

Георгий простился.

— Два слова... — Она повернула к нему свое лицо. — Снимайте ваше пальто и садитесь на диван.

Но он взглянул на большие стенные часы и сказал:

— Без пяти минут шесть; вы должны будете сейчас приготовить господину Базарову обед.

— Степану Ивановичу... Часы вперед на целый час. — Она улыбнулась.

Георгий сел с нею рядом.

— Уедемте вместе, — сказал он бодро.

— Скажите просто, то, что вы мне говорили, было несерьезно.

— Что?

— А вот все эти дни.

— Почему?

— Вот вы уезжаете, а я только начала верить вам... Мне показалось, что вы не как все. Но это мне просто показалось.

— Мы уедем вместе.

Дитя, совсем еще ребенок. Лицо ее было так мило, что Георгий сам удивился тому, что не поцеловал его.

— Вы боитесь?.. — спросил он ласково.
— Я ничего не боюсь...
— В таком случае...
— Без любви? — смеялась она.
— Не все ли равно, с кем вам быть, со мною или с господином Базаровым; вы не любите ни того, ни другого...
— Это было только одно увлечение; вы очень увлекающийся... — сказала задумчиво Мила.
— Я был уверен, что вы уедете со мной, мне показалось, что я для вас ближе других.
— Да, вы мне дороже всех... Но...
И она рассказала ему о том, как один человек четыре года бродил за нею и добился... Но спохватилась и продолжала:
— Он добился того, что я целовала его как брата.
— Зачем вы это прибавили, это все лишнее.
— Что вы хотели сказать? Я была тогда совсем юная девушка, только что кончила гимназию.
— Ну, мне этого мало... Я написал вам письмо, но разорвал его у самого почтового ящика. Я думал, что мы с вами больше не увидимся.
— Почему же вы разорвали письмо?
— Я дал себе слово никогда не писать женщинам.
— Да, ведь вы считаете меня женщиной и боитесь...
— Я считаю вас женщиной, прекрасной женщиной...
Она пустила ему в лицо табачный дым.
— Подумайте, — продолжал Георгий, — вы ищете счастья, а от горя не замечаете пустых мест в вашей жизни... Вы играете в какие-то детские игры, для этого у вас находится Алексей Алексеевич... Вот, например, как сегодня, вы проиграли и подставляете ему для щелчков вашу нежную руку, а его бьете по носу, когда он вам проигрывает. Я стремлюсь к тому, чтобы в моей жизни не было этих пустых мест.
— Да, это великолепно.
Георгий молчал.
— Но все же я с вами не поехала бы даже до Орла, куда собиралась на этих днях, к матери.
— Почему?
— В вас есть что-то татарское, вы, пожалуй, еще кусаетесь...
По лицу ее пробежала тень замкнутой глубоко чувственности.
— Ну, улыбнитесь еще раз, — сказала она. — Вы тогда такой хороший, что-то детское в вашем лице... — Вы играете.
— Ах, я люблю играть, вам это нужно запомнить. Оставайтесь, если вам хорошо со мной, то будет везде хорошо.
— Где-нибудь в Париже лучше, меня так тянет весной за границу.
— Вы просто увлеклись мною немножко как женщиной, но вы меня не отталкиваете... — шептала она, не слушая его.
— Этого мало, я отдаю вам все... — ответил Георгий.
— Что?

— Прошлое и будущее.

— Но ведь вы любите высоких женщин, таких, как ваша жена?

— Я люблю таких, как вы, точь-в-точь.

Он растрепал свои волосы и нервно курил.

— Но это не для меня... Любовь возникает сразу, а потом растет. С вами я потерял надежду, несмотря на то что слепо верил себе. Вы дали мне дожить до того, что я стал думать о вашем теле, ведь душа ваша не принадлежала мне...

— Вы мне очень дороги, — сказала Мила.

— Теперь мне мало этого, я хочу вас всю слепо...

— Убирайтесь...

Она слегка коснулась ладонью его лица и отодвинулась на самый конец дивана.

— Какая вы тягостная, такая длинная... — пошутил он. — А я для вас какой-то татарин... Уж лучше я уеду поскорее в Париж. Я постараюсь там забыть вас — в путешествии это легче. Я приобрету там все пороки современника; я буду представлять из себя один сплошной порок и единственное, что есть во мне татарского, — это большое чувство, я разменяю на мелкие увлечения. Тогда буду жить веселее. Ведь все люди живут весело. И даже рука, которую я пожму потом, чистая рука, будет заражена моим пороком... Но когда наступит мне на ногу моя осень, осадив мой пыл, мое веселье, я не захочу уже принять ее подарков, подарков осени... Я горько буду плакать, вспоминая о весенних грезах, они покажутся мне тогда еще более мягкими и прозрачными, совсем как трепетные крылья люток, сквозь которые мерцает жизнь... Взгляните, Мила, в окно: вы увидите там наверху ясное небо, оно словно цветет... А вы слышите этот шум? Это сама радость; она возвращается к людям только весной. Разве не будет всего этого и тогда, когда придет старость. О, тогда мне не будет так весело, как сейчас. Я буду думать только о печалях моей осени, а частый серый дождик за моим окном станет дразнить меня, подражая шумом своим скрипу моего пера... Он вечно будет мне напоминать гул бесконечной моей тоски, и в ней-то я буду искать образы, зараженные моим порокам... А вы, Мила, успокоитесь очень скоро, ведь вы хотите от меня только моей «детской улыбки». О, вы, быть может, еще посмеетесь над этой маленькой трагедией, точно так же как я однажды посмеялся над фарсом... Я один из тех людей, кто, несмотря на веселье целого общества, может оставаться серьезным. Чтобы проверить себя в этом, я нарочно зашел в театр Фарс. И думал там, что смеяться, в сущности, не над чем. Но когда вышел, просидев вечер среди пошлостей и глупостей, я почувствовал себя настолько слабым, что готов был рассмеяться при первом дешевом случае... Вот и вы, Мила, посмеетесь над фарсом, которого так хотите от меня. Я должен улыбаться тогда, когда мне тяжело с моею любовью... Тогда, когда я глубоко потрясен сознанием, что никогда не буду вашим любовником, которого вы, в сущности, быть может, и хотели...

Он умолк. Как и всегда в таких случаях, Георгий вновь пережил чувство недовольства собою, чувство раскаяния. Зачем он все это сказал, он вовсе не хотел сказать именно этого?..

— Вы великолепный психолог, — глухо произнесла Мила.

— Если современник не умеет верить, зато он умеет рисковать.

— Вот мы только что стали приближаться друг к другу, а вы уже собираетесь уезжать. Ну как можно верить вам?

— Рискните...

— Не желаю. — Она кокетливо улыбнулась и продолжала: — Если вам не хочется порывать со мною дружбу, то вы останетесь. Поедем в Орел...

— А оттуда?

— В Париж...

— Это не для меня, — горько улыбнулся Бурев.

— Любовь стыдлива, она, как маленькая мещаночка, обнажает свое сокровенное только перед глупцами, у которых не остается потом ни в ушах, ни в глазах, ни в мозгу ровно ничего, что могло бы пристыдить ее упреком в ее несовершенстве... А упреки необходимы — любовь должна стать богиней, а охотиться она должна только за богами!..

— Вы много думали за «то время»? — нежно спросила Мила и близко придвинулась к нему. — Мне показалось, что вы уже здесь увлеклись Парижем. У вас такой вид...

— Нет, «это еще впереди, через три дня»...

— Никуда вы не поедете.

Она гладила его щеку, пересела на его место, а ему уступила свое.

— Быть может, что-нибудь новое принесет нам это перемещение, — сказала она.

Глаза ее были хитры, и Георгию показалось, что она думала о поцелуе. Он пристально наблюдал за женщиной и охотно согласился занять прежнее место, когда она ему это предложила.

— Ничего не принесло. — Мила кусала губы: как высохли губы...

Георгий целовал ее руку на изгибе локтя, он искал ее губ, но она вырвалась...

Солнце еще было высоко, но, утомленный тремя жестокими часами, проведенными у Милы, он лениво брел к Неве.

Его комната глядела своим окном тупо и уныло. И ему припомнились ночи в ней... Это безумное искусство, потерявшее в своей корысти все святое... Да, ему много нужно было денег, чтобы не показать женщине свою бедность.

Он отвел глаза на дали береговой линии. Так радостна была Нева. Жизнь пробудилась на ней, и, быть может, норвежский пароход уже вздыхал, предчувствуя берега Гаммерфеста. Его красная грудь погружалась в воду с каждым часом, а на спине целыми днями копошились грузчики. Эти бедные чувством люди, которым не было дела до божественной весны севера, когда исчезает все поверхностное и бродят души... Задумчивые, вздыхающие, опьяненные...

Юноша почувствовал, как странная сила овладела его существом. Тело Милы мелькнуло перед ним, запах его вызвал головокружение, и он уско-



Тройка. Из цикла «Intimité». 1917

рил шаги, чтобы перейти мост. А там — Невский, женщины, много женщин... Быть может, он встретит среди них одну безумную женщину, еще не утратившую стыд истинного желания, тонкую в наслаждениях и благородную в разврате?..

Он услышал стук в собственной груди, который отдавался в плечах глухо и больно. А мозг его повиновался — он был ничтожен...

Георгий сидел в кофейне. Взгляд его пронизывал каждую женщину. Не приходила та, которую он искал. Быть может, ее не было среди тех, кто приходит в кафе?.. Не смешал ли он образ ее с теми из женщин, кому дано творить?.. И он ненавидел себя за то, что не разбудил в Миле ее бурную страсть. Разве она сама не утверждала, что время ни при чем? А эти примеры с четырехлетними выжиданиями были не что иное, как высмеивание в нем того, что называла она «третьеклассником»...

Что, он издает новые законы? Какие такие законы в любви? Да, он умерщвлял в себе чувство, он не мог довольствоваться благами глупцов, как если бы, не будучи актером, не мог ни на минуту видеть себя статистом. Он хотел ее всю, со всею мощью ее эгоистического желания, которого ждал. Быть может, он был прав, когда думал так. Не напоминала ли ему судьба Базаровой хорошо удобренную почву для того, чтобы взойти на ней риску? Боже, как прекрасна должна быть Мила в такой час...

Его взгляд следил за женщиной в красном. В руках она держала пучок ландышей и изредка подносила цветы к губам. Она в очень большой шляпе, она выше большинства людей, юбка ее очень узка, тело достаточно тонко и гибко... Она немного меланхолична, быть может, она больна, ее лихорадит?.. Но она обязана уйти из своих комнат, как только пробило шесть?..

Женщина заметила его, быстро улыбнулась и та кже быстро ушла.

Бурев готов был броситься за ней. Сердце его быстро билось, оно готово было выпрыгнуть из своего неподвижного тела. Но он удержал себя и долго смеялся над собою, он почти хихикал...

Что? Он готов был сорваться со стула из-за проститутки? Быть может, он хотел объясниться ей в любви, а потом жениться?..

«Третьеклассник», — услышал он голос Милы.

Это был очень насмешливый голос. Как он не мог заметить этого прежде? Однако Мила хорошо посмеялась над ним, кто был столь добр к ней и ни перед чем не останавливался, лишь бы превратить для нее часть своей жизни в ее любимый фарс...

Но ему вдруг стало грустно. Он вспомнил о женщине в красном и едва удержался, чтобы не заплакать от того, что так плохо подумал о ней, которая была слишком скромна, слишком печальна, а улыбка ее была скорее болезненна, чем приветлива.

— Но, Господи, куда же она ушла! — Бурев вытягивал шею и искал в толпе. Но нигде не находил. Его тело охватило отчаяние. И он взглянул отвратительными глазами на ближайшее существо в безвкусной шляпе, перевитой дешевыми цветами. Лицо ее худо, а под глазами ужасные синяки. Быть может, все это ему только кажется? Это создала его жалость к горькой ее доле? И она вовсе уж не так измучена?.. Вот она смеется и смех ее



Парижское кафе. 1913

очень искренен, а может, просто глуп, как будто бы она была у хороших знакомых в гостях... Она запросто кивает головой многим мужчинам в котелках и английских фуражках. И разве не могло случиться, что среди них-то и был какой-нибудь особенный мужчина, сильный и умный? Он-то и был тем самым, кто время от времени поддерживал ее падшую душу, изнемогшую в желательных или нежелательных ежедневных посещениях кафе?..

И снова он ненавидел себя за свой взгляд, брошенный им на ни в чем не повинное существо в своей горькой доле.

Но чтобы побороть чувство неуместного раскаяния, Бурев сильно постучал по стакану. В этот момент он заметил ту, которую потерял. Она попрежнему улыбнулась ему и села вблизи.

Он наблюдал. Рядом с нею сидела ее знакомая, она молча слушала, а потом ушла.

Вот его слуга. Что ему угодно? Карандаш...

И он написал на бумажной салфеточке следующую фразу: «Не хотите ли познакомиться с человеком в светлом пальто, он ждал вас».

Толковый слуга прошел немного дальше, чем она сидела, а когда возвращался, уронил на ее столик записку.

Женщина не глядела в его сторону долго и упрямо...



ГЛАВА XIV

На другой день раньше обыкновенного Георгий отправился к Базаровой. Он застал ее в очень прозрачной утренней блузке, а маленькие башмачки ее были особенно суетливы в это ясное, теплое утро.

Был момент, когда, еще будучи в пальто, он сосчитал все пуговки на ее лифчике. Их было шесть, а верхняя выскочила из петельки...

И вздрогнул, так молодо и упруго было ее тело.

— Ваше лицо сегодня такое детское, — сказал он. — Быть может, невинное лицо...

— А, по-вашему, это хорошо или плохо? — улыбнулась Мила.

Георгий промолчал.

— Скорей, скорей дайте папироску, во всем доме не нашлось, я так проголодалась.

Она закурила, положив одну ногу на другую.

— Я пришел к вам злым, а теперь все прошло. Черт знает что у вас сегодня за лицо... И что за чулки вы носите. Это ваш вкус?

— Да, это самые любимые мои чулки.

— Да, это удивительно как красиво. Совсем гладкие, светло-голубые... Очень рискованный цвет, но он удивительно найден. Немножко голубее — и это было бы мещанством...

Она рассматривала концы лаковых ботинок, крепко затягивалась и пускала дым в светлые, радостные солнечные лучи, проникавшие в комнату через окно.

— У вас холодная кровь, — продолжал Георгий, — вы не замечаете присутствия мужчины... Вы живете, должно быть, все теми же ощущениями, как и до меня.

— Почему? — улыбнулась женщина и пустила ему в лицо дым.

— Я тоже не знаю почему...

— Слушайте... — Она произнесла это слово совершенно серьезно, даже немного подумала над ним.— А что, если бы я согласилась поехать с вами в Париж?

— Вы это так сказали, что я могу подумать слишком многое...

— Что же вы подумали?

— Может быть, то, что вчера вечером вы обсудили этот вопрос вместе с господином Базаровым. Вы ему сказали обо всем, а он ответил вам так: скажи этому юноше, что ты согласна уехать с ним, и он испугается своих собственных затей... А так как ему будет очень неприятна вся эта история, то он и вообще оставит тебя в покое. Этот юродивый, притворяющийся психологом...

— Вы очень подозрительны.

Лицо Милы было близко выражению, которое Георгий предполагал в ней. И он добавил:

— Чего только не бывает между супругами... Разве он не искусал ваши плечи? Покажите мне эти синяки, я хочу их видеть. Ведь это ужасно, а у вас такое детское лицо...

Она опустила глаза и сказала, мило гримасничая:

— А я не спала всю ночь и мужу мешала... Вы известно какой человек. — И она нежно ударила его по носу. Он удержал ее руку и долго целовал на изгибе локтя.

— Значит, мы едем, — вдруг строго решил Бурев. Лицо его приняло деловое выражение, он что-то собирался сказать, но его перебила Мила:

— Я дорогая... Я не люблю лишений в пути.

Между ними произошел неприятный разговор. Но, быть может, необходимый для женщины разговор. Это случается с дамами, и только очень немногие из них умеют сохранять в мыслях то, что так не идет к прекрасной их внешности...

И он молча заключил, что денег могло бы хватить только на один месяц в Париже. В этот момент лицо его утратило некоторую одухотворенность, которая была лучшим доказательством его постоянной внутренней работы и глубокой сосредоточенности. Теперь оно выражало легкомысленную брезгливость ко всему, что было ему самому дорого и что он так бережно оберегал в себе, неоднократно уверяя в старое доброе время своих родственников, что оно дано ему самим Господом...

— Один месяц... — попросил он.

— Вы хотите только мое тело, вы проболтались...

Лицо Георгия Бурева было сурово.

— Скажите прямо, что увлеклись мною немножко, вот и все.

Голос ее был насмешлив. Но он не слушал, он глядел в окно и немного щурил глаза от сильного света. Солнце словно врывалось в комнату Милы, словно хотело осветить все углы ее души, чтобы Георгий мог лучше любоваться женщиной, которую любил.

Это было весеннее солнце, оно примиряет самых жестоких врагов. Юноша громко и весело сказал:

— О, как прекрасны вы должны быть в такой час...

— Что!..

— Я готов сойти с ума при одной мысли о вас, которую знал всю...

— Но вы не знали меня, это не значит знать, когда я ничего не помнила.

— Вы помнили...

Георгий не договорил, но то, что он сказал, было очень много для Базаровой. Глаза ее остановились на его лице и мстили.

— Подите вон... — злобно шепнула ему женщина. Лицо ее стало белым.

Юноша тихо взвыл и быстро ушел.

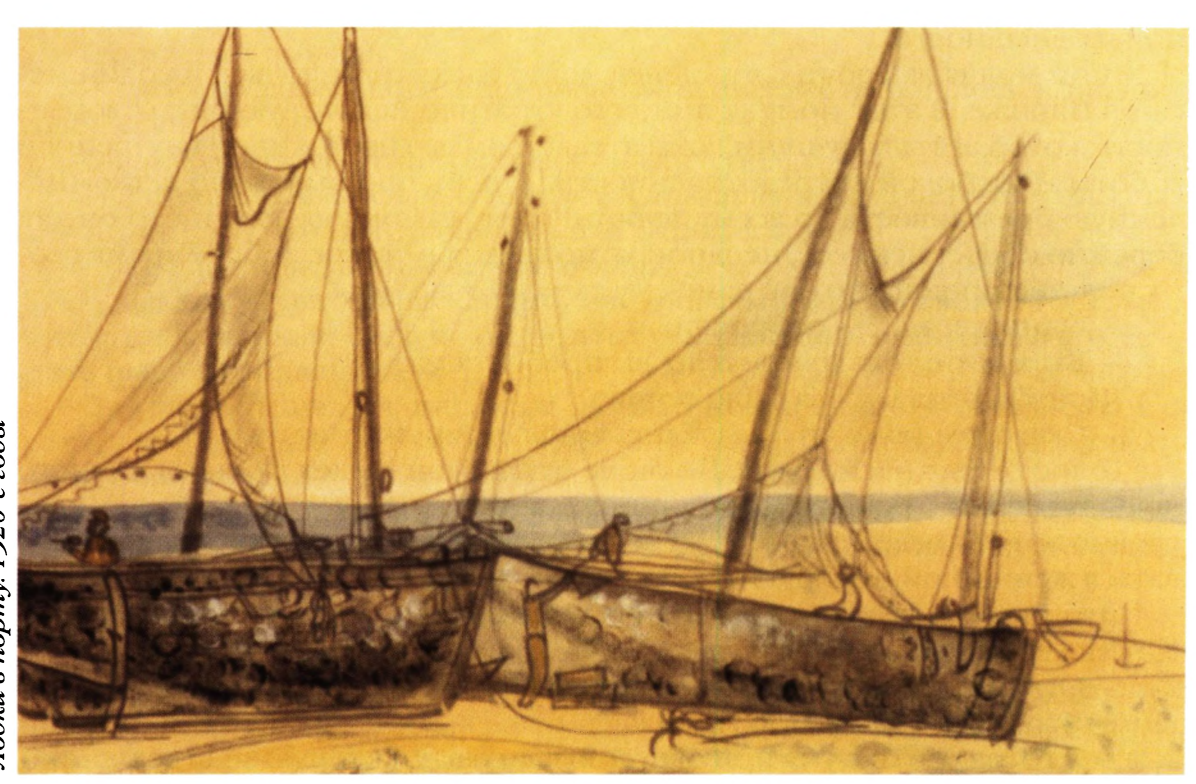
С чувством безграничного возмущения от ее лжи Георгий Бурев бродил по улицам. Голова его походила на темный омут, в котором с безумной быстротой вертелись мысли.

На этот раз он почувствовал себя затерянным среди мира и необъяснимо слабым.

Он почти уверен был в своей гибели. И переживания его стали сильно приближаться к тем неполным ощущениям чего-то странного, слишком призрачного, что он часто полуощущал во сне, когда ему снилось одно и то же во второй раз.

Он подошел к огромному океанскому пароходу, это был тот самый норвежский грузовик, который так хорошо был виден из его окна.

Бурев долго всматривался в его бок, из которого сочился жидкий пар. Черный великан словно жил, как будто он выражал свое нетерпение к людям, которые во множестве копошились на его грязной спине.



Лодки в порту. 1920-е годы

Но вот пар вырывается сильнее, с глухим шумом и пронзительным свистом, и кажется, что огромная черная масса сердится, корма слегка пошатывается, а крики грузовиков наполняют воздух жуткими предчувствиями... И вот великан не выдержит в терпении и во всем своем черном величии уйдет из мутных, застоявшихся вод, заглушая мощным гудком резкий дребезг столицы.

Черно-бурая кисея дыма подползла к самому его носу, и он чихнул.

Громыхали огромные тюки невыделанной ваты, у самой вахты временно складывались ящики с бисквитами Жоржа Бормана. А среди них Георгий увидел командира с красно-розовым лицом и светлыми волосами — норвежца.

Командир с «Лофондены» говорил по-русски и сообщил, что они уходят в море двадцать девятого мая.

Георгий возвращался в свою комнату береговой линией и много раз останавливался, чтобы помахать шляпой командиру и полюбоваться огромным пароходом. Его красный бок стал черным, и лишь узкая полоска у самой воды алела на солнце.

По мере того как он приближался к своему окну, стекла которого блестели словно второе солнце, им овладела упорная мысль еще раз увидаться с Милой. Она привела его к самому дому Базаровых, и, не задумываясь, он бодро позвонил.

Георгий был бледен. Мила стояла перед ним молча, только локти ее не были покойны; она всячески старалась без помощи кистей рук одернуть ими маленькие прозрачные рукава.

— Я пришел сюда, чтобы отдать вам мое последнее оружие. Я говорю: торжествуйте, я вас все-таки люблю...

Мила сдвинула брови и отвернулась к окну.

— Я говорю вам: будьте последовательны в своем оскорбленном чувстве. Но теперь, когда я ухожу, вы можете узнать, что всячески принуждал я себя поверить вам... И я делал это до тех пор, пока верил, что верю в это... Я говорил себе: ты должен только верить, но не должен быть самим собою, потому что ты — это довольно наточенное острие, которое без позволения вонзается в чужие души... Вот я и причинил вам боль. Но время от времени человек привыкает ко всему и чувство раскаяния в нем притупляется. Вот и вы, Мила, страдали не от боли... Быть может, вам хотелось предложить мне принцип думать: «Мое «я» — есть непроходимая тайна», тогда как в настоящую минуту не могли мне этого предложить. Да, потому что солгали бы во второй раз... И это было бы уже слишком наивно. Разве вы не были злы? А ведь злоба лучшее доказательство... И, кроме того, вы как огонь! Вы были как огонь...

— Вы хотите меня еще раз оскорбить? — Руки ее лежали на бедрах, а глаза глядели в упор, они были только красивы... Быть может, это был момент, когда глаза Базаровой достигли своего совершенства. Но в них не было ничего, что могло бы убедить Бурева в своей правде. Он резко сказал:

— Вам не придется повторять мне вашего злого желания... Но если я ошибся, я сам буду для себя судьею. Я не смог бы ужиться вновь с собою, после того как перестал себе верить. Я думаю, что для вас этого достаточно. Теперь я ухожу...

— Как вы не можете понять, что я была пьяна. Только теперь я начинаю вам верить, что принадлежала телом...

Она подумала и продолжала:

— Вы просто никогда не видели сильно охмелевшую женщину. Возможно, я не отрицаю, я хотела вас... Но я не помню, не помню, не помню...

«Да, «все это было бы прекрасно», но только «не на полу»...» — подумал Георгий и сказал:

— Если это окажется верным, то я сам буду для себя лучшим судьею. В этом самоосуждении я вижу больше падения, нежели в «проституции момента»... И разве я недостаточно страдал? Я сидел подле вас, Мила, порою совсем близко и думал только о том, кто был прав — вы или я... Я не мог свободно отдаться моей любви и временами совсем не слушал вашего милого голоса, я так мучительно был занят...

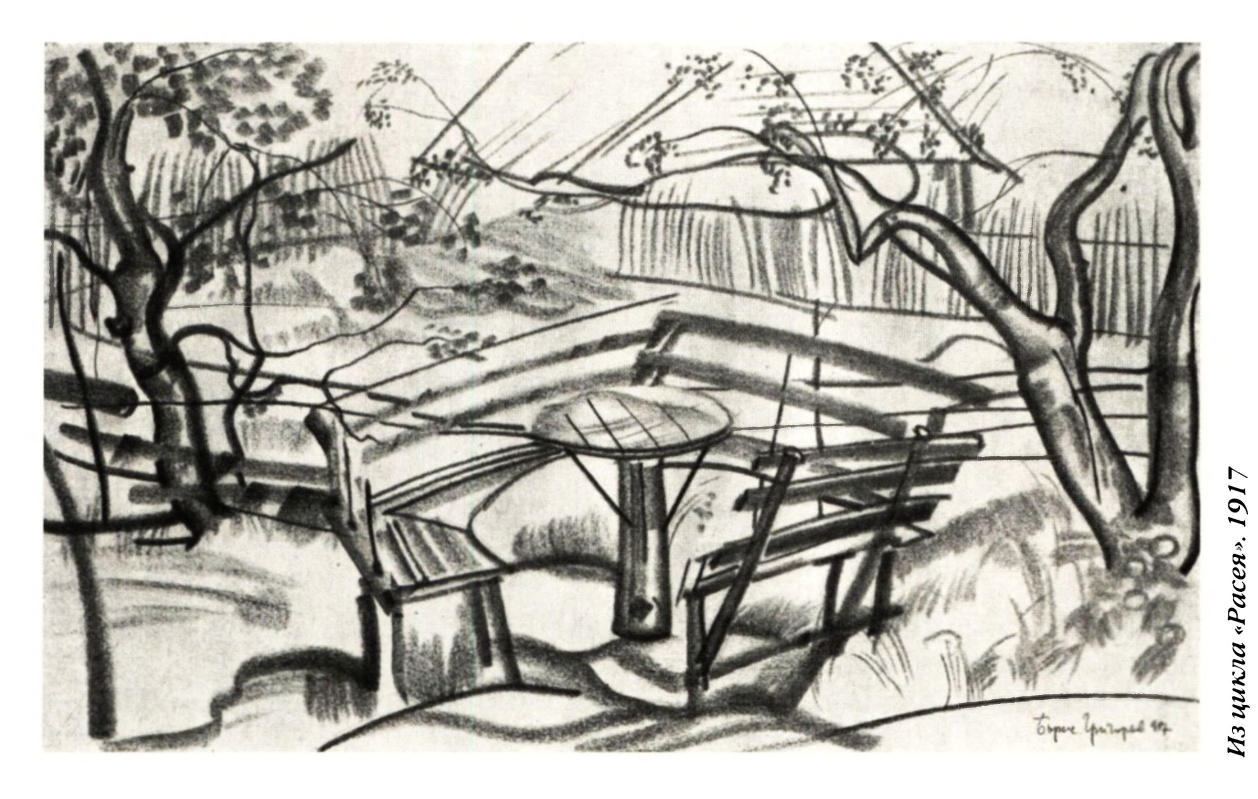
Георгий думал, глаза его были печальны.

— Ну, теперь я ухожу, — сказал он и протянул руку. — На прощание пожмите эту руку, ведь лишают этого только негодяев, а я так много сказал вам о себе... И, несмотря на то что мое сердце стремится к вам, меня уводит от вас мой мозг.

Базарова крепко пожала ему руку и потянула ее к себе. Голос ее был очень взволнован.



Интерьер. 1918



Из цикла «Расея». 1917

— Вы с ума сошли, разве я отпущу вас в такую минуту.

Она сняла с Георгия пальто, усадила его на диван, гладила по волосам и прикладывала мокрое полотенце. Бурев молча повиновался во всем. И когда лицо его стало менее бледным, он услышал сквозь ласки женщины ее голос. Она напевала:

Он мне мил,
Но ты еще милей —
Меня пленил
Ты нежностью своей...

Он слишком чувствовал ее близость и крепко прижался губами к маленькой руке. Все простили добрые светлые глаза Милы. Ее щека и немного горбатый нос нежно ползали по его лицу. И она называла его своим другом...

— Да, я уверен, — сказал он, — что я питаю к вам чувство брата.

— Ну целуй меня... — шепнула ему женщина.

Он хотел прикоснуться к ее высохшим губам, но она отстранила его.

— Ну, пробуждается зверь... Лучше уж я сама поцелую.

— Лучше не надо...

И они как брат и сестра рассказывали друг другу о своей жизни.

ГЛАВА XV

Рано утром к Георгию постучался Евгений Силицын. У него оставалось ровно две шикарные папиросы, толстенькие, из желтоватой бумаги, словно они побледнели, пролежав до рассвета в шумном и пьяном кабинете.

Не хочет ли Георгий попробовать, право же, эти необыкновенные папиросы? Но приятель не отвечал, он уставился на него удивленными глазами и молча помог снять пальто.

— Экой ты черт, жалеть будешь... — сказал Силицын и закурил.

— Я, признаюсь, Женя, был немного удивлен, увидя тебя в такой ранний час в воротничке и галстуке. Это что-нибудь да значить. Ты выиграл двести тысяч?

— Вот именно... — кисло улыбнулся Силицын.

— Но у тебя все же есть деньги?

— Были...

— А теперь?

— «Все вышли», как сказала бы такая большая, большая, бо-оль-шущая...

Он ткнул пальцем Георгию в живот и засмеялся своим нервным куриным смехом.

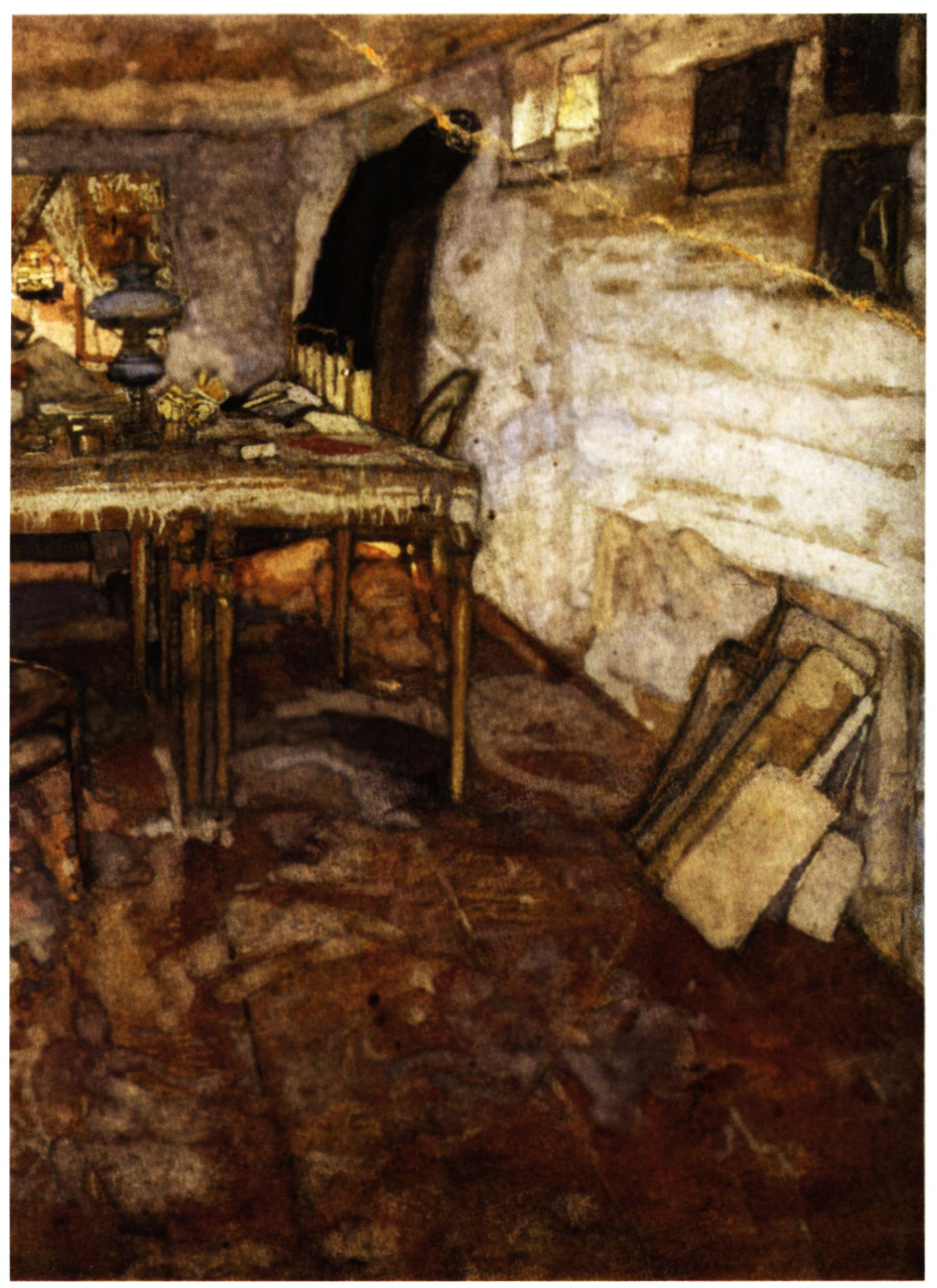
Бурев улыбнулся.

— Но почему же ты тогда не спишь?

— А это, видишь ли, только потому, что я и не ложился... А были деньги, что и говорить. Нет, ты погоди...

Он долго вглядывался в лицо приятеля и время от времени приговаривал:

— Губки пухленькие... Щеки как быть должно, а в глазах непроходимая лень... Да-а... А знаешь, что я тебе скажу? — громко вдруг сказал он. — Когда ты работал, у тебя не было всего этого. Признаться, ты посвинел... Я это еще вчера заметил. Право же, мы ехали в одном трамвае, только я это нарочно... Пусть, думаю, ворон половит, а рот-то открыт — авось кто-нибудь рупь и положит...



Мастерская художника в Крыму. Фрагмент. 1908

Мужские и женские головы. Девятнадцать набросков. Фрагмент. 1913



Силицын покатился по-курьи.

— Экая ты курица, — нервно смеялся Бурев.

Приятели хохотали, а один из них пригибался к самому полу и держался за живот. Вдруг совершенно серьезно Силицын сказал:

— Знаешь, Геро, такие рожи, какую ты сейчас имеешь, бывают только у богатых... Посмотри-ка в кошель, не лежит ли там сотенка?

— Может быть. Но неужели ты подумал, что моя последняя трехсотенная картина стоила только сто?..

— Браво, браво! — спохватился приятель.

— А где же все другие? — сказал он, осмотрев подрамники и картоны, приставленные к стене.

— Там же... На этот раз мне повезло.

— Значит, за тысячу?

— Около...

Они услышали слабый, нервирующий стук в дверь.

— Силицын, Зубов, — познакомил Георгий.

— У меня сегодня счастливый день — у меня гости.

Зубов был очень нервен, но при новых лицах он всегда старался скрыть это. На его лице была написана тяжелая принужденность, а речь часто осекалась. Его короткие, быстрые вопросы и такие же быстрые заключения перебивали разговор других. С первых же минут он уставился в глаза Силицына и тогда, в его собственных, Георгий мог уловить несколько мгновений неискреннего, но привычного ему удовольствия...

Маленький жизненный опыт Зубова был вполне достаточным, чтобы смутить усталого юношу, еще очень робкого в искусстве. Может быть, талантливый крестьянин не слишком разбирался в столичных играх? И первая же из них, попавшаяся ему на культурном пути, пленила его? Но, не сознавая истинного значения игры, этого тонкого кокетства в устах и движениях завсегдатая изысканных гостиных, оставляющего в них свой индивидуальный след, не довольствовался ли Зубов теми неискренними, непонятыми им развлечениями, которые делали его глаза такими загадочными?..

Евгений украдкой взглянул на Георгия, но тотчас же перевел глаза на Зубова и, нервно положив на стол локти, продолжал глядеть на него в упор. Жилы на его висках надулись, а одна, наискось пересекавшая лоб, резко разделила его на две неровные половины. Глаза его моргали и слегка слезились.

Зубов сказал:

— Ничего, сначала трудно... Но мне теперь кажется, мы можем познакомиться друг с другом ближе... Ваши глаза незлы, как это часто бывает с людьми, у которых нет внутреннего мира, они, наоборот, слишком выдают то, что у вас в душе... Вы просто не научились еще секретничать. Вас может иногда соблазнить то, что потом воспользуется минутой, чтобы упрекнуть вас в слабости. Во всяком соблазне есть своя капля яда...

— Куда уж тут, разве устоишь... — замямлил Евгений. — Вот ежели, к примеру, взять женщину — коли стоит она носками врозь, так, значит, рано помирать тебе, а коли пятками врозь, не могут. Можно пулю пустить в лоб.

Он задыхался, лицо его слегка побледнело, а глаза, в которых чувствовалась неизлечимая болезнь, смотрели без цели.

Георгий был покоен. Но все его существо выражало необъятный инстинкт жизни, словно его старый спутник — волшебник — снова шептал ему свои слова и писал ими жизнь. Он почувствовал на себе глаза Зубова.

— Как жаль, что Бурев молчалив... Но мне показалось, что вы собирались что-то сказать; может быть, ответить на мои слова... — обратился к нему Зубов.

— Странно, мне это пришло в голову только сейчас, но я не собирался... Ведь вы так умно говорили, и, кроме того, мне давно уже пора запомнить вашу отличную черту — вы незлопамятны. Тогда как я снова мог бы вас как-нибудь огорчить моими словами возражения... Это моя странность, я всегда только возражаю, несмотря на то что восторгаюсь той же мыслью, которую оспариваю. И я вам даю честное слово, что делаю это искренно, может быть, это даже не от меня зависит.

— Я вас очень прошу, — сказал Зубов.

— Тогда я скажу. Вот и теперь то, что вы сказали Евгению, привело меня в восторг. Я даже мог бы повторить все до последнего слова. Вы сказали так: «Во всяком соблазне есть своя капля яда». Но убедительность учения, быть может, и не нужно искать в итоге затраченных сил на борьбу с жизненными соблазнами, как вы предложили Евгению. Потому что затратить силу нельзя, а можно истратить богатства жизни на неубедительные учения... Вот видите, я опять дерзок, я не могу иначе... Простите. Хотите, господа, вина?

Он суетился.

— Ничего не поймешь, — досадливо промямлил Силицын. — Вот вы все-таки художники, вы не стыдитесь себя в глазах людей, словно два короля, у которых по одному десятку верных воинов... А ты бродишь себе по улицам и ныряешь в толпе, чтобы тебя не заметили... Сам Господь Бог наградил меня маленьким ростом. К черту все! Надо работать... Черт бы побрал этого Бурева, ведь он на самом деле был прав, когда уговаривал вставать с петухами... Какое небо! Небо-то какое!.. Нет, я ушел... С вами нельзя; вы и сейчас работаете... Избави меня Господь от этакой фигуры...

Он указал на Георгия и обратился к Зубову:

— Вы еще не знаете, что это за сволочь... Ко мне придет — работает, я к нему — тоже работает... И при том так сладко говорит да как занимает, что и не уйдешь. А у самого — картина готова. Сволочь... Эксплуататор, словно ты холст, так по тебе и мажет... Ну прощай.

Улыбнулся Силицын и крепко пожал руку приятеля.

— Деньги у тебя в пальто, — сказал Георгий.

— Лучше уйдемте вместе, — обратился он снова к Зубову, — сию же минуту засядет за работу, этакая большая, бо-оль-шущая...

Он торопливо ушел.

— Вот он теперь сядет у своего окошечка, воткнет в пальцы чистенькие кисточки и станет «пачкать холст», как он сам выражался о своих светлых минутах. И нет ни одного человека в мире, в глазах которого было бы

столько печали, столько нежной любви, сколько у Силицына в такую минуту... Но, увы, ему еще очень мало кое-чего удается...

Глаза Георгия словно следили за движениями ушедшего друга, они были далеко... А голос его звучал как если бы он говорил сам с собою.

Зубов спросил:

— Вы не тоскуете по супруге?

Он ответил:

— Мне иногда приходит в голову, что тоска — это, в сущности, пустяки, если не принимать во внимание некоторую долю поэзии в ней...

— Это тонко. В этих словах звучала та грубая воля, которая становится музыкальной благодаря страданиям, обрамляющим ее гордый лик. Мне вспомнилось лицо Христа, закутанное венком...

— Но вы преувеличили. Я всегда только грубый, изредка нежный и никогда не бываю кротким... Скажите, это главное достоинство вашей живописи, что все люди на ваших холстах похожи на святых?..

— Я не понимаю вас, — ядовито уклонился Зубов.

— Я хочу сказать, на тех святых, которых вообразило себе духовенство.

— Я люблю старые иконы, я много писал их прежде. Если хотите, я был иконописцем...

— Вы хотите сказать, что вам они дороги как воспоминания? И вы любите их как все — в прошлом? Да, это неизбежно связано с настоящим художника в его творчестве.

— Нет, я люблю иконы за то, что они красивы...

— Но знаете, когда я встречаю лицо и вижу в нем продолговатую морщину на лбу, а главным образом, под глазами, что напоминает мне икону, — мне становится жутко... Быть может, кому-нибудь и пришло бы в голову, что у этого человека была доля святости или, по крайней мере, он лучше многих других мог бы внушать людям религиозные идеи, надев ризу или черный хитон. Но, признаться, эти линии под его глазами говорят мне о его излишней чувственности... Может быть, о том, что он всю жизнь занимался онанизмом и многими другими извращениями на половой почве. А там, в иконах, я вижу это же самое, но в неизмеримом количестве, до ужасов... Мне становится жутко не от того, что я чего-нибудь боюсь, я как будто гляжу в темную яму, на дне которой шевелятся едва приметные черви, гады... И когда хочу оторвать мое лицо, я не могу этого, словно лишен воли движений. А темное дно приближается ко мне, и я начинаю слышать, как гады сопят и отлипаются друг от друга... Ужасный дурман кружит мне голову, и я падаю вниз... Вероятно, этот дурман и есть лучшее выражение того, что я назвал жутью перед иконами. Вы всегда будете писать такие картины?

— Милый мальчик, всегда буду писать такие картины... — ответил Зубов.

Он был опять неискренне доволен, но Буреву хорошо было известно, что Зубов был очень недоволен. Конечно, как и всегда, больше самим собой — это и делало его нервным и лживым. У него было лицо растлившего накануне девочку.

— Вчера была у меня Базарова, — сказал он, пристально всматриваясь в глаза Георгия.

— Она просила меня приехать завтра на вокзал к восьми часам вечера. Вы провожаете ее?..

— Я ничего не знаю об этом. Вероятно, не буду... А вы?

— Вряд ли...

— Хотите на воздух? — предложил Георгий.

Они вышли.

Он проводил Зубова до самого дома. А когда остался один, подумал:

«В Петербурге редко бывают совершенно ясные дни, а облака почти постоянны, и если теперь солнышко спряталось, то все же это не беда».

Он вглядывался в небо. В нем было столько же голубых пятен, сколько и серых, похожих на неправильные кольца табачного дыма.

Но странное чувство, овладевшее им после вопроса Зубова, не тоскует ли он по супруге, мешало ему жить как он хотел.

«Какая грубость... — подумал он. — Зачем Зубов напомнил мне Лику?»

И ее далекий образ еще глубже погрузился в мутную воду его слез. До его души донеслось только несколько слабых стонов утопавшего в холодной синеве луча... Но воспоминания последнего дня у Милы было столь свежо, столь радостно, оно расширило его глаза, сложившиеся в щели и устремленные вдаль. И он слегка повел плечами, словно хотел всколыхнуть в них кровь.

Солнечные лучи не успевали пригревать их, облако снова обрывало их пути и грело свою спину. Много радостных надежд мелькало в его голове. Он остановил чумазого мальчугана, прижал его к своему животу и хотел погладить по стриженой головке. Но мальчуган, гладкий и светлый, словно налим, выскользнул из его рук и убежал, оглядываясь на высокого человека большими удивленными глазами, которые выражали испуг и насмешку.

— Милый... — услышал Бурев свой собственный голос.

Воробьи так радостно прыгали на дороге, словно мячики над теплым дыханием земли. Они во множестве собирались у лошадиного кала, точно муравьи... Но они были хитрее и радостнее их, они не складывали туда свое, а воровали чужое. О, им можно было простить это невинное баловство, так торжественно вещавшее о себе в их криках.

И ему показалось, что весна еще не прошла, а солнце долго будет веселить миллионы душ, обреченных на долгий зимний сон...

Он встретил знакомого, которому давно решил не кланяться, но в это теплое утро он первый снял шляпу и проявил истинно дружескую улыбку. А знакомый ответил ему легким изумлением, но, против обыкновения, также снял шляпу и долго держал ее в руках, пока они не прошли друг друга.

Раздумья его были так покойны. Мозг его словно представлял из себя огромное глубокое озеро, куда вливались широкие и тихие русла рек, мед-

ленно неся свои воды, мутные и чистые. Все принимало в это теплое петербургское утро его огромное ласковое сердце.

«О если б все это было не так строго...» — подумал Бурев.

Его руки стали бы обнимать их всех; он убедил бы людей, что в ласках его не было ничего корыстного; душа его переполнена великою любовью, она хочет поделиться ею с теми, у кого печальные лица, кто сгорбился под тяжестью весенних лучей... Да-да, не для всех они легки, для иных они тяжелее серой, многомесячной зимней тучи...

И он заметил слегка покачивавшегося на своих высоких ногах бродягу. Почем знать, может быть, он шатался от усталости? Он так покойно и разумно рассуждал сам с собою; а глаза его сверкали, словно таили что-то великое, словно оберегали это великое, боясь кого-то, кто мог бы украсть у него, осмеять, разбросать...

Бурев достал свой кошелек, всунул его бродяге в руку и поспешил уйти. Но огромный человек остановил его и взглянул ему в глаза.

— Вы, наверное, не принадлежите к этой сволочи?.. — Бродяга указал пальцами на людей, которые бродили всюду.

Он водил пальцем по всем направлениям и громко повторял:

— Вот к этой сволочи... К этой сволочи... Возьмите ваш кошель обратно...

Все это он сказал так уверенно, что Буреву оставалось исполнить его желание.

— Милый... — шепнул он вслед бродяге и долго еще стоял в изумлении. Ему припомнился его взгляд, его глаза, эти прямые и острые лучи его солнца... О, какие это были глаза: они выражали необыкновенный опыт и ум, но они были суровы, как будто немного насмешливы...

Но от него не ускользнуло и то, что на один лишь момент глаза бродяги сменились удивительной сердечностью, доверием, добротою...

Бурев долго глядел в его спину. У него было желание упасть на колени и молиться ему вслед... Он хорошо заметил голые пятки, так искренно сверкавшие, выбиваясь из опорок.

И не заметил, как снова пришел к Тучкову мосту, тогда как был уже у самого Каменноостровского.

«Вот здесь я положил обратно мой кошелек...» — подумал он.

Но почему он так любил эту прямую улицу? Все дома на ней он знал почти наизусть, он мог бы нарисовать каждый дом в отдельности, сидя у себя дома, мог окрасить его в своеобразный для него цвет и даже со свойственной каждой своеобразности специфической правдой. Он как будто чувствует запах каждого дома...

И, размышляя таким образом, Бурев бесцеремонно толкался о плечи людей, многие из которых, всматриваясь в него, изумлялись. Но никто, казалось ему, не смеялся над его радостью в это теплое петербургское утро. Всё словно сторонилось его ликования, словно, дарило простор его сердцу... И он много раз повторял один и тот же путь.

И вдруг вскочил в трамвай. Он стоял на площадке согнувшись и прислонившись к перильцам, глядел на прохожих, на дома, на небо, а радость

его росла. В груди что-то разрывалось, обжигало, как будто кровь хотела вылиться из горла. И он задумался. Ему показалось, что он истеричный... Но, почти рыдая, он разубеждал себя в этом, умолял себя поверить этому. И, не окончив с самим собою разговора, выпрыгнул из трамвая вблизи вокзала.

Грохот, с которым покатились вагоны, и качка, приятно убаюкали торжество в его груди. Бурная радость, казалось, нашла свое покойное глубокое русло, которое расширялось и углублялось по мере того, как проходило время. Бурев мог бесконечно долго глядеть в открытое оконце, в нем так было прохладно горячей голове...

Всюду зеленела высокая трава, желтела чи́на луговая, а за лугом молчал темный лес.

Когда поезд шел совсем тихо, он спрыгнул со ступеньки, шел и любовался зеленой травой, тонкими стеблями развесистого колокольчика, крепкими бутонами желтой купальницы... Сорвал несколько подорожников и долго разглядывал их. Они напомнили ему далекое детство, когда он очищал их стебли от зеленых наростов, чтобы превратить в упругие хлыстики. И он хлестал ими по лицам всех без разбору. О, он был тогда своего рода князем, и его звали «вашей светлостью» или «вашим степенством»... Вот он и пользовался... Это была одна из его невинных забав, ведь у каждой «светлости» должна же быть какая-нибудь «забава».

О, как он был равнодушен к этим прелестным стеблям, к зеленой траве, полной нежнейших форм на тонких, высоких ножках.

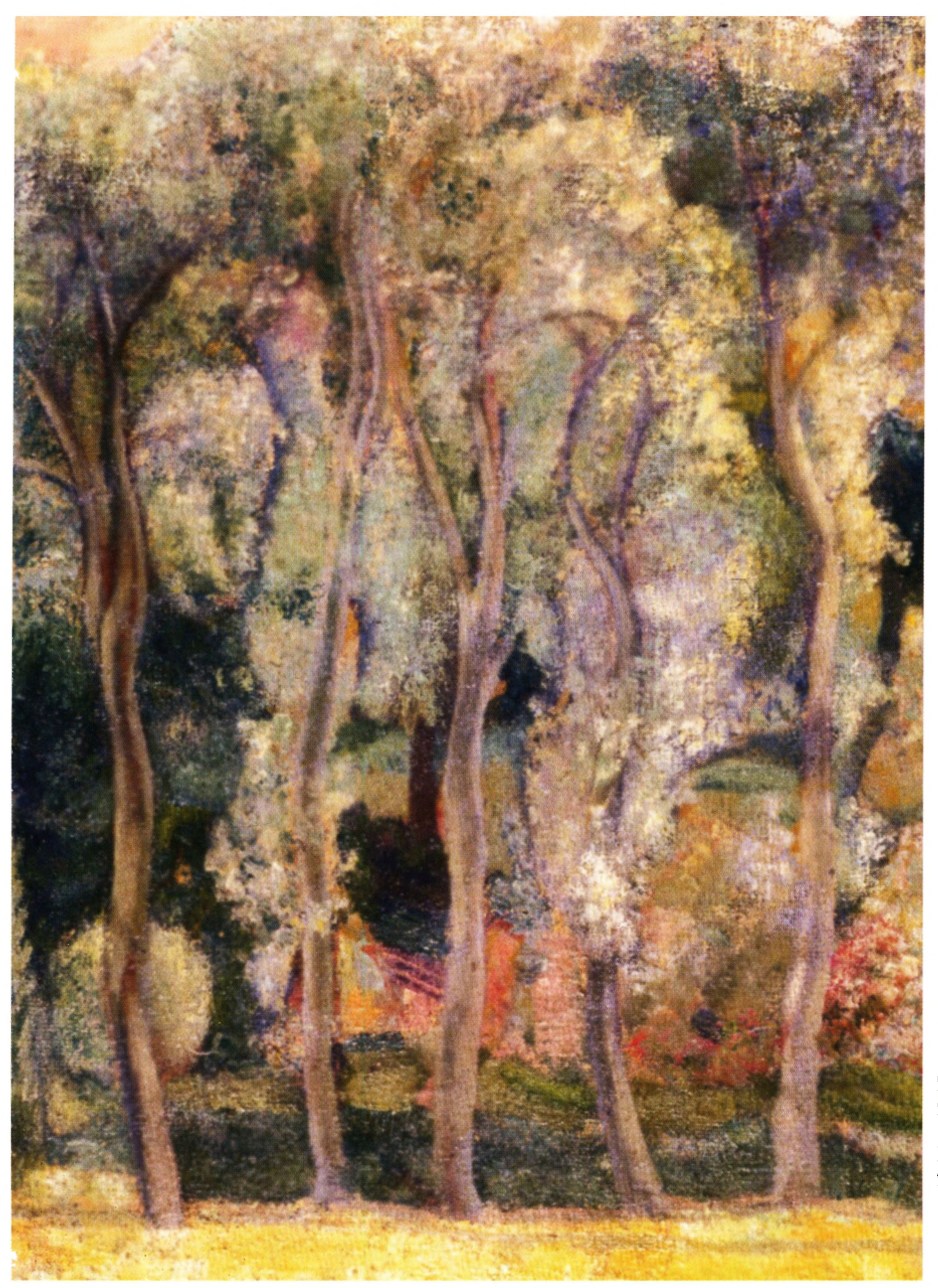
И снова нагибался, чтобы разглядеть поближе цветы едкого лютика, герани луговой, борового колокольчика. Дикий лен что-то грустное напомнил ему из детства, что-то давно забытое им... Вот теперь он напрягал свою память, но нет, не мог припомнить ничего из своего варварского детства, когда он вешал кошек и потрошил мышей.

Ему было так хорошо здесь. Он нюхал каждую травку и щурил глаза, как будто в самом деле мог что-нибудь понимать в этом со своим хроническим насморком.

Голова Бурева была обнажена, и на нее упала холодная капля. Он посмотрел в небо, оно было все такое же, местами голубое, местами серое. А облако, уронившее свою холодную каплю, было величиною не более как растянувшееся кольцо табачного дыма. Оно быстро соскользнуло с солнечного диска, и Георгий зажмурил глаза.

Любовь не покидала его. Казалось, он всецело ушел в жизнь трав. Время от времени он разговаривал с ними, и слова его были невнятными, но оттенок, с которым он произносил их, был молитвенный... Он не замечал своих слез, они выкатывались из его глаз одна за другою, обрывались и висли на травах или лепестках цветов словно драгоценные камни росы. Он не замечал, как увядали в его руках нежные лепестки поповника, как склонялись и путались между пальцами тонкие стебельки...

Бурев почти бежал... Он почувствовал себя больным, это сознание явилось к нему так неожиданно. Он уже не обращал внимания на цветы и



Деревья. 1914—1915

травы под его ногами, они кротко прижимались к земле, издавая легкий, жалостный писк.

Когда тронулся поезд, он сидел у открытого оконца, глядел в небо и дрожал. Облака по-прежнему пели свои песни, лишь изредка заслоняя своими пушистыми спинами немного утомленное солнце.

Буреву показалось, что и песни в небе стали слабее...

К нему снова явилась его безобразно-угрюмая гостья, которая навестила его однажды ранним утром в его комнате. А он так бесцеремонно отнесся к ней, он даже забыл ее темное, безликое лицо, ее молчаливые, тихо движущиеся губы, поблекшие глаза...

Ведь мог же он стоять перед зеркалом и нашептывал себе о желтых галстуках и о разных других, мало значащих в жизни вещах?

И снова ему пришла в голову мысль о книгах, которые делали его столь невнимательным и рассеянным к своему здоровью. Бурев прошел несколько магазинов, на окнах которых по-прежнему лежали замечательные книги. Но он отвел свои глаза, словно там лежали не книги, а лавровые венки для мертвецов...

Он подумал:

«Что делают со мною эти люди?.. Какие это жестокие люди. Если бы даже я поджег весь магазин и все магазины в мире, то все равно это не помогло бы, они живучи как время, как боги, которым люди несут свои жертвы... А есть и такие люди, которые отдают им самих себя...»

И разве не зависело у него все в жизни от кругленькой суммы денег, которую он так ждал? Вот теперь он готов разбросать ее на все стороны, но ни за что не хотел вспомнить о своем здоровье. Ну разве это было так трудно, пойти и подписаться на кефир, совсем так же как это он делал с газетами... Обжора? Что? Нет, извини, пожалуйста, ты просто не привык к тому, о чем ни один порядочный человек не задумывается.

Глаза Бурева были мутны, а худое лицо — бледно. Так чуждо ему было видеть среди шума людского и сиявшего в небе солнца темное, безликое лицо с тусклыми, равнодушными глазами... Его собственное лицо готово было сложиться в гримасу плача, совсем детского — лучшего выразителя всей беззащитности заброшенного существа среди чужих радостей и своих страданий, в которых блуждал он как больное дитя в лабиринте чужих улиц.

И когда он был совсем слабым, когда уже не мог бороться, когда кричал и звал своего волшебника, нашептывавшего ему свои могучие слова, ему шепнула новым шепотом, жутким, как веяние смерти, его гостья: «Плюнь кровью, плюнь кровью, плюнь кровью...»

Мозг его осознал весь ужас, зазвеневший у самого черепа, подобно раскаленным звукам, бубен дьяволов... Бурев остановился. Тело его покачнулось, словно то, что называлось в нем душою, покинуло его... И он впервые ощутил тяжесть своего тела, словно отвалившегося от того, чем

он был, и что с легкостью пылинки унеслось ввысь и смешалось с воздухом…

Но это был небольшой обморок. Он быстро пришел в себя, поднялся на ноги и медленно продолжал свой путь. И никто, пожалуй, не сказал бы про него, что вот идет человек, который страдает. Наоборот, всякому мирному горожанину пришло бы в голову, что вот идет юноша скромный и тихий, но немного лишь задумчивый. Да, глаза его упали вместе с головою; но ничто другое не выдавало его внутреннего мира. Губы его молчали как никогда.

А так как человеку суждено думать каждый миг, то Георгий Бурев размышлял о следующем:

«Теперь, вероятно, все пропало… И никакие кефиры уже больше не помогут, потому что я не из таких людей, кто мог бы примириться с образом жизни больного. Нет, я непременно выйду на закате в поле, чтобы пописать его таинственные краски; я непременно забудусь и просижу так долго, как этого не следовало бы делать больному; я подожду утреннюю звезду, а потом, когда проснется первая форма жизни, которую я всегда хотел найти, чтобы определить ее название… Я непременно сниму с себя мое платье, отнесу его к ручью и, вымыв, отдам прохожему нищему, у которого видно тело на груди и на ногах…

Ах, нет, разве я мог бы примириться с образом жизни больного, больного ужасною болезнью, быть может, грудью?..»

Он почувствовал, как заболели корни его волос.

— Господи, — крикнул он так громко, что двое из проходивших мимо людей, остановились и смотрели на него.

Бурев плюнул — это была кровь…

Он не обращал внимания на людей, проходивших мимо. Они спешили прочь, потому что знали, что значила кровь, проходившая из горла… Он продолжал плевать…

И плевал только кровью. Тело его похолодело, голова стала пустой. Только сердце трепетало, словно птица, уставшая в руках птицелова… И неумолимо стучали виски.

— Лика! — крикнул он ужасным голосом, покачнулся и упал.

Но это также был обморок. Бурев скоро пришел в себя и, когда увидел подле городового, а с другой стороны дворника из дома № 37 по Большому проспекту, попросил не беспокоиться о нем, потому что он совершенно случайно, благодаря своему большому росту, натолкнулся на маленькую крышу у входа в мелочную лавку и выбил себе несколько зубов… Вот и все. Да, он очень благодарен, что они помогли ему встать, это было так неожиданно, почти невероятно…

Он спокойно продолжал путь, но вдруг встрепенулся. Гудок автомобиля привел его окончательно в сознание. И он долго упрашивал шофера отвезти его в клинику Виллье.

Врачи, их было пять и один приват-доцент, нашли, что легкие Георгия Бурева были совершенно здоровы. И, несмотря на дурной климат Петербурга и на его собственное желание уехать на юг, пять врачей и один при-

ват-доцент нашли это вовсе уж не первою необходимостью. Это во всяком случае у него впереди, если он только не хочет быть здоровым и жить в столице...

И на вопрос Бурева: «Почему тогда из его горла шла кровь?» — пять врачей и один приват-доцент сообщили ему, что по одной из сорока двух причин... И если ему угодно знать по какой, то по той простой причине, что он — очень нервный человек. Георгий Бурев, вероятно, артист? Не совсем... Он один из самых благодарных читателей и созерцателей... Этому он научился у великого Оскара Уайльда. Они, вероятно, слышали о таком человеке? Да, немножко...

Но во всяком случае, Георгий Бурев никогда не забудет их на своем жизненном пути — они так облегчили его. Они почти вернули ему жизнь, с которою он уже простился... Это была такая грустная разлука...

И быть может теперь, когда он снова будет жить и надеяться, они еще вспомнят о нем... Потому что его благодарность еще впереди.



Зимнее удовольствие. 1911—1912

ГЛАВА XVI

Сегодня Мила уезжает в Орел. Она побывала у своих знакомых и занесла им всем прощальную улыбку. Быть может, остальным она разослала записочки, но почему не хотела сказать об этом ему?.. Неужели она могла обидеться на него за то, что он не был у нее вчера?

Георгий нервно расхаживал по своей круглой комнатке, напоминавшей Ивану Булыжникову «старомодную картонку из-под дамских шляп». «Лофондены» еще не ушли в море, несмотря на то что красная полоска погрузилась в воду, а на палубе местами сложенные товары уже крылись брезентом, готовые к отплытию.

Он разыскал Лукерию и молча привел ее в свою комнату, сделал очень строгое лицо и сказал:

— Быть может, Лукерия, вы забыли что-нибудь мне передать? Подумайте хорошенько, вспомните... Меня не спрашивала никакая дама в большой, очень большой черной шляпе?..

— Ах! — взвизгнула служанка и умчалась.

Георгий слышал ее сумасшедшие ноги: они быстро сбегали по лестнице. Она вернулась и, плаксиво извиняясь, подала ему записочку.

Мила писала: «Я уезжаю в субботу вечером, на Николаевском. Днем позднее... Я не хочу видеть никого, кроме вас».

На другой день он отправился на вокзал. По пути заметил Базарова, который быстро удалялся от места проводов; голова его была опущена.

Георгий долго искал Милу и наконец нашел за столиком в углу залы.

— Вы одна? — неожиданно спросил он.

— Как видите. Цветы... Какая прелесть. — И она закрыла глаза, чтобы лучше ощутить запах и свежесть красных роз. Да, она уже заметила его, когда он стоял у входа и искал... Но она не думала, что он так скоро отыщет этот уголок.

— Правда хорошо здесь? — ласково спросила Мила.

Георгий покачал головой. Подле нее на маленькой тарелочке стояли две тонкие рюмки с коньяком. Одна из них была пуста. Огромная шляпа Милы, накосо приколотая, закрывала от него ее лицо. Но ему хорошо был виден ее рот, высохший от пламени затаенных причин... А немного большие верхние зубы, словно из мяты, казалось, освежали слегка вздрагивавшие полуоткрытые губы.

— Как странно, — сказал он, — я видел господина Базарова...

— Вы опять называете моего мужа господином Базаровым... — перебила его Мила.

— Извините... Он шел так быстро, точно хотел заглушить страдания искренно провожающего, которому дорог этот момент и тосклив.

— Да, это я его прогнала. Он вел себя невыносимо. Он отдал мне все деньги, которые мы получили от залога, а сам остался без... Я ему сказала: или ты возьмешь половину, или уходи, пожалуйста... И он ушел.

Она помолчала. Георгию показалось, что последние звуки ее голоса дрожали.

— Он добрый, он очень добрый... — сказала она и дотронулась до полной рюмки.

— Может быть, мы будем пить наш «зеленый огонь»? — предложил друг.

— Да...

Она снова прижала цветы к лицу и, выдернув из пучка роз один темно-красный лепесток, положила его на свою нижнюю губу и откинула голову. Тогда он увидел в ее глазах то, что Мила не хотела сказать словами: она была рада ему...

Они выпили, глядя друг другу в глаза, как это делали всегда прежде.

— Как хорошо, что никого нет. — Но она нервничала и часто взглядывала на часы. Вдруг: — Если бы, Геро, вы поехали со мной... — Глаза ее были смелы, они глядели в упор. Георгию показалось, что они светились каким то зеленым пламенем... Ноги его холодели. — Всю ночь... Я отдамся вся...

Сухие губы Милы задвигались. Она произносила слова с такою ясностью, что каждая точка в Буреве жила своим собственным ощущением. А все вместе они словно слипались от ее сладостных звуков. Он испытал странное ощущение, как будто его мозг испарился и череп стал пуст и легок. Сильное головокружение заставило его побледнеть. Тьма, мутная и серая, с красными крапинками, заслонила страстное лицо женщины, которое всего несколько минут тому назад было изрыто страданиями и казалось почти старым...

— Я еду, — сказал он глухим голосом, который дрожал от холодного внутреннего вихря, пронизавшего его до ног.

— Это безумие... — долетел до него сладостный, прилипающий шепот. Стоя Георгий выпил свою рюмку и попросил ее билет. Мила долго рылась в портмоне и, наконец, протянула ему. Недорогая скомканная кредитка выскочила на стол, но она не прикоснулась к ней...

— Это безумие... — донеслось до его ушей.

...В купе было зеркало. Это удобно.

Базарова попросила Бурева отвернуться. Еще несколько минут — и поезд тронется. Помещение, в котором они находились, было настолько мало,

что это вызвало новое настроение. Они были очень заботливы друг к другу, и в головы их приходили какие-то маленькие мысли... Может быть, еще не испытанные ими за всю их жизнь.

Георгию хотелось взять ножки Милы и положить их на диван, сесть около нее и гладить по руке, по щекам, по волосам, закрывать и открывать шаловливые ресницы, как у девочки. А самому также открывать и закрывать глаза, может быть, в такт качке...

— Я так люблю жить в вагоне, а спится мне всегда так безмятежно! Но я стараюсь всегда удерживать себя от сна, — сказала Мила. Она прислонилась к спинке дивана и положила ногу на ногу.

Георгий невольно заметил ее тонкие и гибкие, как два ужа, ноги. Но он сделал вид, что спал.

— Ах, впрочем, я не должна этого делать в вашем присутствии... — И она прикрыла свои ноги юбкой.

— И, кроме того, когда поезд будет стоять, мы должны сидеть смирненько, не шевелиться... Вы согласны?

— Да...

Взгляд ее дразнил. Она любила дразнить, он уже это запомнил.

Молча курили. Глаза Георгия снова упали на ее ноги, теперь одна из них была видна до колена... Поезд сильно стучал. Он должен был приостановиться, и Георгий рванулся к ней...

— Нет, нет — вы должны сидеть смирно. Мы условились.

Они сидели бесконечно долго молча и курили. Наконец вагоны покатились. Георгий вышел из купе и убедился, что они были одни во всем вагоне. Только кондуктора оживленно спорили и играли в карты. Он попросил одного из них купить на станции ликеру и возвратился. Мила сидела в излюбленной своей позе и капризно сказала:

— Ах, как высохли губы. — Цветы были около ее рта. — Как жаль, что мы забыли взять с собой бутылку с ликером, там еще оставалась половина.

— Нам обещали его купить.

Базарова припевала:

Он мне мил,
Но ты еще милей...
Меня пленил
Ты нежностью своей...

Вдруг долгий, бесконечный поцелуй. Георгий почувствовал, как дрожало в его руках все ее существо. Она выдернула из пучка роз темно-красный лепесток и положила его на свою нижнюю губу. Она тянула к нему свой высохший рот, и они снова целовались до пустоты в черепе.

— Нам принесли ликер... — спохватилась Мила. И смущенный кондуктор передал бутылку в ее руки.

Она пила, много пила и задушевным голосом рассказывала о няне, старой няне, которая умерла. Когда няня заболела, ее вызвали в Орел, но, когда она приехала, няня была уже мертвой... Ах, после этого она долго была больна. А теперь едет для того, чтобы получить свою долю, которую оста-



Светская женщина. Ок. 1914. Рисунок из журнала «Новый Сатирикон» (1914. № 9)

вила ей тетка. Совсем маленькую сумму денег... Но она непременно поставит на могиле няни каменный памятник. Это будет стоить одну треть всего ее наследства. Да, если есть что-нибудь «там», то пусть няня получит от нее все, что она могла...

— Ах, нет, нет, что я говорю... — спохватилась Мила. — Я совсем не религиозна, но если есть что-нибудь «там», то пусть...

Она выпила достаточно, чтобы бросать и снова начинать свои воспоминания о старой няне. Глаза ее были так грустны, что все ее существо показалось Георгию бедным. Ему захотелось взять обеими руками ее голову, прижать к своей груди и приласкать как дитя. Но она так быстро металась на диване, что он не мог этого сделать. Лицо ее то омрачалось, то вновь пламенело, и страсть обжигала ей губы. Линии тела вились как молнии, тогда как лицо еще было обрамлено страданиями.

Но вот ему удалось успокоить женщину, он ласкал ее как ребенка. Но Мила быстро высвободила свою голову и сказала злым голосом:

— Я не люблю эти ласки... Они слишком подчиняют...

И, немного помолчав, она так же зло продолжала:

— Скажите по правде, вы поехали со мною только потому, что я обещала принадлежать вам?..

Бурев молчал. Он сидел словно каменный.

— На вашем месте никто, пожалуй, не отказался бы провести со мною ночь...

Тогда он сказал:

— Слова ваши напомнили мне еще одну ночь, проведенную вместе с вами же. Вы сказали: возьмем только ликер, чтобы окупить кабинет... Теперь же вам пришла в голову очень похожая мысль: поезжай со мною, чтобы окупить меня...

Его покойный голос не причинил женщине особенного беспокойства, она только бросила привычный взгляд, который приходилось ей расточать на своих поклонников. Этих хищников, не жалевших глаз газели... Быть может, озлобленный взгляд, когда она хотела доказать «белым неграм» их «пошлую страсть». И проявила очень поверхностное чувство обиды, потому что все-таки подняла свою рюмку и чокнулась с Георгием за здоровье известного карикатуриста До-Си, который «лежал у ее ног»...

— Милый До-Си, — сказала она как-то вопросительно, и горькая улыбка искривила ее высохшие губы, которые она часто подбирала, словно они могли упасть.

— Я могу выпить еще только одну рюмку.

— Ах да, я это знаю...

Базарова выпила одна. Бурев сидел в своем углу и молчал.

— Статуя Командора... — дразнила она. И тянула к нему свой рот, прикрытый свежим лепестком розы. И он должен был стиснуть зубы, чтобы они не щелкали.

— Милый, у меня к вам такое хорошее чувство. Ах, милый... Закурите папироску, закурите, закурите...

Она слегка коснулась своими губами его рта.

Бурев исполнил ее просьбу и снова сидел без движения в своем углу. Это было так трудно... И, немного удивленная этому, Мила на чем-то со-

средоточилась. Но поза, в которой она сидела, была очень рискованна, она могла упасть от выпитого ликера. Нет, она была достаточна сильна, чтобы крепиться... Он сказал, голос его был почти жесток:

— Разденьтесь и останьтесь в чулках...

— Отвернитесь... — ответила она боязливо.

Он услышал, как соскакивали крючки с петелек ее одежд. Наконец они упали...

— Я докажу вам, — совершенно покойно сказал Бурев, — что не думал так дурно о вас, как вы подумали обо мне. Я буду сидеть без движения...

Едва успел он проговорить последнее слово, как зубы его щелкнули. Он не смог бы произнести ни одного звука, он выдал бы свою слабость и вызвал бы у женщины злую насмешку над своею жалкою ролью в этой умной любви... Мозг его вздрогнул от внезапных визгов женщин, которые собрались в буйную гурьбу, хохотали и высмеивали его, кто был столь храбр и вздумал издавать «новые законы» там, где до сих пор не существовало никаких законов... Куда не проникал ни один зоркий глаз, где была полная тайна, о которой не мог бы рассказать ни один полубог слова, побывавший там как гость.

Почти нагая и возмущенная, она снова села на диван.

— Третьеклассник... — дразнила она.

— Статуя Командора...

— Вы влюблены в вашу волю?..

— Да, — бодро ответил он.

— Больше чем в меня?..

— Больше.

Голос Бурева звучал правдиво, и женщина прищурила один глаз для того, чтобы лучше понять своего соседа. Но ей не удалось этого, она снова нервничала и металась на диване со своим сухим ртом, как жаждущий зверь. Ее губы коснулись его рта, но, чувствуя в нем мертвое, снова блуждали...

— Ты не должен быть таким... — нервно шептала ему Мила. — Я хочу, я хочу, чтобы ты стал другим... Я хочу, я хочу...

Да, теперь он мог бы сказать себе: вот женщина, которую ты хотел со всею мощью ее личного желания, со всею правдой ее страсти... Теперь она в полном сознании. Она сама в этом тебя уверяет. Бери ее. Кричи небу свою благодарность, оно видело твои муки, и оно послало тебе счастье. Мила твоя, твоя!

Но Георгий Бурев издавал новые законы. Он должен был принести женщине еще одну, быть может последнюю, жертву, на которую она ему намекнула... Да, он так думал, потому что ту, которую любил, не только не окупит любое купе в мире, но даже целая жизнь отдельного мужчины... Прекрасная женщина! Не ты ли есть единственная богиня земли и царица, единственная, которая не должна отменять смертную казнь.

— Нет, уж лучше пусть моя собственная дверь прищемит мне палец... — полушутливо ответил он на обнаженную страсть возлюбленной.

«Хе, хе... — смеялся его мозг. — Ты хорошо подумал, не завели ли тебя чувства в лабиринт, и не наступил ли ты нечаянно на истину, писк кото-

рой, вернул тебе сознание?.. Хе, хе, хе... Не правда ли, есть над чем подумать?»

Но совесть Георгия была покойна. Она как мать, которая хорошо знала своих детей, все же защищала то лучшее и бескорыстное в человеке, что зовется любовью, которую высмеивал в нем мозг...

И в первый раз за эту тяжелую ночь он услышал свой жалобный голос:

— Москва, Москва...

Но Москва была далеко. Бурев сидел в своем углу и был занят только тем, что наблюдал женщину. «Зеленый огонь» в ней боролся с ее собственным, пламя которого высовывалось из ее рта и вилось вокруг сухих губ. Тело ее было покойно; оно словно ползало по дивану, а глаза были злы, как у ядовитой змеи. Казалось, все существо женщины готовилось к мести. Вот она вцепится в его лицо, в горло и станет вырывать куски мяса...

Георгий не узнал Милу, эту грустную и тихую женщину с глазами газели, которой приносили свои жертвы, быть может, полубоги и у ног складывались пополам «белые негры»... Вот теперь должна она глядеть на него, покойного, каменного, влюбленного в свою волю, и ждать утра. А оно, подобно мальчику, своим резвым криком разбудит в ней девичьи грезы, робкие и пугливые... А потом, когда остановится поезд, тот, кто причинил ей столько страданий, купит себе другую женщину... Базарова набросила на себя верхние одежды и ушла, чтобы умыться холодной водой. Но когда вернулась, снова привлекала, снова смеялась над его волей...

Бурев ослабел. Он бесцеремонно закрыл глаза.

— Вы хотите спать? — подозрительным и насмешливым голосом спросила она.

— Нет, — ответил он, — я никогда не делаю этого в присутствии прекрасной женщины. Мои глаза должны быть всегда широко раскрыты, чтобы любоваться ее волшебными линиями...

И она провела своими тонкими пальцами по его лицу, близко наклонилась к нему, и он разглядывал ее волосы — множество маленьких, растрепавшихся темных локонов. А глаза Милы смотрели ему вовнутрь словно в мольбе... Они выражали жажду разврата... Это был тот предел желания проявить свою страсть и увидеть ее в мужчине, который иногда пугает даже самых безумных женщин.

Но глаза ее снова стали злы, потому что глядели на спокойного, каменного, влюбленного в свою волю, быть может, «фразера», «статую Командора», «третьеклассника»...

Она отошла к окошечку и приоткрыла занавеску.

— День, уже день... — вздохнула Базарова. В голосе ее звучали обида, утрата, раскаяние...

— Проснитесь, — услышал Георгий сквозь сон ласковый голос Милы. Ее мягкая рука, от которой пахло душистым мылом, касалась его век. Он торопливо воспрянул.

— Неужели, неужели я уснул?.. Это невероятно, сколько времени я спал?

Занавеска на окошечке была отдернута, электричество потушено. И при ярком свете дня он увидел лицо возлюбленной. Оно было удивительно свежо и сияло каким-то новым настроением. Это утро, солнечное, весеннее, подарило женщине свою прелесть. Радостным, игривым голосом она ответила ему:

— Всего четверть часа.

Но Георгий чувствовал себя настолько бодрым, что проявил истинно дружескую улыбку. Он даже слегка взвыл, словно от необъяснимой радости, которая сдавила ему грудь. Глаза его были так благодарны всему... Быть может, даже тому, что Мила была немного жестока с ним в эту все же пре-



Кусочек ярмарки в Генгане. Бретань. 1914

красную ночь... О которой он никогда прежде не осмеливался думать больше одной минуты... Быть может, тому, что маленькая светленькая муха пролетала мимо его руки и зажгла своим крылом одну искру в солнечном луче...

В руках ее он заметил чашку кофе. Теплым голосом, в котором было что-то, что напоминало утреннюю пыль уютных, заботливо прибранных комнат, она сказала:

— Мужчины любят утром, еще до курения, выпить кофе. Пожалуйста...

И она так ласково улыбнулась, словно это был солнечный луч, упавший на белую скатерть, а на ней рыхлели сдобные булки и в потолке вилась струйка пахучего пара...

— Ах, как я благодарен вам...

Георгий едва удержался, чтобы не заплакать.

Они сидели друг от друга совсем близко, курили и говорили о том, что стал бы делать каждый из них в одиночестве.

Поезд мчался. Перед ними мелькали деревья, одетые в яркую, густую зелень. А самые большие из них, тяжелые ветки которых словно руки старых людей, висевшие без движения, как будто кто-то проносил перед их глазами и вдали невидимой рукой снова ставил на землю, группируя в лес.

Пронзительный и хриплый свисток локомотива показался им простуженным. Он напомнил Георгию его зимнюю комнату, сквозь замороженную раму которой вползала стужа... Она словно советовала ему встать со своего рабочего стула, чтобы закутать горло шерстяным шарфом... Да, это был единственный звук, в котором еще чувствовалось веяние чего-то холодного, пронизывающего. Но светлый дым, разбивавшийся о стены вагонов, толпился в небе холодными клубами и убеждал, что воздух был теплый, что солнце горячо. Оно долго еще будет пригревать вытаявшие, полные сочных трав и цветов подмосковные луга.

Георгий отвел глаза от окошечка, чтобы потереть сильно пригретое солнцем колено. Мила весело болтала, ее настроение напоминало ему невинную радость воробьев, не приносивших свое, подобно муравьям, а воровавших чужое...

Сначала он слушал ее, потом мысли увели его далеко... Он думал о серой каменистой полоске у берегов южного моря. Об огромных платанах на обрывах скал, о медленно спускающихся к морю женщинах... О, быть может, волосы и глаза ее не были черны и голова, закинутая в небо, не казалась темнее синевы... Она была полна светлых локонов, блиставших на солнце подобно золоту, тело ее медленно переливалось под легкими тканями, а через плечо она перекинула пушистое полотенце с голубыми полосками... Она шла одна, но не озиралась, она не искала никого, потому что раз навсегда потеряла то, что однажды нашла...

Символика грез не утомляла его памяти. Наоборот, она очистила ее от множества жизненных восприятий, которые загромождали своими образами один лучший в нем образ, столь мутный, почти исчезнувший... И теперь память была так же ясна и прозрачна, как весеннее небо, в которое он глядел.

— Лика!.. — вырвалось у Георгия из сердца это столь интимное имя, о котором могли догадываться только очень немногие из его друзей.

И Мила должна была замолчать... Ее шаловливый голос должен был успокоиться прежде времени, и она устремила на него свои обиженные глаза. Но она не поняла его, а потому высказала свою обиду:

— Вы совсем не слушали меня... Вы, может быть, думали, что в Москве хорошо покутите с какой-нибудь...

Она не досказала. Это сделали ее глаза.

— Москва, Москва, — прошептал он, не обратив внимания на ее слова. Он не мог скрыть своей радости, не мог овладеть собою, несмотря на то что хорошо чувствовал свое лицо. Он бесцеремонно глядел на женщину, которая страдала. Менявшееся ее лицо нисколько его не трогало. Он шептал себе, глядя в самые зрачки женщины:

«Вот теперь — злоба, а вот — досада, желание мстить, наконец — отчаяние... Снова — злоба...»

И чтобы облегчить ее, он сказал:

— Хотите, я поеду с вами до Орла еще одну ночь?.. Но только с тем условием, если вы не будете покушаться на мою волю. Я никогда еще не испытывал такой тяжелой ночи...

— Я так хорошо к вам отношусь, — ответила Мила. И ему снова припомнились глаза газели... Ему хотелось приласкать ее как сестру, одинокую, утерянную среди чужих мужчин, лишенную брата сестру, находившую свое успокоение в «зеленом огне»...

Но что он мог сделать? Мила не верила чужим мужчинам, в их братские ласки, она была слишком для этого напугана «белыми неграми». Ласки только подчиняли ее... А этого она не могла перенести.

Им предложили вагон-ресторан. Хотя и было всего только восемь часов, но они все же могли бы позавтракать.

Хорошо, они сейчас придут.

Опять «зеленый огонь». Рано утром он действует превесело. И Георгий отвечает страстным глазам Милы так, как она хочет. Как будто ее тайна стала лучше понятна ему, а в глазах женщины словно заняло доверие. От него не ускользнуло довольство в ней. И они молча повели какой-то разговор... Может, было бы достаточно еще одного какого-то независящего от них момента, чтобы они бросили еду и ушли без слов в купе...

Но этого не случилось. Через стол от них сидел человек в красном картузе и пальто серого, опошленного цвета... Карман его был проткнут варварским оружием, грубо возившим по полу.

Георгий взглянул случайно на этого человека и заметил, что он предлагал на их счет свои пошлейшие подозрения... И совершенно забыл о своей даме, он выдвинул стул и пристально смотрел в усатое лицо. Он глядел долго, так долго и так честно, что закрученные усы должны были повернуться к нему в профиль...

Этого человека Бурев простил, быть может только потому, что он пришелся на фоне яркой весенней зелени и нежнейшей белизны березового мелколесья, что тотчас овладело душой художника и сделало ее нежной и рассеянной.

В состоянии легкой хмели они вернулись в купе. Мила быстро задернула окошечко, и линии ее тела снова задвигались, снова поползли по дивану... Ее сухой рот искал его тела...

Георгий сидел в своем углу. Это не было теперь так трудно, как показалось ему ночью. Он совершенно спокойно курил.

Вдруг с криками: «Москва, Москва» — он выбежал. Когда поезд остановился, он спрыгнул на платформу и быстро удалился. Но он вернулся в купе. Ему непременно хотелось пожать руку Милы, чтобы дать ей лучше почувствовать разлуку, быть может, долгую разлуку... А самому пристально глядеть в ее прекрасные глаза и безумно работать, прилагая все свои силы, чтоб познать женщину в такой важный момент.

Базарова сидела в той же позе, в которой он ее оставил, но движения ее умолкли. Это не была усталость, она напомнила ему зверя, притаившегося перед прыжком... Руки ее лежали на глазах, тонкие, красивые, как пара выточенных из слоновой кости кегель, которую сложил дьявол после своей игры...

— Прощайте... — сказал Георгий, задыхаясь.

Мила вцепилась в его руку и с болью в голосе шепнула:

— Посидите... Куда вы торопитесь?.. Вы можете меня пытать... Неужели вы такой обидчивый, вы мстите — вы просто не любите... Будьте проще... Поедемте в Орел, я буду ваша... Ну, будьте же проще...

— Не могу.

Он высвободил руку и ушел.



Вечерние мечты. 1912

ГЛАВА XVII

Георгий Бурев навестил в Москве своего учителя, у которого научился грунтовать холсты и любить запах родного искусства, и еще тому, к чему очень немного потом прибавили другие так называемые «профессора». Он побродил по излюбленным уголкам старой русской волшебницы Москвы; послушал, как сквозь гнилые зубы рассказывала она свои вечные сказки, и спустя неделю вернулся в Петербурге. Нервы его улеглись.

У него не было с собою чемоданов, а потому он пошел пешком и наткнулся на Мирона Манна. У них произошел разговор.

— Вы еще здесь? Вернее, я не рассчитывал вас встретить... — сказал Манн.

— Почему же?

— У вас такой вид, как будто вы приехали из Африки...

— Да, я донашиваю мое туристское платье.

— Вы не собираетесь к Людмиле Николаевне?

Бурев взглянул на знакомого удивленными глазами, но не сказал ни слова.

— Она больна, у нее 39° и 6. Ее муж занес мне сегодня утром записочку, где она написала, что все ее забыли. Просит непременно придти.

— Да, да... Ее нужно будет навестить. Но мне она не написала, я не знал об этом.

— Людмила Николаевна справлялась о вас, но ей сказали, что вы еще не вернулись.

— Вы идете к ней сейчас?

— Да.

— Тогда пойдемте вместе.

Бурев был рассеян. Он молча толкался о плечи людей, даже забывая извиняться. Спустя продолжительное время он сказал:

— Вы говорите, Мила больна?.. — Но он быстро спохватился и добавил: — Людмила Николаевна...

Мирон Манн не произнес ни одного звука. Он молча плел ногами и изредка улыбался.

Мила действительно была больна. Она лежала закутанная в плед, голова ее была повязана, как и тогда, когда она вдруг, сорвав повязку, показала Георгию свою великолепную прическу, полную туго закрученных локонов.

Георгию показалось, что и теперь она была достаточно хорошо причесана...

— Вот видите, я больна, а все меня покинули... Никто не хочет навестить больную женщину.

Обратилась она к Манну и подала руку Георгию, который поцеловал ее с таким видом, как если бы она лежала на столе, покрытая саваном. Он уловил ее взгляд: это был потухший огонек, последний дымок которого замутил ей глаза.

— А мне кто-то сказал, что вы уехали... — обратилась она к Георгию, чувствуя, что он думал о ней.

— Я только сейчас с вокзала. Вам может рассказать об этом художник Манн.

Ему хотелось сделать для нее что-нибудь приятное, хотелось улыбнуться старой дружеской улыбкой... Но он был сух.

— Господа, простите меня... — Базарова вдруг задвигалась, как будто хотела встать.

— Ей богу, я не виновата, что такая бледная, должно быть, очень некрасива я в такую минуту. И что это за поза, в которой я принимаю моих друзей?..



Лежащая. Рисунок для картины «Коллекционерша». 1916



В цирке. Ок. 1918

— Вы совсем не похожи на больную. Я уверен, что вы притворяетесь... — сказал Манн.

— Нет, это, право, мило! — восторженно ответила ему женщина. — Это и было в вас то хорошее, что я не хотела вам высказать полностью прежде, а за что целовала. Вы помните об этом?..

Да, Мирон Манн помнил.

— А я безумно влюбилась в укротителя львов, — рассказывала она. И для того чтобы лучше могла видеть перед собой два лица, слушавших ее, приподнялась на локте. Плед соскользнул с ее плеч, но она не замечала этого в увлечении. — Я бы умерла без этих черных глаз в провинции. Я только и бывала в цирке, только и глядела на него... Ух, какие глазищи! Они никого не замечали, они глядели вверх... А когда он входил в клетку с рычащими зверями, на момент оборачивался и раскланивался с вице-губернатором. Но потом он делал это также и со мною... Он смотрел на меня и входил в клетку... А однажды эти глазищи не заметили, как злой зверь подкрался к нему и рванул его по руке своими когтями. Тогда все заметили кровь, она лилась ручьями... Ах, как он хлестал львов, как собак, как собак!

В глазах Базаровой что-то ожило, но они были все же очень больны. Нездоровье придавило ее к подушке, и бессильный локоть уступил... Но она продолжала рассказывать о том, как скучно жилось ей в Орле, как сильно она была влюблена в укротителя львов. И как была сердита на своих друзей, которые не написали ей в глухую провинцию ни строки...

Мирон Манн спешил на поезд, ему нужно на дачу. Да, он очень хорошо устроился. Он хвалил дачное местечко и приглашал к себе Людмилу Николаевну. Она непременно приедет, как только будет снова здорова. Он должен приехать за ней. Ведь он не откажется это сделать? Не взять ли им с собою еще Зубова, будет веселее? Но Манн возразил. Не думала ли Людмила Николаевна, что ей будет скучно с ним вдвоем? Нет, она вовсе этого не хотела сказать... Да, если она только приедет, ей не будет скучно. Они будут вместе гулять по парку, а время от времени слушать пианино, на котором очень хорошо играет его сестра. Это утверждал не он один, а многие еще другие, кто только слышал ее игру. Людмила Николаевна любит музыку?

Женщина прищурила глаза и, пристально всматриваясь в лицо Манна, словно ей пришло это в голову впервые, пообещала исполнить его просьбу. Ведь они почти уже сговорились, оставалось ему только заехать за нею, когда она поправится.

— А вам ведь некуда торопиться? — обратилась она к Георгию, молча сидевшему у ее изголовья.

— Да, я свободен, — ответил он.

Мирон Манн ушел.

Мила взглянула на ноги Георгия в коротких туристских штанах и цветных тирольских гетрах и, словно впервые увидя их, сказала:

— Ну-с... Господин пшют...

Но лицо ее ласково улыбнулось, а глаза не были злы. Они как будто кротко сожалели о том, что не всегда может быть возвращено в силу некоторых тонкостей природы.

— Когда вы ушли, я была в полной уверенности, что еще вернетесь. Вы даже не простились со мною как следует... А когда поезд тронулся, я сидела и ждала вас. Вот-вот вы войдете... Даже тогда, когда колеса уже стучали своим привычным перебоем, а луга снова зазеленели и дома скрылись из глаз — я была покойна. Я ждала вас... Вот-вот вы войдете и улыбнетесь вашей парадоксальной улыбкой и скажете новый парадокс. Ведь у вас всегда бывает какая-нибудь задняя мысль... — добивала она.

И Георгию вспомнилось, что Мила не любила красивых цветов, которые не пахли, и больше других любила темно-красные розы, лепестки которых так шли ее губам... Не была ли она в такой же степени корыстна и к его лучшим мыслям, которые он иногда высказывал ей, желая ими поделиться?

— Но потом уже, — продолжала она, — я разозлилась на вас. Я была так зла, как никогда еще в моей жизни...

Лицо ее потемнело. Она не могла уже больше крепиться и скрывать свою тяжелую болезнь. Георгий наклонился к ней и голосом, как у детей, когда они бывают испуганы, сказал:

— Вам не следует слишком волноваться. А эти разговоры только волнуют вас.

— Пустяки... Ну а как вы поживаете? Вы пополнели... А это вам не идет.— И она предложила ему папиросу, которую вытащила из-под подушки. — И никто мне даже не написал ни строки... Ах, как я злилась на вас.

— Я не пишу писем женщинам.

— Ах да, это мне уже известно. А я так хорошо к вам относилась. — И в ее словах снова затеплилось желание обещания... — Я все же была уверена, что вы поедете со мною до Орла.

— Разве вы не считали меня корыстным человеком даже тогда, когда я принес вам в жертву мои наслаждения, которые вы сами мне обещали?.. Да, теперь я, может быть, жалею, что не поехал с вами до Орла. Достаточно было одной ночи, чтобы потушить в сердце огонь вихрем мозга... Достаточно было бы еще другой, чтобы вознаградить себя за то, что погибла в тебе любовь, твое счастье, потому что оно зависело не только от тебя, но еще и от женщины, за то, что осталась у тебя только страсть... Да, страсть в моих жилах к тебе, Мила, будет жить вечно, как желание слепого увидеть....

— Я так и думала, что это было только увлечение, совсем маленькое, как у всех... И вы были даже глупее других... Вы могли бы воспользоваться... Но упустили... Теперь вы жалеете, а потому вы так грубы со мной.

— Я груб только потому, что говорю все это перед больною, в другом случае каждый человек может высказывать все что хочет. Если только он умеет быть грубым — негрубо... И, кроме того, вы меня не поняли.

— Я, кажется, разрешила вам не считаться с моею болезнью; у меня просто лихорадка, дело не в этом...

Георгий Бурев встал. Ему показалось, что он переживал слишком томительный момент в своей короткой жизни.

— Прощайте, — сказал он.

— Приезжайте в Крым...

В глазах Базаровой еще теплилось желание, и она стала развязнее от надежд, которые заставили лицо ее улыбнуться.

— Я там буду, — весело добавила она. — Вместе побродим по горам, будем скакать верхом, греться на солнце... Ах, я так люблю солнце!

— Не знаю... — ответил Бурев.

— А будете писать?

— Не знаю...

— Как другу... — сказала она, и губы ее вздрогнули.

Георгий наклонился к ее руке, а она прижала его голову к своей груди.

Он зашел в магазин цветов и отобрал множество белых лилий. О, эти молчаливые цветы были так прекрасны! «Как другу», — сказала она. Георгию показалось, что она лгала до последней минуты. И вдруг ему пришло в голову, что Мила умерла в его сердце раз и навсегда.

Но достаточно ли он был религиозен, чтобы приходить к ее могиле и класть цветы?..

ГЛАВА XVIII

Георгий Бурев сидел у своего окна и вглядывался в дали береговой линии. «Лофондены» еще не ушли...

Он попробовал взять кисть. Но через минуту же бросил ее на пол и изломал ногами. Да, он хотел забвения — он слишком страдал. Но не была ли это одна из тех человеческих попыток уберечься от лишних неприятностей, которые так хорошо воспитали ложь? Не хотел ли он, как и все, начать лгать самому себе: что кисть его слишком красива для того, чтобы могла овладеть его глазами и отвлечь их от житейского горя?.. Да, временами она уводила его существо далеко, так далеко, что когда он оглядывался на мир, то не видел его... А другой мир, к которому вела кисть, уже намечался, и призрачные формы его были неподвижны.

— Но, быть может, он никогда не страдал? А когда ему рассказывали о людских страданиях — только слушал, но не понимал, старался не понимать?.. Когда же творил, то, быть может, не возвышался над уровнем обыкновенного счастливца, чьи глаза были глубоки не оттого, что выражали мировую скорбь, а оттого, что опрокинулся в них голубой купол грез... Разве не жила с ним рядом его вечная радость? Разве не зажигала она в темные часы его грусти своих бодрящих светильников?.. Но где же теперь эта радость? У него такое чувство, словно он похоронил любимую сестру, эту единственную женщину из женщин, чей лик еще сохранял в себе первоначальную мысль о красоте, зародившуюся вместе с миром...

Да, он не мог творить — он страдал... Но за то, что он рожден был художником, в эти часы страдания, которое и его коснулось, как всякого другого честного человека, он чувствовал всю его силу, он переживал самую тяжелую муку, какую только мог познать человек.

— «Так будет лучше... По ступеням — на самый верх»... — повторял Георгий слова Милы.

— Ах, она только лгала...

— «Лофондены»...

Он услышал свой шепот и вздрогнул. И незаметно вышел.

...Тихие часы среди пустынных скал и далеких островков в море, поросших хвоями... Они уютно греют плечи друг о друга за мигающей свечой... Лика углубилась в книги, к которым он возбудил ее благоговение. И снятся ему с открытыми глазами чудесные образы, реальные в своей символике... Неумолчный шелест волн, изумрудное небо, в котором словно тысячами пузырьков кипят деревья... Порывистый ветер напоминает им осенние настроения, и они плотнее прижимаются плечами, чтобы отогнать налегавшую жуть... В глазах ее приютилась робость, она шепчет ему о покорности женщины, это придает ему больше мужества, и он любовно касается ее милых ресниц и щекочет за ушком... А глаза его, широко открытые, блуждают среди призраков символического царства. Только рука бессознательно ощущает благодарность женщины, ее теплую любовь...

Тихие часы среди пустынных островков, поросших хвоями...

Догорает свеча. Где-то в большом старом комоде лежал огарок, и Лика кладет его подле него и озирается по углам огромной деревянной комнаты, а глаза ее пугливы... Но она уверенно набрасывает верхние одежды и, не глядя на него, на цыпочках уходит по скрипучим половицам... Он бессознательно устремляет на нее свои глаза, и ему начинает казаться, что



Моряки в кафе. Из цикла «Boui boui au bord de la mer». 1922

Лика только что выбегала на балкон, чтобы помахать высокому англичанину... А теперь она торопится, но она не хочет мешать ему работать, а потому уходит на цыпочках... И он обращается к ней так ласково, так охотно, чтобы предложить пойти с нею вместе. Он не может работать, он измучен, ему необходимо отдохнуть... Нет-нет, она одна... И голос ее нежнее песен в поле, которые оживил теплый весенний ветер... Нет-нет, и он, и он... Он тоже хочет гулять, он давно не видел белой ночи, сидя за свечой... И нежный голос ее отвечает ему. Он не доверяет своей Лике, он думает — она ему изменит?.. О нет, мой милый, никогда... И она уходит, а глаза ее пугливо бродят по углам... Он думает за свечой о том, что должен доверять женщине, должен быть деликатным и осторожным в подозрениях... Быть может, это единственное еще у супругов, о чем они должны всегда помнить, чтобы не оскорбить друг друга...

Тихие часы среди пустынных островков, поросших хвоями...

И он прислушивается к морю, к деревьям, к скрипам старого деревянного дома, который словно приближается к волнам, а они уже моют его чистую, крашеную лестницу... И глаза, широко открытые, снова блуждают среди призраков символического царства... Он не замечает, когда Лика возвращается, он погружен в работу. Но Лика не пугает его, она, словно знакомый и бесконечно дорогой ему призрак, касается его губ... «Милый, хочешь, я скажу тебе всю правду?..» И голос ее, нежный и кроткий, не вызывает в нем бури... Да, да... И она кладет на стол цельную свечу... И говорит: я видела по твоим глазам, что сегодня ты еще долго будешь работать, а у нас не было свечей»...

«О, милая!»

Георгий Бурев вытер глаза, а когда увидел перед собою «Лофондены», окончательно пришел в себя. Капитан приметил его высокую фигуру в туристском платье и махал шляпой. Бурев весело ответил ему.

Но на него натолкнулся приятель, тот самый вечно грустный человек, который целыми днями бродил то по кладбищу, то у берегов Невы. Он был совершенно лысым в свои двадцать семь лет. Это был человек, которого все знали, но не за то, что он что-то сделал, а за то, что он за всю жизнь ничего не делал, а только говорил. И слова его были горячи и ярки, как кровь. Никто так строго не судил искусство, как он, за то, что оно в его глазах утратило свою святость.

Бурев взглянул ему в глаза, они, как и всегда, были полны творческой муки... И ему припомнилось это святое в его устах слово «Врубель».

Владимир Рядов произносил его так же часто, как это делают дети с буквой «а», наивно вставляя ее в каждую вопрошающую свою фразу. И в его устах это слово словно спрашивало, словно ждало единственного ответа, который, быть может, только один Владимир Рядов хорошо знал...

Бурев крепко пожал ему руку, но он шел молча. Ему приятнее было только думать... И он припомнил, как однажды они стояли перед большим окном Зоологического магазина и смотрели на маленьких светло-зеленых попугаев, которые целовались. У них были белые головки и совсем красные, словно у больных людей, глаза. А они стояли и молчали, и на глазах

Рядова он увидел слезы... И преждевременно состарившийся приятель показался ему тогда таким молодым, жизненным, заманчивым... Словно это был не он, а серый, бесцветный камень, который зацвел всеми цветами небесной радуги, когда из-за болотных зарослей озолотило его солнце... Да-да, он не замечал своего напряженного внимания, он готов был кричать от радости и прижимать его облыселую голову к своей груди... Много, много раз он подкарауливал слезы Рядова. Это были, быть может, самые светлые слезы в мировой скорби, когда изредка радость проникала в ее тьму... Много раз он обнимал душу Рядова, но она снова возвращалась в свои темные глубины, оставляя на его поверхности кротость своих упреков, муку своих желаний, веру своих надежд...

Владимир Рядов шел также молча и время от времени вытягивал шею, точно искал кого-то в толпе. Он протискался среди людей и протащил за собою приятеля.

— Нашли? — спросил Бурев.

— Да, вот она. — И он указал на девственную фигуру женщины, шедшую впереди.

— Мне нравится в ней скромность линий, — сказал он.

— И вы можете познакомиться с нею здесь, на тротуаре?

— Хе, хе... — ответил Рядов. И, опустив руки в карманы еще глубже, пошел с нею рядом. Он больше не поворачивал своей головы...

«Сколько одиночества в этом печальном человеке...» — подумал Бурев. Ему вдруг стало очень тоскливо. «Хе, хе»... — вспомнил он, но, однако, не мог побороть душевного состояния и вскочил в извозчика.

— Николаевский вокзал, — крикнул он.

ГЛАВА XIX

Георгий Бурев лежал на своем верхнем диване, закутанный с головою. Торопливый стук вагонов утомил его, казалось, он дремал.

Но вот он приподнимается и бережно протягивает руки, чтобы достать до мягких шелковистых локонов Лики... И ему начинает казаться, что она подле него, совсем близко, где-нибудь в уголке, спряталась от его взоров, чтобы укрыть свою работу... Быть может, она уже вшивает последнюю шелковую нить... И вот-вот сама прибежит к нему, прыгнет на шею и с радостными криками поделится с ним тем, что так долго скрывала... И он снова протягивал руки, словно не мог дождаться, словно призывал ее... А какие-то странные мысли, приходившие в его голову, подобно молчаливым людям в комнате, где лежал покойник и пахло ладаном и кислым золотом савана, шептали ему: «Тише, тише»...

Тогда он прятал свои руки, набрасывал на голову пальто и едва слышно звал:

— Лика, Лика...

В полдень поезд остановился на станции маленького городка. Это была родина Лики.

Бурев скупил все полевые цветы, которые предлагали ему чумазые провинциальные дети, и быстро пошел вдоль высоких старых заборов, над которыми кое-где свешивались запыленные, загрязненные, едва зацветшие ветки яблоней.

Он не пропускал ни одной щели, каждый раз заглядывал в сады, словно искал в них несколько светлых головок, полных золотистых локонов, которые так хорошо могли бы напомнить ему далекий образ Лики...

Бурев почти бежал, чтобы скорее увидеть ее нежных сестер, чтобы услышать их звонкие, радостные крики, подчиниться плаксивым расспросам и узнать о той, чей милый призрак все дальше и дальше уходил от него, словно в последней разлуке...

И когда он вбежал в знакомые ему комнаты — в них было все тихо, как если бы там никто не жил. И он озирался по углам, которые были заставле-

ны теми же столиками, стульями, цветами, как много лет тому назад. Только клетка для кенара была пуста...

Вдруг он услышал шорох... И через минуту увидел Марию, младшую сестру Лики. Она стояла у светлой, прозрачной оконной занавески, и яркий солнечный луч словно хотел одеть юную девушку в более светлое платье, чем то, в которое задрапировал ее траур...

— Геро, ты?..

Она бросилась к нему и, положив свои маленькие руки ему на плечи, взглянула на него испуганными глазами, из которых потом покатились слезы. Она склонила голову, уткнулась ему в плечо, и все тело ее запрыгало...

— Где ты был?.. — испуганно взглянула она в его глаза, не вытирая слез. — Ты разве ничего не знаешь?

— Я не успел... — едва слышно ответил Бурев.

— Но ты знал?..

— Я не успел... — повторил он, и девушка наклонилась к его глазам, чтобы лучше понять его.

— Что ты такое говоришь, Геро? Ты не знаешь разве, что пять дней тому назад умерла Лика?..

Бурев снял ее маленькие руки со своих плеч, больно сжал их и, пристально глядя ей в глаза, шепнул:

— Мария, зачем ты так ужасно шутишь... — А потом сел на стул у большого обеденного стола и опустил глаза на клеенку... Быть может, на то пятнышко на ней, которое еще сохранилось с детства Лики...

И после продолжительных раздумий спросил:

— Ты не знаешь, какое сегодня число, Мария?

— Двадцать девятое, — ответила девушка облегченным голосом.

— Я опоздал... «Лофондены» уже ушли... Да-да, Мария, я опоздал... Ты слышишь этот гудок, он такой далекий...

— Успокойся, у меня есть для тебя письмо от Лики, но я не знала твоего адреса и не могла тебе его переслать.

Она вернулась с письмом.

Георгий разорвал большой, туго набитый конверт, он вынул толстое, сложенное в три раза письмо.

Но оно было пустое...

КОНЕЦ

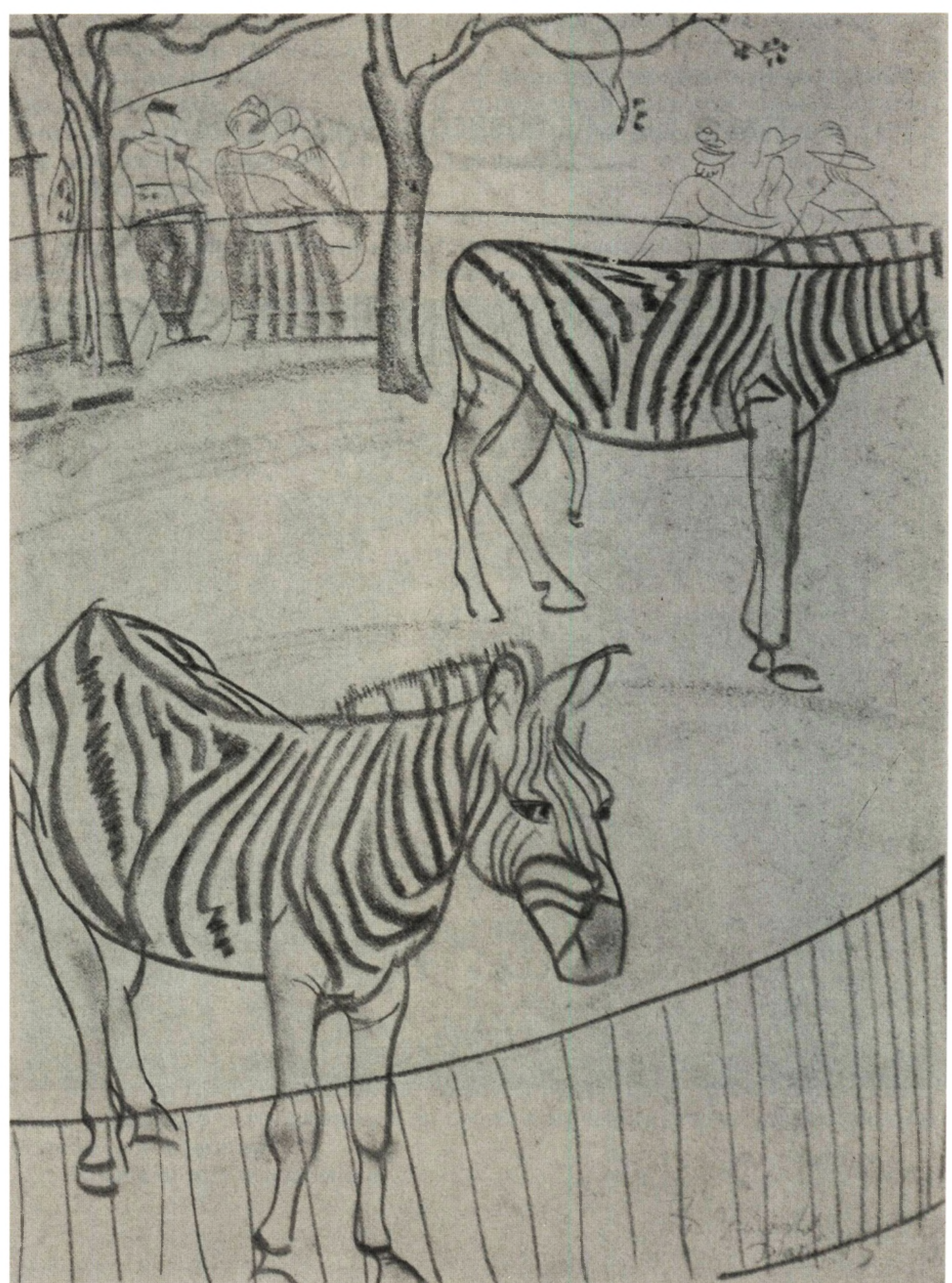
Я ставлю точку. Казалось бы, она немного преждевременна. Но общество не должно быть слишком жестоко к моему герою — он всегда к его услугам. Он говорит:

«Я только жду пощечины»...

Юрий ЧЕРКЕСОВ

ТРИ ВСТРЕЧИ С БОРИСОМ ГРИГОРЬЕВЫМ





Зебры. 1913

«Вот как бы получить Бориса Григорьева на нашу вечеринку» — так мечталось нам, ученикам Новой Художественной Мастерской кн. Гагариной в день открытия нашей ученической годовой выставки на 4-й линии Васильевского острова.

Он такой исключительный художник, понявший Париж, далекий Париж, Париж бульваров, кафе, «bal-musett»'ов, Париж Мане и Тулуз Лотрека, Монмартра, Париж «Улицы блондинок»; Григорьев столь сильный, молодой, здоровый, глубоко русский художник; тот русский западник, который сумел сочетать в нашем представлении задачи русской художественной традиции с западным искусством.

Но трудно будет упросить Григорьева — он уже так знаменит, так занят своей непрерывной работой, его так чествуют и досуги его все заранее обещаны.

Мы представляли из себя группу петербургской художественной молодежи, ищущей новых путей в искусстве. Мы слышали уже о Ван Гоге, клялись Пикассо, Дереном и Браком, изучали таитянок Гогена, были знакомы с прекрасными Сезаннами Морозовского собрания, знали два периода Клода Моне «Dejeuner sur l'herbe» и Руанский собор.

Кто же, как не Григорьев, был так близок нам и пленителен, он, недавно лишь вернувшийся в Северную Пальмиру энтузиастом французского искусства и литературы, проживший несколько лет в Париже Бодлера, Верлена и Рембо.

И вот я вызываюсь на эту ответственную миссию. С фантастической верой, свойственной моим тогдашним 17 годам, и моим девизом «Смелость города берет» я отправляюсь в воскресное зимнее утро — трагической зимы 1917 года, лишь несколько месяцев спустя после октябрьского переворота.

Григорьев, Борис Гри, как мы его звали между собой. Под этим сокращенным именем он напечатал свой роман, которым мы зачитывались в моменты отдыха модели в нашей мастерской: нас интересовало все относящееся к этому замечательному художнику.

Он жил в то время на Широкой улице, вполне заслужившей свое название, на Петербургской стороне в большом доме. Лифт поднимает меня в 6-й этаж, и я не без робости звоню. Открывшая дверь прислуга просит войти в столовую и подождать несколько минут, пока выйдет сам хозяин, вернувшийся накануне поздно вечером и сейчас одевающийся.

Комната обставлена мебелью того финско-шведского модерного стиля, который в период перед войной 1914 года начал вытеснять в interieur'ах петербургских художников традиционный ампир. С любопытством рассматриваю висящие на стенах рисунки самого Бориса Гри, его товарищей. Очень меня поражает «intimité» работы Вл. Лебедева под большим влиянием Григорьева, считавшего его своим учеником.

Дверь открывается и в комнату входит херувимоподобный мальчик 2—3 лет, белокурый, розовощекий, веселый и общительный. Он послан отцом занять поджидающего гостя, и как он справляется со своей задачей! Он приносит огромного медведя, паровоз, вагоны, кучу построек. С радостью он вбегает и выбегает, держа в руках все новые и новые сокровища. Мы оба, усевшись на полу, пускаем паровозы, тискаем плюшевого медведя, чтобы громче пищал, смеемся; он говорит и о падающем снеге, и о папе и маме, поздно вернувшихся, и о трамваях.

«Да вы не скучаете с моим Никитой!» — раздается голос сзади нас. Оборачиваюсь и вижу огромного роста молодого человека (даже мне он казался огромным, мне, бывшему на полголовы выше моих товарищей), широкоплечего, со столь нам уже известной по автопортретам энергичной и пленительной головой. Северные (шведские) — глаза со столь острым, глубоким, пронизывающим взглядом, вздернутый нос с большими ноздрями, высокий лоб, кончающийся непокорным светлым коком мягких волос, рот резко очерчен и подбородок той особенной формы, которая, как говорят, является признаком упорства и настойчивости. Борис Гри одет очень элегантно, но без той специфической претенциозности, коей грешили у нас уже многие служители Аполлона.

По приглашению Бориса Дмитриевича мы переходим в соседнюю мастерскую с большим окном, выходящим во двор со снегом, покрывающим крышу.

Обитый кожей диван и такие же глубокие удобные кресла, многотомные собрания сочинений Пушкина в изд. Брокгауза. На мольберте портрет М. В. Добужинского, на фоне домов захолустного городка польско-литовского края, столь близкого сердцу Мстислава Валерьяновича.

С первых же слов у меня с Борисом Гри устанавливаются «un courant de sympathie», и я излагаю ему мое «ответственное дело» — просьбу прийти в тот же день на нашу вечеринку — он тут же охотно соглашается и обещает пораньше «спровадить» своих приглашенных днем знакомых и провести вечер с нами.

И вот вечером мы ждем в большой яркоосвещенной мастерской, увешанной нашими этюдами, композициями и рисунками. Какие противоположные течения, сколь разные искания, необычайное разнообразие палитр.



Портрет М. В. Добужинского. 1917

На стенах были натюрморты с красными яблоками работы одного из наших товарищей, проведшего несколько месяцев в Париже и загипнотизированного на долгие годы яблоками Сезанна; были и рисунки животных, близких сангинным зарисовкам Яковлева и Шухаева, были тщательно сделанные портреты, на которых отразилось влияние итальянцев quatro-cento, были и кубистические и плосткостные разрешения живописных проблем. Коричнево-лиловая голова старика-цыгана на розово-кирпичном фоне цвета земли гогеновских таитянок и силуэт чучела сине-черного ворона, все сведенное к геометрическим простым поверхностям, а рядом того же товарища натюрморт из разных фолиантов, фарфорового сервиза и модель чудища с храма Notre Dame de Paris.

Все это было молодо, задорно, полно веры, может быть, заблуждений, но начисто лишено академической рутины.

В углу был устроен буфет. С трудом добытые последние бутылки вина, уцелевшие от массового винного массакра, произведенного в эти «героические» месяцы, последовавшие за большевистским переворотом, когда снег вокруг винных складов и погребов был окрашен в малиново-лиловый цвет от разбитых солдатскими прикладами многолетних бутылок бордо и бургонь. Последние бутерброды и яблочные пироги, выпеченные из муки, оставленной друзьями из иностранных посольств, покидавших «St. Russie», объятую революционным пожаром.

Под звуки грамофонных пластинок мы оттанцовывали задорные «one step» и «tres moutard».

Среди коллекции разнообразнейших по форме рюмок самая большая была оставлена почетному гостю, большое, самое лучшее, да и почти единственное кресло его ожидало. Мы все ждали прихода Григорьева, разгоряченные и взволнованные, уверенные, что он нас не обманет, придет разделить веселье нашей последней вечеринки, когда мы чувствовали, что прощаемся с быстро и безвозвратно уносящейся юностью перед долгим и кошмарным периодом страшных потрясений, покачнувшейся веры, трагических кончин наших товарищей, погибших под расстрелом, от голода, холода, мрази и отчаяния.

И, конечно, Григорьев молодежь не обманул, он пришел и держал себя совсем просто, как товарищ, смотрел все наши работы. Ему был близок наш задор, его радовали наши дерзанья, ему самому тогда близок был кубизм; он сам столь молодой, сильный, неустрашимый разделял нашу веру, наш юношеский пыл. Сколько русских художников молодого поколения обязаны Григорьеву, открывшему новые пути, нашедшему равновесие между разрешением «Божественной формы» линией и максимальной выразительностью внутреннего мира модели. Он вынул альбом и достал легендарный столярный карандаш и весь вечер прорисовал, разговаривая с нами, переходя от одной темы к другой, от задач современного искусства к рассказам о Монмартре. Его уже тогда пленяла страна «Дяди Тома» с тем юным и здоровым народом, с типом женской красоты, получившимся от слияния выходцев с севера Европы с потомками испанцев из Южной Америки.



Мастерская художника. 1918

Он набросал характерный профиль нашей подруги Нади Крон, «северной красавицы», которая пленила Григорьева тем, что вполне соответствовала воображаемому им типу «американки».

Часы летели, бутылки опустошались, фонограф хрипел, а мы, восторженные и опьяненные, мечтали о Париже, о лефранковских красках (которых уже тогда нам недоставало), о свободных академиях с набросками, о кафе, бульварах и веселых парижских ярмарках-фуарах. Но 3 часа пробило на церкви Св. Екатерины. Пора расходиться, и мы гурьбой высыпали на покрытый снегом двор. Предстояло пешком возвращаться по погруженным в ночную тишину улицам революционного Петербурга. Как быть? Расстаться нам с Борисом Гри и довести наших товарок по мастерской до их домов по пустынным улицам? Но сколько же тем осталось недоговоренными! Сколько можно еще расспросить и узнать нового у Григорьева! Случай такой может не возобновиться, революционный вихрь метет, кружит и многих из наших близких уносит навсегда. И, о счастье! Григорьев понял наше тайное желание — сомненье — он тоже не хочет еще расстаться с нами; он пойдет провожать наших дам, и чем дальше, тем лучше.

Мы идем группой по пустынным улицам. Сначала это линии Васильевского острова, потом Николаевский мост, Конногвардейский бульвар. Добравшись до Марсова поля, мы остаемся вдвоем с Борисом Дмитриевичем. Какой-то последний взрыв веселья и бодрости заставляет нас бежать по снежным сугробам, высоко закидывая ноги, и тут мы теряем наши калоши. И тут, когда, наконец, наши силы нас оставляют, мы видим запоздалого извозчика: «Эй, извозчик, стой. На Петербургскую свезешь?» — «А целковый положите?»

Сидим на узких санях, покрытые меховым передником с нахлобученными шапками, так как начинает пробирать нас холод. Падает снег. Наш возница покрикивает время от времени и подстегивает свою лошаденку, а мы вновь возвращаемся к серьезным, волнующим нас темам. Григорьев рассказывает о трех годах, проведенных им в Париже. Скольким он обязан этому единственному в мире городу! Вспоминает о годах ученья в высшей художественной школе при Академии Художеств. Жалуется на рутину там, на полное непонимание личности молодых художников. Тут же восторженно говорит о Ван Гоге. Особенно об его портретах, об их глубокой проникновенности, о силе их драматической выразительности, об остроте рисунка Тулуз-Лотрека, о выставках у Дюран Рюэля «Воллара».

— Поезжайте в Париж, не теряйте времени!

Париж! Мечты о поездке в Париж в конце 1917 года...

А среди ночной тишины доносится по морозному воздуху из Петропавловской крепости звук пулеметной стрельбы...

Лето 1927 года.

Взбираюсь на паперть Русской церкви на rue Daru. Пришел на панихиду по старой хорошей знакомой.



Париж ночью. 1913

На дворе толпятся старички, старушки со сморщенными, как печеное яблочко, лицами, со светлыми, потухшими глазами. Кажется, что видел уже эти лица на папертях церквей Новгорода, Пскова и городов Поволжья... А теперь вот здесь, в Париже, и так же стоят с робко протянутой за подаянием рукой.

Из церкви идет запах ладана, свечей. Выходит толпа молящихся русских людей, покорно, с верой несущих невзгоды эмигрантского скитания, и среди них вижу высокого, здорового, с молодым лицом и этими пытливыми, пронизывающими глазами Бориса Григорьева. Рядом с ним мальчик лет 12—13.

— А, Черкесов! Здравствуйте!

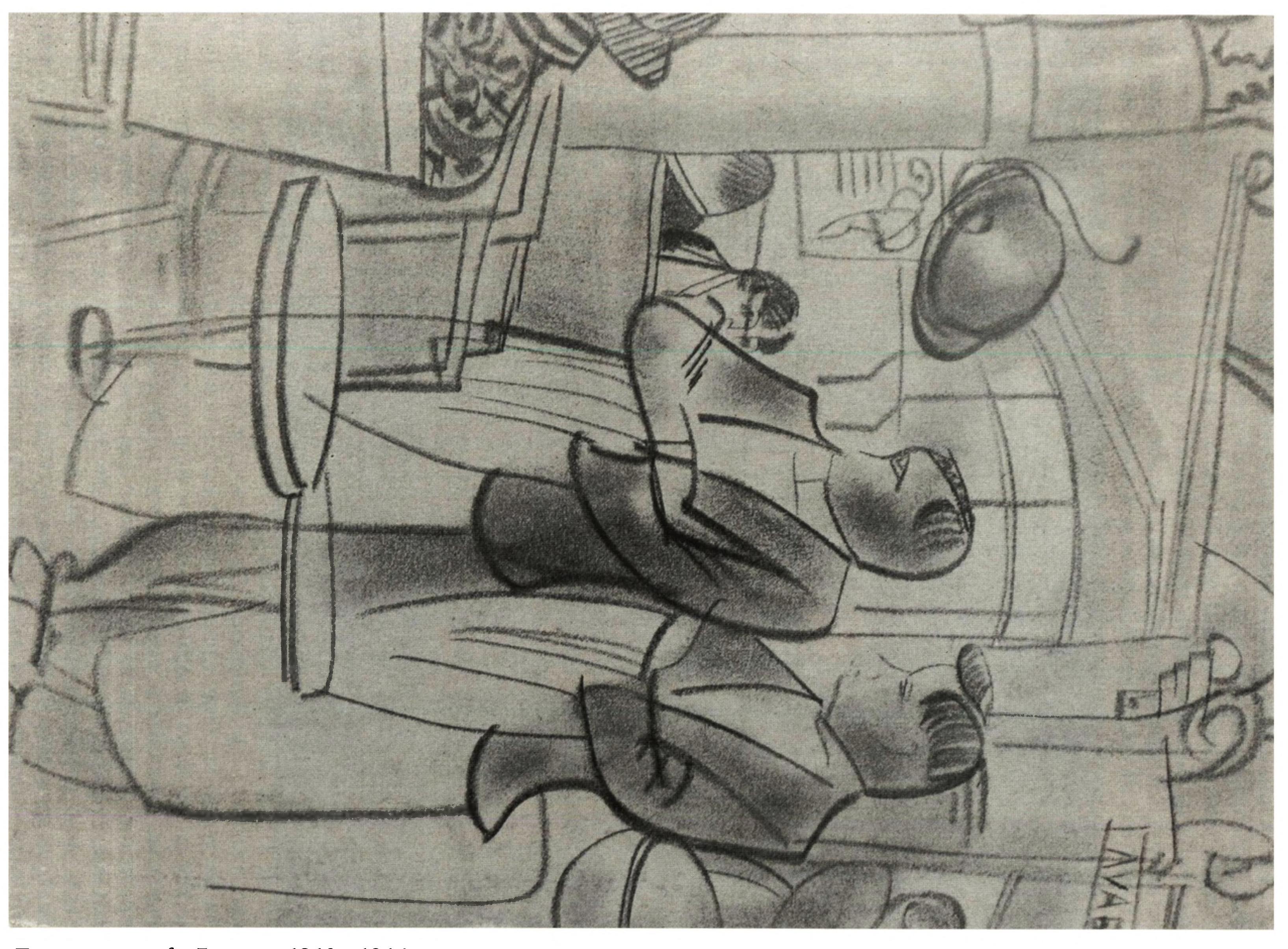
Все такой же светлый, северный.

— Мы, «русские шведы», не меняемся — крепкий народ. А я из Америки, какая страна! Какие свежие люди! Какой интерес к искусству! Совсем другое дело, чем в «старой Европе». Большой интерес ко всему русскому, к русским художникам. А небоскребы, а прямые, бесконечные улицы! А вот кого не узнаете, это Никиту. Вот кто изменился!

В жаркое послеобеденное время первых дней сентября, столь пленительных в окрестностях Ниццы, я отправляюсь на автокаре Cagnes s/Mer навестить Бориса Григорьева, так часто меня приглашавшего в свой недавно им приобретенный после долголетних скитаний «home».

Выбираюсь по узкой дорожке среди перестроенных крестьянских домов, купленных нахлынувшей на Ривьеру волной англо-американских «колонизаторов». Дорожка узкая, крутая, а наверху высокого холма лежит старый Cagnes с его итальянскими уличками в аркадах, живописными домиками, с садами, спускающимися террасами до самого низа. Почти на самом верху горы виднеется домик на аркадах — «Borisella» — ателье-школа молодых художников, учеников Бориса Гри. Маленький, очаровательный садик разбит на террасе, укрепленной сложной системой аркад, живописный домик, как и все другие, перестроенный из крестьянской фермы. В саду апельсиновые и лимонные деревья, другая часть его отгорожена под птичий двор, столь любовно устроенный верной подругой жизни Григорьева, мудрой и преданной Елизаветой Григорьевной. Еще дальше в глубине сада маленький домик, обитаемый парой обезьянок, привезенных Григорьевым из Южной Америки.

Гостеприимные хозяева с радостью и гордостью показывают свое поместье. Проходим через столовую с видом церкви в Duingt на Аннесийском озере (работа хозяина). Деревянная лестница ведет в мастерскую, перестроенную из бывшего амбарчика, который с рядом построек создал тот конгломерат, столь характерный для провансальских усадьб. Угощают меня чаем на террасе с чудным видом на нежно-голубое Средиземное море, расстилающееся вдали. Счастлив Борис Гри иметь свой домик, сюда он приезжает отдыхать душой и телом из двух Америк: Северной и Южной.



Парижское кафе. Гарсоны. 1913—1914

Но главная цель моего посещения увидеть серию иллюстраций, которую Григорьев сделал на тему «Братьев Карамазовых» для конкурса Общества библиофилов в Нью-Йорке. Поднимаемся в мастерскую, длинную, может быть немножко узкую, со стеклянной крышей, дающей спокойное освещение. В глубине ателье на мольберте стоит натюрморт в плотной, писанной исключительно шпателем несколько жесткой манере художника в серых, черных, коричневых глубоких тонах, разбитых яркими пятнами фруктов и овощей. На стене высоко над лестницей висит «голова» Б. Гри.

— А это Саша писал (А. Е. Яковлев).

Этого, впрочем, и не нужно было говорить, настолько работа была характерна так называемого коричневого периода Яковлева, до его увлечения помпеянскими росписями.

— Как похож, как твердо построен! Молодец Саша! Какой рисовальщик! Ведь он сделал эту голову в час-полтора времени. Вот европеец! Ему-то удалось соединить искания русской школы с западной. Да мы все Сашей гордились, когда он еще был нашим товарищем по мастерской Кардовского.

Жарко от нагретой крыши. Пробует хозяин открыть дверь, ведущую на террасу сада, но еще большим жаром пышет снаружи, приходится включить вентилятор.

— Да, но что эта жара солнечная — наступит вечер с его прохладой — по сравнению с внутренним жаром, который во мне, нет минуты спококойствия. Как найти мне равновесие, как сочетать задачи русского искусства с западным!

И я понял, что это не были пустые слова. Это была глубокая трагедия художественной личности Григорьева. Такой русский, глубоко русский художник, с юности прельстившийся французами и не могущий найти равновесия...

Открылись картоны, и я перевертывал один за другим изумительные, сделанные гуашью листы цикла, иллюстрирующего «Братьев Карамазовых». Здесь были и Смердяков, и Алеша, и Грушенька, и сам Старец. Были русские сады с вишневыми деревьями в цвету, жалкие провинциальные улички с частоколами, городские скверы с тоскливыми провинциалами, сидящими в вечерние часы на скамеечках. Одни листы были сделаны во множество красок, другие почти an camaieu. Одни были в вышину формата, другие были в длину, трудно умещающиеся на страницах книги. Но не книжная архитектоника руководила автором; не архитектор строил это здание — а психолог. Да, только так Григорьев и понимал задачу иллюстратора. Зашел разговор о французских изданиях так называемых «editions de luxe», в которых почти исключительно применяются оригинальные способы воспроизведения (гравюра, офорт, литография). Этот принцип решительно чужд Григорьеву, он не мог выбирать и считать количество красок, отсчитывать размеры листов — видения должны были быть немедленно запечатлены на листах бумаги без всяких преград в исполнении. Мне вспомнился рассказ Клода Анэ, который долго и упорно убеждал Бориса Гри иллюстрировать его «Ariane, jeune fille russe»,—



Натюрморт с яблоками, овощами и хлебом. 1930-е годы

художник решительно от этой работы отказывался, несмотря на интересные стороны этого издания «de grand luxe», чувствуя могущие сковать его кандалы.

Серия «Карамазовых» была не только иллюстрацией, это было дополнение о Достоевском, это было углубление, развитие основной темы; иллюстрации играли роль оркестра при оперных партиях певцов. В этом цикле Борис Григорьев продолжал свою «Расею», но еще более жуткую, глубокую, смятенную, запутанную, полузвериную, грешную, но смиренно молящую в своем покаянии. Здесь был весь Федор Михайлович с его пророческим анализом многогранной и многострадальной Руси. Когда среди жаркого спора, на одном собрании в «Зарубежной России» кто-то из присутствующих обратился к художнику с вопросом: «Не знаю, с кем имею удовольствие беседовать?» — «А Достоевского знаете? Я гордость ваша — Борис Григорьев!»

И кто же, как не он, родной брат Федора Михайловича, кто же, как не он, его верный соратник, и вопрос параллели его и Достоевского всегда возвращался на его уста.

Солнце начинало спускаться, цикады менее шумно трещали в деревьях сада. Наступал вечер, несший с собой прохладу — ветерок подул с моря. Становилось темновато в мастерской, а я все не мог оторваться от гуашей Григорьева, я смотрел их с начала, с конца, с середины. Автор был доволен — он увидел, что его работа понята и оценена. Но поймут ли его другие, представители юной американской культуры? Опасения художника оказались, увы, оправданы...

Мы вышли сделать «tour de Cagnes». На стенах старых домов светлыми пятнами падало солнце через окружавшие высокие дубы, столь характерные для этой части южного берега Франции. На первом плане зигзагом спускалась дорога, ведущая вниз в долину в направлении St. Paul de Vence. Эта дорога да и вся долина были уже погружены в тень. На втором плане виднелся склон горы, поросший серовато-серебристыми сливками; кое-где гордо торчал темный силуэт кипариса. В глубине как в легкой дымке тумана скрывались скалы Приморских Альп. Стены домов были тепловатого желто-розового тона с голубовато-серыми тенями. Крыши, покрытые старой, выжженной солнцем черепицей, тоже розовые, и только кое-где выделялись более яркими оранжевыми пятнами части, замененные новой черепицей. Глубокий тон дубов, голубоватые дали гор и то удивительное небо, с плывущими легкими облачками, которые пленили проезжавшего в Италию Пуссена. Весь этот грандиозный пейзаж был полон чарующего спокойствия. Невольно мне пришли на память пейзажи Римской Кампани Коро, любившего именно это теплое освещение, присущее последним часам заходящего солнца.

Но Коро не был среди «богов» Б. Григорьева, ему чужды были искания освещения и света. Да и величавое спокойствие пейзажа мало говорило его маящейся душе.

Мы заговорили об Марселе. С восторгом он вспоминал старый порт, в те годы еще густо загроможденный судами, пароходами, парусными лод-



Л. М. Коренева в роли Лизы в сценах по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». 1923

ками и лодчонками всех цветов, пришедшими из всех стран света или туда отплывающими. Этот порт — ворота в экзотические страны Азии и Африки с его наполовину колониальным цветным населением, с вечными шумами, говором, визгом цепей поднимающихся якорей, шумом грузящихся товаров, с набережными, заставленными бочками, ящиками, с лотками торговцев всевозможными морскими животными и раковинами, этот вечный призыв к путешествию, все это столь близко и родственно было Григорьеву. Да и чайки, кружащиеся над водой, казались ему орлами, а широкие парусники итальянских мраморщиков — финикийскими кораблями.

И каким чуждым ему казался с его изысканной элегантностью портовый город Тулон с белыми пятнами летних форм морских офицеров, этот порт с подступающей вплотную к набережной водой, с этими серыми горами в фоне, с серыми судами, с нежно-голубыми катерами, развозящими пермиссионеров, с пастельными тонами старинных домов. Борису Гри не хватало ярких пятен оранжевого и зеленого, того кажущегося случайным и беспокойным, к чему его всегда манило.

Я спросил Григорьева, пишет ли он пейзажи Cagnes.

— Нет, мало, сделал несколько этюдов зимой, но ведь это не моя задача, не следует мне отходить от моего пути. Я знаю, что я сначала и прежде всего рисовальщик, а потом уже живописец. Все мы, русские художники, идем от формы и линии, и изображение человеческого лица с его сложным внутренним миром и психологией,— вот мой настоящий путь. Я «обличитель» — вот почему не всякий соглашается мне позировать. Помните мой портрет Горького, который я писал в Сорренто?

И вспомнилось мне это лицо, нам знакомое лицо идейных учителей деревенских школ из Поволжья, тех фанатиков народничества, тех рожденных революционеров, тех людей, кого не изменят многие годы жизни в Европе, те, что все отдают, на все идут, чтобы умереть на своей земле.

Портрет Горького — продолжение цикла «Расея». И был горд Григорьев тем, что нашелся представитель старой аристократической Франции граф Полиньяк, который увидел этот портрет и захотел «узнать правду о себе, всю правду» и после столь блестящих, элегантных, льстивых портретов, что украшают его замок, заказал Григорьеву свое изображение.

Тут же заговорили о Ван Гоге:

— А помните, как мы о нем уже говорили давно, далеко, в петербургскую зимнюю ночь... Вот портретист, умевший показать страдание и сам умевший страдать. Да к тому же какой был живописец! Северный человек, нашедший себя на французской земле.

На противоположном склоне из-за деревьев виднелся дом Ренуара.

— Вот тоже был знаток человеческого лица. Как замечателен портрет M-me Charpentier!

Из современных художников Григорьева пленял в те годы больше всех Вламинк, картину которого он был так горд иметь у себя. Возможно, что именно своим внутренним несходством он и пленял мятущуюся душу Григорьева, как мы, белокурые дети севера, и влюбляемся в красоты Прованса и Италии.



Портрет А. М. Горького. 1926

Ниже по дороге — белый дом с высоко поднимающейся из-за стены сада пальмой.

— А вот здесь летом гостил Савелий Сорин у своих американских друзей, портретист, рисовальщик, верный товарищ! Совсем американцем стал. А вот мне не удается, временами и хотелось бы, да не получается. Мы глубоко русские — вот когда были дома, то казались всем, да и самим себе, европейцами, западниками, а здесь видишь, что мы глубже, сложнее, может быть дичее, и вообще другие. Нет, не понять нас ни Европе, ни Америке. А обидно, не буду больше выставляться в салонах — ни «Осеннем», ни Tuileries!

Рассказал Григорьев, как он вернул обратно приглашение в последний салон, с требованием признания за русскими художниками равных прав с другими и чтобы им не уделялись места, предоставленные «бедным родственникам».

Говорил Борис Дмитриевич еще о том, как не поняли здесь, в Европе, Серова, не знают Репина и Сурикова.

— Они воспринимают в нас более простое, более экзотическое и прямое. Подавай им половецкий пляс, хор казаков, балалаечников и сарафаны. Москва кажется им Россией, а не Петербург, — Москва татарских князей, а не создание Петра. А вот нам, русским, приятно узнавать об успехах наших соотечественников. Кому, вы думаете, принадлежит этот величавый Chateau de Cagnes? Г-же Антоновой, до революции жила в нем помещицей, а теперь пускает экскурсантов осматривать его за 5 франков!

Мы спускались по тропинке между старых сливок. Южная ночь наступила почти мгновенно после заката солнца, без тех длинных сумерек севера, того особого «ощущения небытия». Момент, сопровождаемый каким-то внутренним щемлением.

Темное, очень темное синее небо, усеянное бесчисленными звездами, было над нашими головами, а вдали под ногами виднелись огни Ниццы — Ниццы русского города. Полукруг огней «Promenades des Anglais» убегал в бесконечность, продолжаясь огнями Виллефранта, Болиэ, Монте-Карло... Столь же темное, как небо синее, безграничное, Средиземное море, без шума прибоя, без волн, расстилалось под нашими ногами.

Оба мы замолкли, и среди этой тихой, спокойной величавой южной ночи мы вспоминали другую ночь, далекую, на другой земле, под другим небом, с другими огнями...

Подходя уже к воротам «Borisella», я прервал затянувшееся долгое молчание, заговорил с Григорьевым о тех случаях, когда большие художники опережали своих современников, цитировал многочисленные примеры, говорил и о том, какую колоссальную роль он сыграл для Русской школы, что и там на берегах Невы и вокруг Кремлевских стен, среди русской художественной молодежи клянутся его искусством и идут по проложенному им пути. Однако он лишь покачивал головой. И через несколько лет узнав о смерти Бориса Григорьева, мне стало ясно, что эта непонятость Западом его творчества, с молодости поверившего в него, подкосила, подорвала его силы, и что умер он не столько от болезни, язвы, от слабости



Купальщицы. 1916



Улица блондинок. Из цикла «Intimité». 1917

«бренного тела», сколько от внутреннего разлада в нем России и Европы, от невозможности отказаться от последней и оставаться только русским на чужбине.

Перед отъездом увидел я и Никиту, столь же белокурого, как и в момент нашего знакомства на Широкой улице, но превратившегося в гиганта, сложенного как античная статуя, чем был так горд отец.

И, прощаясь со мной у автокара, отвозившего меня в Ниццу, Григорьев сказал мне:

— Вот Никиту поймут и воспримут французы, а нас нет — слишком сложившимися и крепкими мы приехали на Запад, нас не переделаешь.

Перед нами человеческий документ во многих отношениях уникальный. Это мемуарный рассказ, охватывающий три разные поры в жизни Бориса Григорьева, о котором вообще сохранилось не так много воспоминаний. Кроме того, мемуары принадлежат замечательному художнику, тонкому знатоку искусства, чья жизнь трагически оборвалась всего через четыре года после смерти Григорьева. Наконец, авторская машинопись с правкой Черкесова была сохранена его наставником Мстиславом Добужинским и в составе большой коллекции материалов поступила в Бахметевский архив Колумбийского университета в Нью-Йорке. Печатается с любезного разрешения совета Библиотеки редких книг и рукописей Колумбийского университета (США).

Юрий Юрьевич Черкесов родился в 1900 г. в Петербурге в семье потомков декабриста Василия Ивашова. После окончания Выборгского коммерческого училища он стал заниматься в Новой художественной мастерской, которая была основана в 1911 г. княгиней М. Д. Гагариной и называлась часто «гагаринской школой». Как отмечал ее руководитель Мстислав Добужинский, это был «рассадник художественной культуры «Мира искусства». Школа дала возможность проявиться самым различным индивидуальным дарованиям («индивидуальное» стало как бы традицией школы в противоположность академической нивелировке)». Здесь преподавали Лансере, Браз, Остроумова-Лебедева, Яковлев, Шухаев. В школе, по словам Добужинского, ежегодно устраивались выставки ученических композиций. О разнообразии стилей и форм творчества учащихся мастерской Черкесов подробно рассказал в начале своей рукописи. В гагаринской школе училась дети А. Н. Бенуа — Николай, Елена, Анна, племянница Надежда. Анна стала в 1919 г. женой Юрия Черкесова. В сентябре 1918 г. художник пришел в живописную мастерскую К. С. Петрова-Водкина в Петроградских свободных художественных мастерских, затем учился у известного графика Д. Н. Кардовского. В 1920—1921 гг. Черкесов работал декоратором в театре Балтфлота. Но известность молодому художнику принесла его главная страсть — оформление книг. В 1920 г. Музей художественной культуры приобрел четыре рисунка к произведениям Оскара Уайльда (ныне в ГРМ). Черкесов был, как писал Добужинский, настоящим «сыном «Мира искусства», какими по крови являются его сверстники: и дети Бенуа, и сыновья Бакста, Рериха, Кустодиева, Билибина, Серебряковой и мои... Замечательно, что все они стали художниками по наследству». В 1925 г. Черкесов вместе с женой уехал во Францию, много иллюстрировал (более 40 книг), сотрудничал в русской и французской печати, участвовал в выставках. За гравюры на дереве к шекспировскому «Гамлету» он удостоен золотой медали на Всемирной выставке в Париже (1937). С Францией связаны два эпизода воспоминаний о встречах Черкесова и Григорьева. Изменилась их жизнь, появились новые проблемы, но неизменна душевная привязанность младшего художника к своему кумиру...

В годы Второй мировой войны Черкесов (у него оставался советский паспорт) был арестован оккупационными властями в Париже и вместе с 19-летним сыном про-



Портрет А. Г. Молло. 1917

вел восемь месяцев в лагере Компьень, где содержались многие русские интеллигенты. Надломленный тяжелыми испытаниями, он 31 июля 1943 г. покончил с собой. В некрологе Добужинский писал: «Это поколение, к счастью, в своем художественном развитии не знало раскола «отцов и детей» и начало свой рост в неповторимой атмосфере нашей художественной культуры». Публикуемые воспоминания наглядно подтверждают, как велико было влияние этой культуры и каким значительным было место Бориса Григорьева в насыщенном художественном пространстве России и русского зарубежья. Вместе с тем мы слышим голос благодарного наследника, личности светлой, чье собственное творчество привлекает графической изобретательностью и развитием григорьевских традиций.

Он такой исключительный художник, понявший Париж... — Григорьев побывал в Париже еще будучи учеником Петербургской академии художеств в 1909 и 1912—1913 гг., затем в 1915—1916 гг. Картина «Улица блондинок» (1917) открывала книгу Григорьева «Intimité».

...были знакомы с прекрасными Сезаннами Морозовского собрания — в собрании С. И. Морозова в Москве были полотна Сезанна «Пьеро и Арлекин», «Натюрморт».

Два периода Клода Моне — речь идет о картине Клода Моне «Завтрак на траве» и цикле работ, посвященных Руанскому собору.

Лебедев Владимир Васильевич (1891—1967) учился в Академии художеств, работал в журнале «Новый Сатирикон», после революции — в «Окнах РОСТА», создал графические циклы «Панель революции» (1922), «Любовь шпаны» (1925) в духе «Intimité» Григорьева.

«Портрет Добужинского» (1917). Для фона, по моему наблюдению, художник воспользовался своей зарисовкой узкой улочки и дома со ставнями, подписанной «Женева, 1914». Тот же мотив воспроизведен в картине «L'étranger» (1916).

Массакр (от фр. massacrer — истреблять), — имеются в виду «винные погромы» после Февральской революции в условиях водочной монополии военного времени.

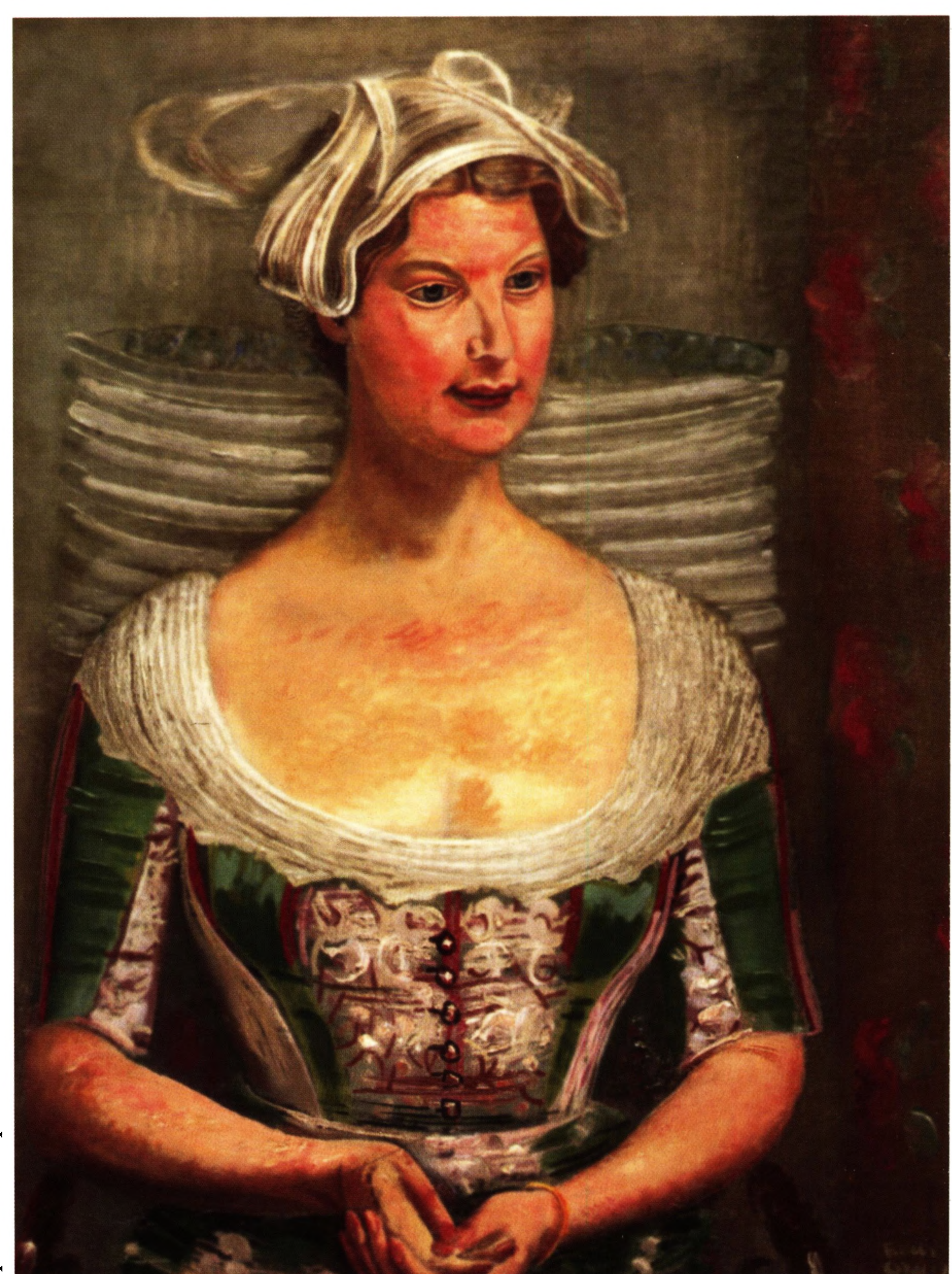
Его уже тогда пленяла страна «Дяди Тома»... — речь идет о Соединенных Штатах — по роману Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (позже вошло в обиход выражение «дядя Сэм»).

...недавно им приобретенный после долголетних скитаний «home»... — в городке Кань-сюр-Мер на Средиземном море Григорьев поселился на вилле «Borissella» («Бориселла» от имен хозяев — Бориса и Элли). *Home* (англ.) — дом.

Кардовский Дмитрий Николаевич (1866—1943) — художник-график, в 1903—1934 гг. преподавал в Академии художеств.

Сорин Савелий Абрамович (1878—1953) — живописец, в 1920-е гг. в Париже вместе с Григорьевым входил в общество русских художников «Мир искусства».

Как замечателен портрет M-me Charpentier! — «Портрет мадам Шарпантье» Огюста Ренуара.



Бретонка. Сер. 1920-х гг.



Чудо-суп. Ок. 1926



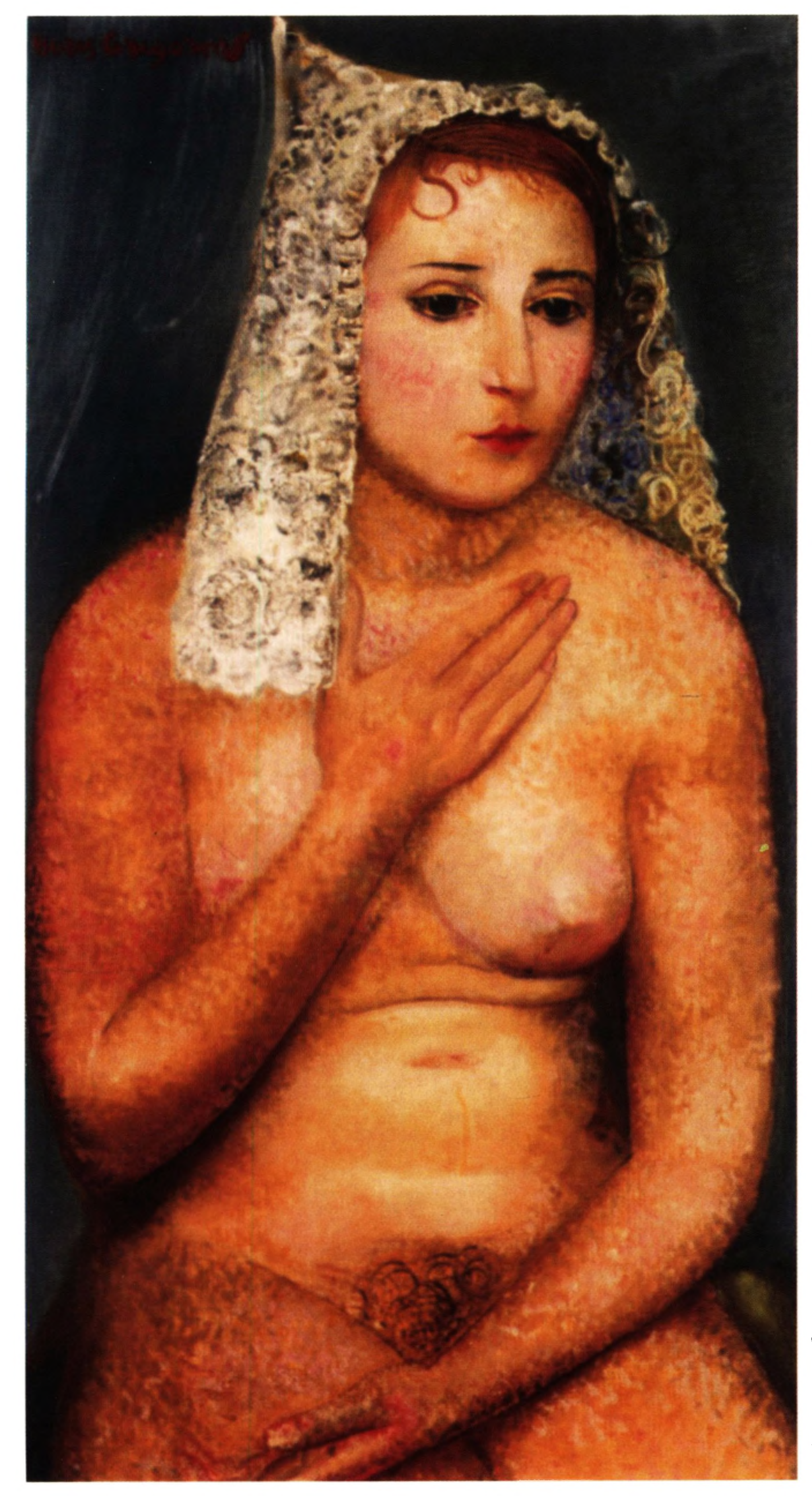
Дама. 1917



Девочка. 1916

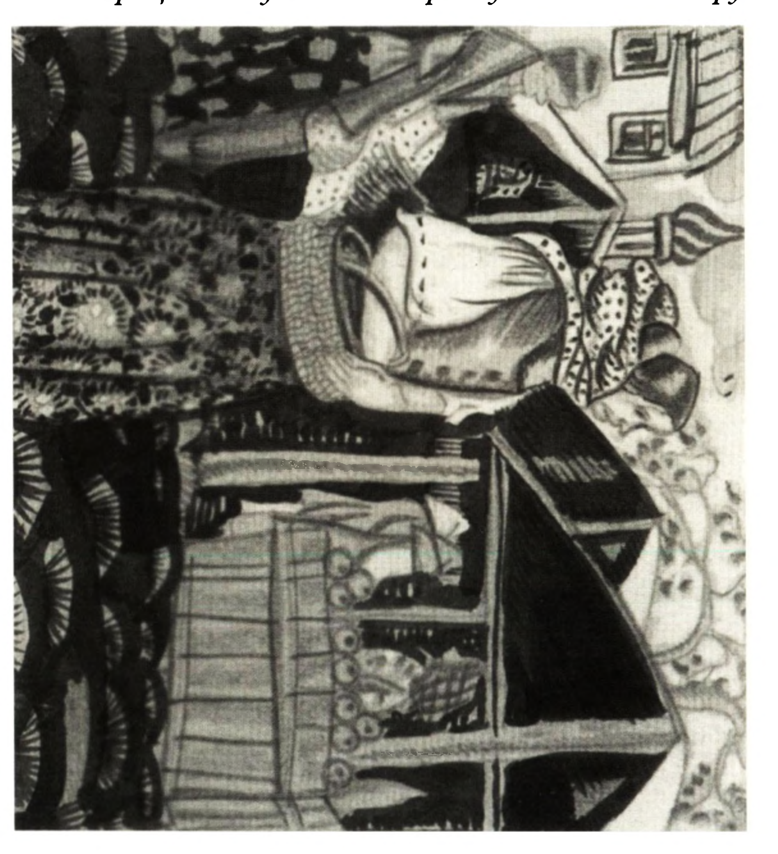


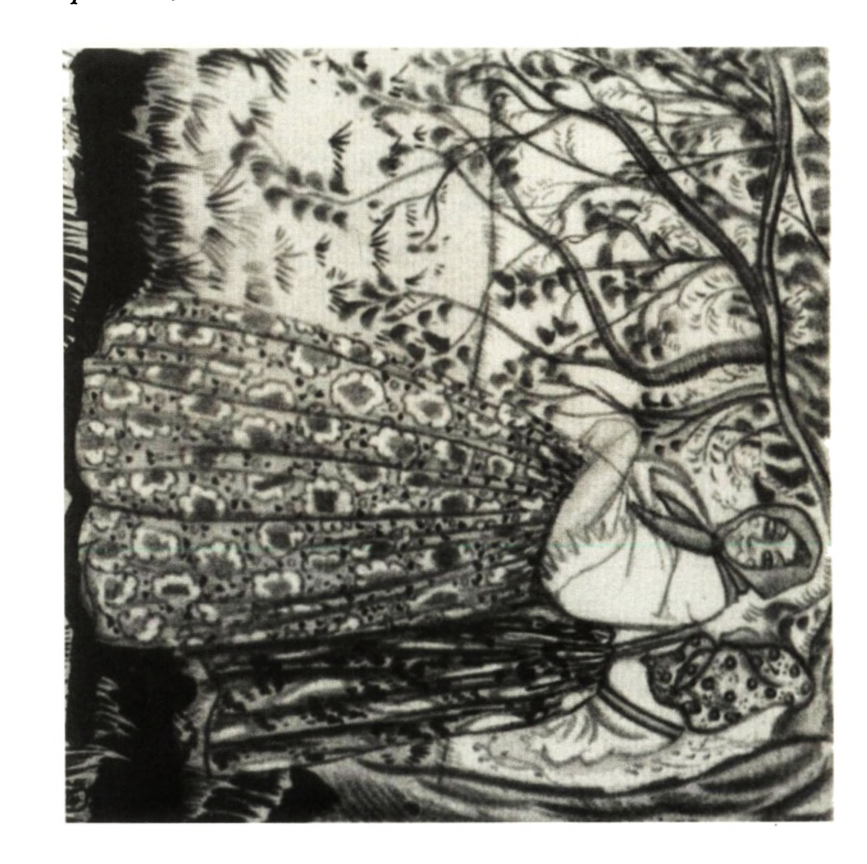
Пейзаж. Кон. 1920-х гг.



Сидящая обнаженная. 1930-е гг.

Иллюстрации к «Шуточным и прибауточным песням русского народа». 1911





СОДЕРЖАНИЕ



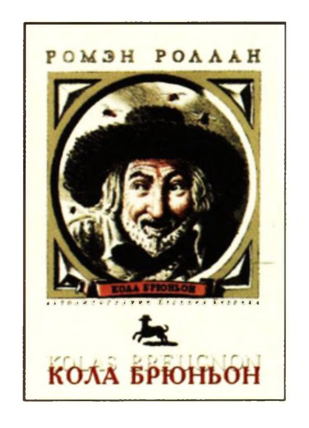
Иллюстрация к «Русским народным песням». 1911

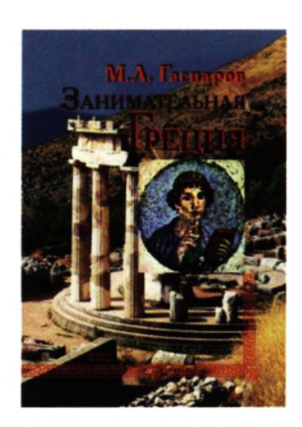
СЕРИЯ «КНИЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» –
лучшие образцы литературы и книжного искусства

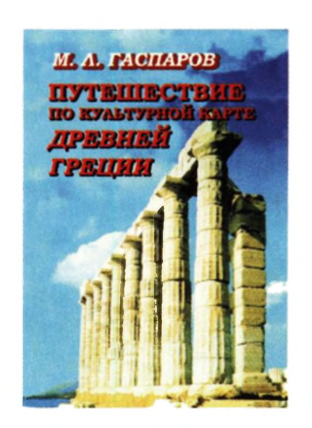


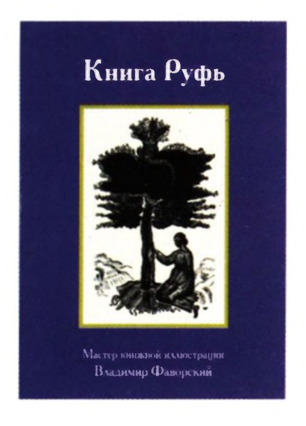












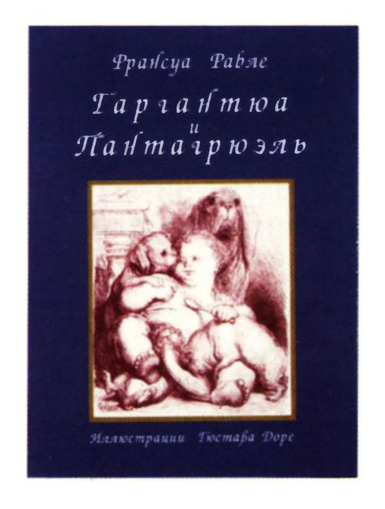


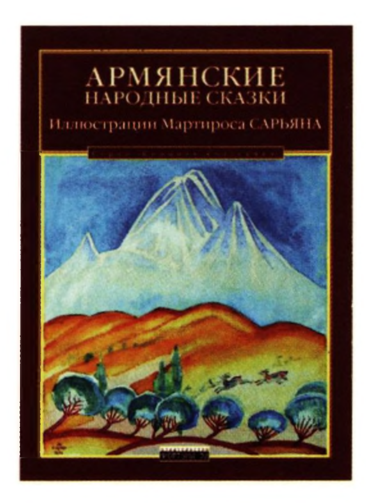






СЕРИЯ «КНИЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
для детей

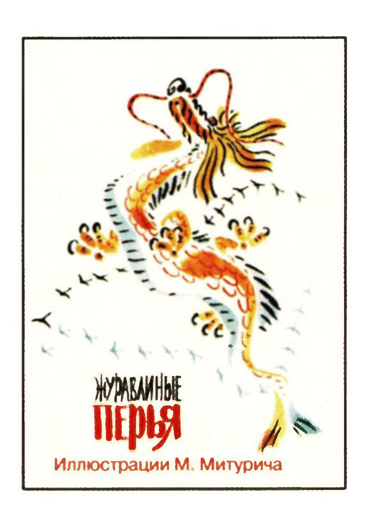












http://fortuna-al.narod.ru
E-mail: fortuna-al@yandex.ru
Тел.8-903-565-23-90, 8-916-782-27-13

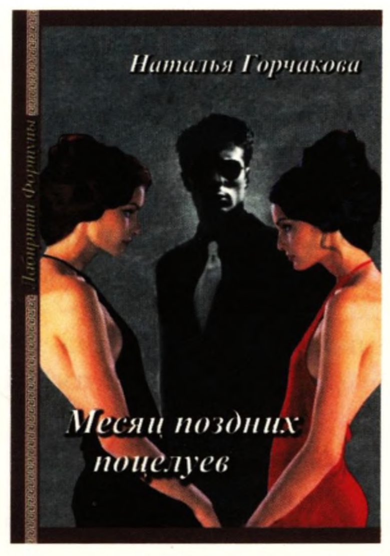


http://fortuna-al.narod.ru
E-mail: fortuna-al@yandex.ru
Тел.8-903-565-23-90, 8-916-782-27-13

Серия детективов — «Лабиринт Фортуны».
Автор — **Наталья Горчакова.**

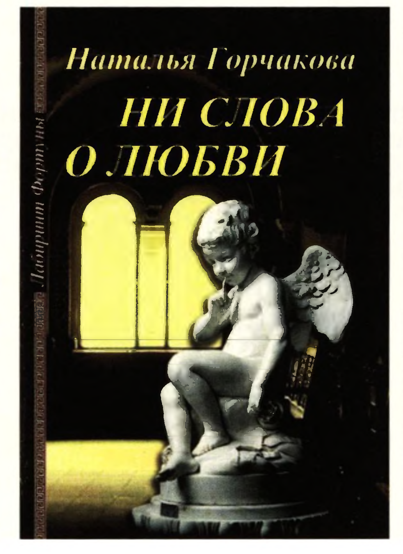
Что может быть лучше приятного чтения? В детективах Натальи Горчаковой вы всегда найдете интересный сюжет, непредсказуемый поворот, интригу. Ее произведения выгодно отличает хороший язык, легкость стиля, живой диалог, юмор. Это замечательное чтение и приятный отдых.
«Я НАПИСАЛА ДЕТЕКТИВ», «МЕСЯЦ ПОЗДНИХ ПОЦЕЛУЕВ»,
«ЛОХ-НЕССКОЕ ЧУДОВИЩЕ», «ГЕРОЙ МОЕГО РОМАНА»,
«НИ СЛОВА О ЛЮБВИ», «ЧИСЛО ЗВЕРЯ»...













Борис Григорьев

ЛИНИЯ.
Литературное и художественное наследие

Редактор *Л. Дорофеева*
Макет и оформление *Э. Дорофеева*
Корректор *О. Хромова*

ООО «Фортуна ЭЛ»
125466, Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 34, оф. 106
Тел.: 8-903-565-23-90, 8-916-782-27-13
E-mail: fortunaal@list.ru; fortuna-al@yandex.ru
http://fortuna-al.narod.ru

Сдано в набор 13.07.2006 г. Подписано в печать 1.11.2006 г. Формат 84×108 1/16
Бумага мелованная. Гарнитура «Гарамонд».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20. Тираж 2000 экз.
Заказ № 0624480.



Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97



Борис ГРИГОРЬЕВ

ЛИНИЯ

Литературное и художественное наследие



Серия «Книжная коллекция»